Евгения Федорова

На островах ГУЛАГа

воспоминания заключенной

АНФ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги, Евгения Федорова, хотела стать детской писательницей, но оказалась в сталинских лагерях. В результате литературные плоды ее жизни связаны с очень взрослыми и страшными темами тоталитарного общества. Она пережила на себе все ужасы ГУЛАГа, и поэтому ее рассказ о неумолимой адской политической машине, перемалывающей судьбы людей, заставляющей предавать близких, разлучающей матерей с детьми, столь яркий и искренний. Эта книга — подлинная история людей, которые столкнулись с неумолимой жестокостью государственной машины, но при этом нашли в себе силы не сдаться.

- Евгения Федорова
  - ○
  - ○
  - ○ Судьба книги
  - ○ Предисловие
  - ○ Введение
  - ○ Книга I
    - ■ Глава 1
    - ■ Глава 2
    - ■ Глава 3
    - ■ Глава 4
    - ■ Глава 5
    - ■ Глава 6
    - ■ Глава 7
  - ○ Книга II
    - ■ Глава 1
      - ■
      - ■ I. Пиндуши
      - ■ II. «Крепостной театр»
    - ■ Глава 2
      - ■ I. Медвежьегорская пересылка
      - ■ II. «Водораздел»
      - ■ III. Вечная память
      - ■ IV. Побег
    - ■ Глава 3
      - ■ I. Центральный изолятор
      - ■ II. На гулаговской «шарашке»
      - ■ III. «Родная» моя пересылочка
    - ■ Глава 4

- I. На берегах Кеми
- II. Раскройный цех
- III. Великая сила искусства
- IV. Тетя Оля
- V. Пани Гелена
- VI. Друзья уходят…
- VII. Ах ты, сударь наш, дудар…

- Глава 5
  - I. Пушсовхоз
  - II. Этап на восток
  - III. Лесоповал
- Глава 6
  - I. Посвящение в медсестры
  - II. Туберкулезное отделение
  - III. Хирургический корпус
  - IV. «И на старуху бывает проруха»
  - V. Привычное чувство голода…
  - VI. Эта странная другая жизнь
  - VII. Дорогая моя Катеринушка
  - VIII. К освобождению не пригодны
  - IX. Чтобы не сойти с ума
  - X. Освобождение не всерьез

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Евгения Федорова
На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной

Редактор *Мария Миловидова*
Руководитель проекта *И. Серёгина*
Корректор *С. Чупахина*
Компьютерная верстка *Е. Сенцова*
Дизайнер обложки *С. Тимонов*
Иллюстратор *А. Андреев*

© С. Лесней, 2012
© Д. Чёрный. Предисловие, 2012
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2012
© Электронное издание. ООО «ЛитРес», 2013

Федорова Е.
На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной / Евгения Федорова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2012.
ISBN 978-5-9614-2903-9

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Посвящаю моей маме и детям.

Е.Ф.

Портрет автора, написанный в 1933 г.

Судьба книги

Роман впервые издали в США лишь полвека спустя после того, как он был написан. Правда, Евгения Николаевна его дополняла новыми главами, правила и находясь в эмиграции… Но в окончательном виде он появился после выхода автора из заключения в 1950-х, когда ни солженицынских, ни прочих произведений на эту тему Евгения еще не видела.

Судьба самого романа детективна, как и человеческий контекст, соткавшийся вокруг него. Этот контекст и есть его продолжение, которого автор, к сожалению, не узнает, а вот младший ее сын, любезно предоставивший все материалы, визуальные и текстовые, будет, наверное, удивлен.

Век профессиональных стукачей долог. Едва ли не главный герой романа, который и направил молодую детскую писательницу и журналистку в многолетнее «путешествие» по ГУЛАГу, дожил и до оттепели, как она сама, и, вероятно, до перестройки. И именно о нем его зять поэт Алексей Суханов (диссиденты-друзья которого тоже повторили судьбу Евгении), прозрев, написал в конце 1960-х:

Он добился всего, предавая друзей,
И ложится спокойно в кровать в сером доме,
Но где-то один из людей
Этой ночью не будет спать.

Этой ночью на севере где-то
Другой вспомнит что-то
Под серой холодной пургой.
И о нем будет долго еще вспоминать,
Тень отбросив на чью-то чужую кровать.

К тому моменту роман Федоровой не только написан, но и осуществлена первая попытка вывезти его для издания за рубежом. Ее старший сын Слава, еще учась в МГУ, твердо решил бежать из Советского Союза на Запад и первую попытку предпринял где-то в конце 1964 года. Ночью он на надувной лодке только сумел выйти из Коктебеля. Но из-за изменившегося направления ветра успел отойти всего на три-четыре мили. Утром его случайно заметили с пассажирского катера, идущего из Коктебеля в Феодосию. Он успел выбросить в море все компрометирующие бумаги, в том числе и рукопись романа.

Объяснил спасателям, что вышел порыбачить, но не справился с ветром.

Неудача старшего сына затем была восполнена удачей младшего. Стив Селенков вспоминает:

«Когда мама начала писать свою рукопись, сказать трудно, так как мы с ней большую часть времени в Советском Союзе жили врозь. Я с 1955 года и почти до эмиграции плавал на морских судах, а мама с бабушкой вернулись в Москву из «стокилометровой зоны» только в 1957-м. Но я точно знаю, что в один из моих приездов в Москву, в 1960 году, мы купили по случаю старинный «ундервуд», на котором мама и начала перепечатывать уже вчерне законченную рукопись. Перед самой эмиграцией я переснял на фотопленку все отпечатанные на «ундервуде» страницы рукописи и привез ее «контрабандой» в Нью-Йорк. В США мама продолжала работать над книгой, добавлять эпизоды и новые главы. К сожалению, целиком роман был издан только в 2004 году, через девять лет после ее смерти.

В целом роман потому актуален, что в нем и лагерная эстетика, и гражданская жизнь 1930–1940-х годов даны без примеси реконструкции и ретуши, поскольку пишет современница. Это живая ткань переживаний, удивлений, надежд и разочарований советской интеллигентки, жестоко поплатившейся за «словопреступление». Но всего этого сюжета, всей этой жизненной коллизии не возникло бы, конечно, без колоритного поэта и агента НКВД-КГБ Юрия (Георгия) Ефимова (так в романе — и это воля автора — истинная его фамилия уже занята советским фантастом).

О себе и людях, сопровождавших ее в горе и радости, во всех исправительных испытаниях, Евгения рассказала достаточно. А вот о Юрии, симпатии к которому не утратила до последних страниц, — не так много. И здесь мы приходим на помощь, поскольку покинутая семьей Евгении Москва слухами полнится — город-то маленький. Юрий Ефимов получил ту самую квартиру в сером университетском доме близ метро «Университет» за свои «уникальные» услуги государству; работал в Институте географии РАН, был членом Союза писателей, издал свои научные труды и книги стихов.

Все сложилось прекрасно в его жизни: путешествовал, объездил весь мир, написал об этом много, стал отцом двоих дочерей. Вероятно, он, верой-правдой служивший КПСС, еще успел походить на перестроечные митинги, где красовались лозунги «Долой КПСС!»… Но со смертью разведшегося еще в 1970-х с его дочерью Ланой (Анной) поэта Суханова стала проступать правда. Обе дочери внезапно стали набожны,

вероятно, надеясь замолить грехи отца, сексота. Через его цепкие руки ведь прошли десятки таких, как Евгения, — и всем он посвящал стихи. Профессионал высшей пробы. Его образ немного перекликается с образом Яромила из романа Кундеры «Жизнь не здесь», когда поэт доносит на брата своей первой любви. Мечтаю в экранизации сыграть роль Юрия.

О его работе узнавали косвенно: неисправимый бонвиван, он и в 1960-х мог флиртовать, ведя светские студенческие беседы, а, узнав, например, что отец красотки репрессирован, назавтра запросто сообщал эти сведения в ее деканат. Но вот беда: разговор не был окончен и девушка не успела сказать дознавателю, что отец реабилитирован. А деканат навалился со всей строгостью: «Как же вы не сообщили при поступлении?» Парадокс, но этот же факт биографии не помешал ленинградцу Славе, сыну Евгении, поступить в МГУ — все что-нибудь да скрывали…

ГУЛАГ Федоровой показан непредвзято, и в этом уникальность романа. Успев стать страшилкой и киноштампом, «лагерная пыль» многим до сих пор застилает видимость реальности 1930-х. То, как плавно погружается автор в очень разнообразный «исправительный мир», дорогого стоит. На Лубянку из Сочи едет с конвоем в купе (!) — все это покажется невероятным читателям, запуганным толщами других страниц. Невероятным, как автоматы в руках ростовских чекистов, но это единственная неточность, видимо, закравшаяся позже, при дополнениях, уже после просмотра советских фильмов. Не было тогда такого табельного оружия в НКВД, равно как и в Красной армии, — только винтовки. Но такие ошибки лишь подчеркивают правдивость прочего. Свежевыкрашенная лубянская камера, подводная тишина в здании Щусева — все словно ожидает «учебного года». Так и есть: 1937-й впереди. До сих пор тут из устрашающего располагалось на первом этаже лишь КБ Беломорстроя: царила товарищеская, институтская атмосфера, как ни странно. Она же после допросов и суда (решение которого, отметим, Евгения и ее брат выслушали с восторгом) встретит заключенную в Пиндушах, в местном КБ, строящем корабли для канала и страны…

Контрасты ГУЛАГа как уже разветвленной к 1935 году производственной системы, а не просто «мест отбытия», — вот чем поражает книга. И изнутри, из лагеря воспринятое жаркое лето 1937-го, когда все «политические» познали самую нижнюю ступень беломорканальной жизни, — водораздел в случае Евгении. Из театра — на лесоповал. Но и там она помимо изнурительных работ встречает любовь, и эта «любовь

отверженных», сменовеховца и строптивой журналистки, дает силы для побега. Психологическая острота романа выражена и во встрече бывшего экскурсовода по Беломорканалу с нагой беглой заключенной, и в возвращении ее в ГУЛАГ, и в согласии стать осведомительницей, ведь иного пути остаться в живых просто не было. И тогда перед Евгенией открывается снова другой ГУЛАГ: Пудожстрой, обильное, как в ресторане, питание, интеллигенция, рекрутированная индустриализацией. На дворе все тот же 1937-й…

Личность, возвысившая голос из своих страданий, перекрикивает время в официозном его звучании. Пройдут десятилетия, и роль интеллигенции в производстве и в обществе объективно возрастет, но это приблизит СССР не к коммунизму, а к контрреволюции, чего так боялись в 1920–1930 годы. Именем полвека назад осужденных свергнут с индустриального пьедестала уже не отдельный вождь, не ГУЛАГ и не КГБ, а целиком дело почти векового строительства сверхдержавы; начнется деградация и распад страны. Вот так время ответило. Полумер Россия не приемлет.

Евгения увидела все закоулки ГУЛАГа, включая и свой аналог солженицынского ракового корпуса, откуда уже была освобождена после Великой Отечественной войны. И лишь она, как очевидец, вправе судить свое время, а наше безвременье — советские пятилетки.

Д. Чёрный

Предисловие

Книга рассказывает о жизни в тюрьмах, лагерях и ссылках в бывшем Советском Союзе и о встречах автора с интересными и благородными людьми в годы правления Сталина, в период развязанного им государственного террора, продолжавшегося до самой его смерти.

В этой книге описывается судьба молодой женщины — моей матери, рассказанная ею самой, попавшей по доносу «друга» в «мясорубку» сталинского террора в самом его начале, в 1935 году, и только поэтому уцелевшей. Случись это на год позже, она наверняка погибла бы в лагерях, и эта книга никогда не была бы написана.

Имена некоторых людей, о которых она упоминает, слегка изменены, чтобы избежать возможной обиды их ныне живущих родственников и знакомых. Мама дожила до 89 лет, из которых последние 22 года — в Америке, в Бостоне, и все это время продолжала писать свои воспоминания, рассказы и очерки о пережитом, прошлом и настоящем. Она много путешествовала до самой глубокой старости и из каждой поездки привозила новые рукописи, поэтому и сейчас многое еще не разобрано.

О жизни за рубежом и путешествиях, если время позволит, будет издана отдельная книга.

С. Лесней

Введение

Весна в тот год на Кавказе наступила необычайно рано. В начале мая по-летнему жаркое солнце растопило снега, с гор понеслись лавины, ручьи превратились в бурные потоки, ворочающие глыбы камней, а водопады обрели гигантскую мощь и красоту…

В 1935 году дороги на прославленную «жемчужину Кавказа» — озеро Рица — еще не было. Тем, кто хотел увидеть его, приходилось добираться туда пешком по каньонам Геги и Юпшары. Шоссе начиналось от Адлера у широкого устья Бзыби, сворачивало, проходя вдоль бурной и пенистой Геги, еще раз поворачивало в каньон Юпшары и там заканчивалось.

Удивительная река эта Юпшара — по своей прозрачности и кристальной голубизне она не сравнится ни с одной из горных рек Кавказа. Только на Алтае есть похожая — Катунь.

Если встанешь на мостике — над слиянием Геги и Юпшары, диву даешься! Косматый, бурный глинистокоричневый поток Геги переплетается с белопенными голубыми каскадами Юпшары, как две ленты, вплетенные в косу, прежде чем смешаются они в одну рыжую гриву. Откуда такое чудо? Быть может, оно возникло потому, что Юшпара, вытекая из Рицы и чуть войдя в узкий каньон, тут же вдруг вся уходит под землю и снова появляется только несколько километров спустя?

Окрестности Гагры изобилуют такими провалами, «карстовыми явлениями». Вырвавшись из подземного плена (может быть, очищенный какими-то подземными химикалиями?), поток необычайной чистоты и бирюзовой голубизны несется между отвесными скалами каньона, так и не замутив свои воды до самого слияния с Гегой.

Вдоль нее, все дальше к Юпшарскому каньону, группы полуголых людей с черными от загара спинами прокладывали шоссе. Струи пота стекали по их запыленным телам. На головах — какие-то грязные тряпки, чтобы хоть чем-нибудь прикрыться от безжалостного солнца. Люди вяло долбили камни чем-то вроде огромных кирок и еще более вяло перетаскивали камни с места на место, укладывая их вдоль шоссе. Когда мы проходили мимо, они распрямлялись, обращая к нам худые, хмурые лица и задавали всегда один и тот же вопрос:

— Который час?

И тотчас откуда-нибудь с пригорка лениво отзывался человек с ружьем:

— Не разговоривать! Давай, двигайся, а то я те поговорю!

Непонятно, к кому это относилось — к работающим или к нам, беспечным путникам, и мы, смущенные, спешили пройти… Но у следующей кучки, где работали люди, нам непременно задавали тот же вопрос…

Что знала я об этих людях с угрюмыми лицами, которые задавали один-единственный вопрос, как будто ни до чего другого в мире им не было дела? Что знала я о них? Ничего. А что хотела знать? Ничего.

Кольнуло ли у меня в сердце: ты стоишь на пороге своей судьбы? Встревожилась ли?.. Нет, не кольнуло. Не встревожилась. Спешила пройти.

А он, мой спутник? Обаятельный мальчик, почти подросток на вид, лучший экскурсовод Краснополянской турбазы. Стройный, смуглый, в так идущей ему турецкой красной фесочке с кисточкой. На крутой выпуклый лоб выбились темные кудряшки. Блестящие восторженные глаза чуть прищурены — тогда еще не было модно носить солнцезащитные очки…

Он, быть может, и знал, но думать об этом не хотел. Только не сейчас… Потом, потом… Ведь он не хотел зла… Нет, никому, никогда…

А кругом буйствовала весна — зеленая, кипящая, пьянящая… И любимый Кавказ… И строки обожаемой Цветаевой, тогда еще мало кому у нас известной:

Пляшущим шагом прошла по земле! —
Неба дочь!
С полным передником роз! — Ни ростка
не наруша…

…Вот и кончилось строящееся шоссе. Дальше — узкие тропы, карнизы, высеченные в скалах Юпшарского каньона то с одной, то с другой стороны, и подвесные мостики, их соединяющие, всего — двадцать четыре! Раскачивается, трепещет мостик над вспенившейся неистовой Юпшарой, вздыбленной весенними снежными водами. Перебираемся чуть ли не ползком. Дух захватывает — вот-вот сорвет мостик, унесет в реку…

Каньон — то совсем узкий, с отвесными стенамы, и синяя лента неба; где-то над головой солнце золотит едва видные вверху на скалах стволы сосен, а внизу, в ущелье — тень и прохлада, а то вдруг стена скал отступит от реки, и на берегу возникнет самшитовая роща. Причудливо изогнутые, тяжеловесные стволы; словно водоросли, свисают длинные бороды мхов, и повсюду царит полумрак. Будто глубокое подводное царство…

А под ногами что творится! Сплошной благоуханный ковер — ландыши! Такие крупные, чистые, словно склоненные вниз восковые капли. А тропинки и совсем нет — как идти? Как же ступать по этому — из живых ландышей — ковру? Голова кружится…

Мы идем тихонько, бережно ступая. Идем, держась за руки. «Ни ростка не наруша…» Ах, если бы остановить время!..

Мой спутник насвистывает мотив из только что показанного в Москве фильма «Под крышами Парижа» — первого прорвавшегося к нам иностранного фильма. В Москве была сенсация!

«Sous les toits… de Paris…» — напевает он и тут же придумывает другие, русские слова:

…По лугам, где растут молодые цветы,
Мы сегодня идем — я и ты…
Я ловлю твой взор, твой приветный взгляд.
Мы болтаем вздор целый день подряд…

Бегут счастливые часы, струятся среди тишины и полумрака, тают в аромате ландышей… Мы молоды, мы счастливы. Нам хорошо вдвоем. Все наши беды, все наши несчастья — впереди, и мы о них ничего не знаем…

Что может знать человек о том, что ВПЕРЕДИ?.. Он не хочет знать даже того, что ПОЗАДИ, о чем узнать еще можно… Счастливое неведение. Счастливые прохожие…

Книга I
«Хранить вечно»

Глава 1
Зеленые чернила

…И кто был другу
верно предан,
был этим другом
верным — предан.

С. Кирсанов

На Кавказе, в селении Красная Поляна, в 1934–1935 годах туристической базой заведовал Владимир Александрович Энгель. Чудесный старик, мягкий и добрый, любивший туризм и туристов, так радостно и тепло встречавший их, словно своих самых близких друзей. Он всегда помогал выбрать интересные маршруты и соответствующее снаряжение и так подробно и интересно рассказывал о Кавказе, что молва о турбазе на Красной Поляне распространилась по всем уголкам страны. Был он прекрасным знатоком Кавказа и методистом экскурсионного дела. В помощники себе — экскурсоводами по Кавказу — он старался привлекать людей, как и он любящих Кавказ, знающих его, не боящихся длинных горных маршрутов с ночевками у костра.

Когда Энгель встретил Юрия Ефимова — будущего географа, тогда еще очень молодого, но одаренного и яркого человека, он сразу просто влюбился в него и пригласил экскурсоводом на Краснополянскую турбазу.

Лекции Ефимова привлекали туристов красноречием. Это были увлекательные, блестящие поэмы из истории покорения Кавказа, а также описания кавказской природы, оправленные в поэтическое и вдохновенное слово.

С Юрой Ефимовым судьба свела меня на курсах ОПТЭ (Общество пролетарского (!) туризма и экскурсий). Вот как это случилось. Вернувшись в Москву из внезапно прервавшейся журналистской командировки в пионерский лагерь «Артек» в начале лета 1934 года, я не знала, чем заняться. Мои отношения с мужем, как мне тогда представлялось, окончательно зашли в тупик, а жить одной летом, в сутолоке огромного, разгоряченного жарой города меня совсем не прельщало.

Я была в ту пору начинающей журналисткой и обычно старалась на лето уезжать «за материалом» куда-нибудь подальше от больших городов. И тут как раз мне предложили поехать экскурсоводом на только что открывшийся Беломорско-

Балтийский канал. До этой поры мне не приходилось выступать в роли экскурсовода, но с работой ОПТЭ я познакомилась еще в 1933 году, проведя лето на Алтае, где собирала материал для очерка об Алтайском крае. Побывать на ББК мне показалось заманчивым, а освоить экскурсионный материал — не так уж сложно. Я знала, что канал построен заключенными, и это тоже вызывало интерес. И я поехала, захватив с собой своего старшего сына — пятилетнего Славку. Оказались увлекательными и «знакомство» с ББК, и работа экскурсоводом.

Я возила группы туристов на маленьком экскурсионном пароходике «К. Маркс» от Медвежьей горы до пристани Сороки на Белом море. Мы поднимались вверх по шлюзам реки Повенчанки, плыли водоразделом по живописнейшему озеру Выг с сотнями крошечных островков и спускались к Белому морю. Пока наш «К. Маркс» шлюзовался, мы с туристами ходили на плотины, любовались водопадами на водосбросах, собирали камни для коллекций. На Выг-озере невозможно было спать — до того красивы были белые ночи с оранжевыми зорями в полнеба.

Наш туристический сезон прошел великолепно, меня все хвалили, признали одаренным экскурсоводом и премировали за отличную работу. Так я стала сотрудником ОПТЭ.

Зимой при этой организации открылись курсы по подготовке квалифицированных экскурсоводов, куда были приглашены 30 лучших специалистов. В их числе оказалась и я. Здесь произошло наше знакомство с Юрием Ефимовым. Он работал на Краснополянской базе кавказского маршрута, и ходили слухи о его богатейшей эрудиции, об удивительном знании Кавказа, о прирожденном ораторском таланте. Был ему всего 21 год.

Курсы наши проходили в подмосковном городке Болшево, там же находилось и общежитие. В свободное от лекций время чудесно было бродить на лыжах или стремительно мчаться с крутого берега Клязьмы на широкий заснеженный луг.

Юра Ефимов сидел за одним столиком со мной. С первого же дня мы понравились друг другу и стали проводить много времени вместе.

Это была даже еще не весна — преддверие весны, когда днем исходят слезами сосульки, чтобы утром снова украсить крыши стеклянной бахромой. Ночи еще холодные, луна окаймлена светлым кругом, и снег искрится. Черные стволы лип на крутом склоне Клязьмы отбрасывают четкие тени, ветки не шелохнутся. На морозном воздухе дышится легко, полной грудью.

Днем мы занимались, а вечером ходили гулять на обрыв к реке. На занятиях мы плохо слушали то, что скучно и монотонно читал методист. Сначала для развлечения играли в крестики-

нолики, потом — в отгадывание слов. Затем выяснилось, что оба любим стихи, и на занятиях мы исписывали целые тетради тем, что знали наизусть; главным образом — он, так как я знала гораздо меньше. А по вечерам Юра читал мне вслух — конечно, Ахматову, Гумилева, Цветаеву, которую он просто обожал, и — свои собственные тоже.

Этот мальчик был поэтом с детства. Его стихи, особенно ранние, были несколько вычурны, но блестящи и легки, как и услышанные мною позже лекции о Кавказе. Стихи всегда были искренние, каждая строчка проникнута взволнованной интонацией, даже если эта взволнованность и не касалась серьезных тем или глубоких раздумий. Прекрасные стихи были посвящены Девятой симфонии Бетховена, которую он, потрясенный, слушал в концерте.

Была у него еще и поэма «Голубая молодежь». В ней описывались четверо друзей, юношей, из тех, кого потом стали называть инакомыслящими. Тогда такого понятия еще не существовало. Друзья собираются, болтают о том о сем, непочтительно выражаются об «отце народов — великом кормчем» — это в те-то годы! Они критиканствуют, всерьез принимают Ильфа и Петрова, но между тем ведут жизнь обычных молодых советских людей: учатся, ходят на собрания — хоть и не слушают; голосуют, как положено, словом, свою «фигу» тщательно держат в глубине кармана.

Однако один из четверки наиболее подвержен «крамольным» мыслям, больше других наделен совестью, его беспокоит и заставляет задумываться такая «гениальная» идея, как коллективизация, и он склонен сомневаться в будущих ее плодах и методах организации коллективного хозяйства.

Другой герой «голубой четверки» («голубой» не по крови, но по контрасту с бездумными головами «красной», комсомольской молодежи) смекает, что их, пожалуй, могут и «загрести» за такие разговорчики. Этот башковитый юноша соображает, что зашли они слишком далеко, вели себя в студенческой среде чересчур вызывающе и ареста им, пожалуй, не миновать. Тогда он «резонно» решает: если гибнуть, то зачем же всем?.. Он умнее других, одареннее, энергичнее, жизнеспособнее, он так любит жизнь, и будущее сулит ему многое. Если все равно гибнуть — зачем же всем?

Не без колебаний, не без угрызений совести он решает пожертвовать мягкосердечным и неспособным на «борьбу» Алешей (тем, который больше других страдает совестливостью и копается в крамольных вопросах) и спасти себя и других. Он доносит на Алешу, и тот под конвоем отправляется на

«Беломорстрой», а доносчик, Виктор Бланк, и другие спасены! Тогда Юра спросил меня, шаловливо улыбнувшись:

— Один из них — я! Который же?

Ах нет, что за ерунда! Хотя мы и сами болтали о том о сем и тоже были не слишком почтительны в выражениях о «великом кормчем», и в прошлом у меня уже была ссора с «Артеком», когда ярые, чрезмерно бдительные комсомольцы обозвали меня «классово чуждой» и «пролезшей», — нет, мысль о «Беломорстрое» Алеши и предательстве Бланка не встревожила моей юной головы — все это принималось как нереальность. А в жизни Юра был чудесным, чутким ко всему прекрасному, талантливым мальчиком.

На курсах ОПТЭ кроме скучных и нудных уроков по методике экскурсоводства и, конечно, обязательных «Краткого курса истории ВКП (б)» и исторического материализма проводились еще так называемые семинары. Это были наиболее интересные и полезные занятия. Каждый курсант заранее намечал себе базу, куда он будет послан на летний туристический сезон по окончании курсов.

Когда начались семинары, занятия оживились, все курсанты собирались в полном составе слушать «именинника» — докладчика «своей» турбазы. Много было интересных, обширных, с экскурсами в историю и добротным знанием географии края докладов, но всех затмил доклад Юры Ефимова о Северо-Осетинском заповеднике, озере Рица, горах, окружающих Красную Поляну. Весь лекционный материал был прочтен им чуть ли не в «белых стихах», в «андребелическом» стиле (то есть в стиле Андрея Белого!), как выражался сам Юра.

Девчонки млели от восторга, ребята собирались его качать, педагоги и начальство, специально приглашенное на «семинар Ефимова», довольно потирали руки и хлопали Ефимова по плечу. Это был настоящий триумф. Но это было и нечто вроде начала прощания. Нежная грусть вкралась в наши отношения. Еще неделя-две, и кончатся курсы, отгремит выпускной вечер, и разлетимся мы во все концы нашей необъятной родины. Правда, только на лето, до осени, когда, может быть, снова встретимся, но как долго до этого! Все чаще говорили мы о неизбежной и близкой уже разлуке, бродили среди лип по ставшему рыхлым весеннему снегу, находя прогалинки со свежими стрелочками будущих травинок.

И вот он настал, наш выпускной вечер. Кроме нас, будущих экскурсоводов, собрались почти все директора баз, начальство и многочисленные гости. В основном это были молодые прокуроры. Дело в том, что возглавлял ОПТЭ в те годы известный альпинист

и… Генеральный прокурор Советского Союза Н. В. Крыленко. Поэтому туристическое движение вызвало живейший отклик и интерес в судейско-прокурорской среде. Если кто-либо из прокуроров слишком уставал от работы, требовавшей крайнего напряжения и осторожности (ведь все они ходили по лезвию ножа — «сегодня ты, а завтра я»), Крыленко пристраивал такого на «сезончик» отдохнуть на турбазе в качестве директора или методиста.

Официальным председателем ОПТЭ числился некто Тарасевич, но все знали, что «сам» — это почетный председатель Н. В. Крыленко, и от него зависит все: открыть новую турбазу, закрыть старую, этого назначить, того перевести, третьего снять. Правда, в 1937-м и ему самому удержаться не удалось — он «загремел» с прочими. Но тогда до этого было еще далеко, в начале 1934-го такое и присниться никому не могло! Официальный председатель ОПТЭ Тарасевич долго и нудно мямлил о значении советского туризма и о гениальном предвидении Вождя и Учителя, который разглядел историческую роль пролетарского туризма, и призвал нас всех на беззаветную службу народу.

Мы с Юрой сидели рядом и, конечно, не слушали. Мне было грустно, и недоумение владело мной: я видела и чувствовала, что Юра Ефимов на этот раз не разделяет моей грусти. Ведь это уже не «нечто вроде прощания», это уже настоящее и окончательное прощание… Но Юра глядел на меня, как-то странно улыбаясь, и глаза его сияли. Мне было обидно.

Наконец нудная речь кончилась, и к столу стали вызывать одного за другим курсантов. Им торжественно вручалось свидетельство об окончании курсов и — в запечатанном конверте (знай наших!) — выписка из приказа о зачислении на «такую-то» базу. Крыленко поздравлял вновь назначенного экскурсовода и сердечно пожимал ему руку.

Моя фамилия на букву «Ф» была в списке почти последней. Давно вернулся на свое место сияющий Юра и, распечатав конверт, показал мне узенькую полоску бумаги, на которой значилось, что он, Ю. К. Ефимов, «зачисляется экскурсоводом Краснополянской базы с 1 мая сего года».

Наконец дошла очередь и до меня. Вернувшись на свое место, я медлила открыть свой конверт.

— Ну же, ну! — нетерпеливо торопил меня Юра.

В конце концов я вынула бумажку с машинописным текстом. Там было напечатано, что по окончании курсов Е. Н. Федорова «назначается на должность экскурсовода с 1 мая сего года на… Краснополянскую турбазу»!

Я видела сияющие, торжествующие глаза Юры, а в висках стучало: «Вместе, вместе, вместе». Он стал рассказывать мне, как упросил, умолил Тарасевича направить нас на одну турбазу; как тот сначала не соглашался, суля ему в помощницы какую-то начинающую девчонку, а потом уступил, и как он, Юра, изо всех сил молчал, желая сделать мне такой сюрприз.

— Там я тебе открою мою Поляну! Я причащу тебя к горным высям! Я подарю тебе Рицу, Большую и Малую. Я поведу тебя по своим тропам!

И сейчас, спустя 40 лет и зная все, что произошло в 1935 году, я верю, что его бурная радость и сияющие счастьем глаза не были притворством. Он еще надеялся на что-то…

Осенью, в начале сентября, вскоре после моего ареста, очевидно, еще не зная об этом, он писал:

Вот и все… Хотелось большего?
Обойден и замкнут круг.
Начиналось. Ездил в Болшево,
Не сознав, что найден друг…
Вслед за сумрачными, зябкими
Днями сплетен и клевет —
Неохватными охапками
Начал схватываться свет.

Писал он, я полагаю, тогда еще вполне искренне.

После первой радости меня одолели сомнения: как же я поеду на базу, где меня никто не ждет? Где я и не нужна вовсе! Где рядом с блестящим экскурсоводом я буду невежественной дурочкой, и туристы не захотят пользоваться моими услугами. Ведь я на самом деле ничего не знаю, просто представления не имею ни о Кавказе, где была один раз давным-давно, ни о Красной Поляне; не знаю дорог и горных троп заповедника. И что подумает обо мне высокий стройный старик с седой головой и красивым профилем — директор Краснополянской турбазы Владимир Александрович Энгель?

Все мои страхи оказались напрасными. Конечно, мои «лекции» не шли ни в какое сравнение с Юриными, но все же к началу сезона я успела подчитать кое-что, многое рассказал мне Юра. Раньше, чем прибыли первые туристы, он успел провести меня ближними и дальними маршрутами, из которых каждый был пленительней другого.

К приезду туристов я уже не была такой круглой невеждой, а с Владимиром Александровичем мы подружились с первых же дней. Я, как и он, считала туристов нашими гостями и друзьями.

Встречи с новыми людьми, с новыми характерами всегда приятно волновали меня, и журналистскую работу я в свое время выбрала именно потому, что она сулила встречи с интересными людьми. Сюда, в Красную Поляну, приезжали в основном молодые, влюбленные в природу ребята, не боящиеся провести ночь у костра, любящие и попеть, и поговорить. Мне всегда хотелось сделать им приятное. А так как всякая экскурсия в горы для меня самой была праздником и удовольствием, мое настроение передавалось и туристам. Вскоре многие стали проситься в поход только со мной, и Юра даже начал слегка ревновать.

Наши встречи с ним на базе всегда были полны радости, рассказов, новых стихов. Он приносил мне с гор охапки лилий, и аромат их кружил голову.

Энгель был женат на «простой» женщине, не то гречанке, не то грузинке, очень красивой и еще молодой. Она, должно быть, стеснялась своего «простого происхождения», плохо говорила по-русски и среди туристов никогда не появлялась. Я видела ее, только когда заходила за чем-нибудь на квартиру Владимира Александровича. Зато с ее сынишкой, белоголовым Рустемом, приятелем моего Славки, мы подружились. Рустик был года на два моложе моего сына, который уже приближался к «взрослым» школьным годам — осенью ему должно было исполниться шесть. Уходя в горы, я могла быть спокойна за Славку — он будет вовремя накормлен, напоен и уложен спать. Потом я с горечью вспоминала, как мало внимания уделяла я Славке в это последнее мое лето. Мне было трудно с ним расстаться. Все было так ясно, так легко думалось обо всем, так чутко воспринималось.

Конечно, мои дети и моя семья создавали проблемы в наших отношениях с Юрой. Хотя к тому времени я уже собиралась расстаться с моим мужем — Маком, с Юрой нас разъединяло нечто более непреодолимое — разница лет, в те годы несравненно большая, чем теперь, спустя четыре десятилетия.

Он был намного моложе меня. Эти семь лет были так непреложно и навсегда разъединяющи, что и воспринимались безропотно, без напрасных надежд и ожиданий. У него впереди были университет, учеба, молодые друзья, у меня — семья, стареющая мама, которая вот-вот сдаст мне на попечение обоих моих ребят (кроме Славки еще был малыш), сложные отношения с мужем, моя начинающаяся литературная карьера…

Это чудесное лето не предвещало чудесного продолжения и воспринималось как случайный драгоценный подарок судьбы. О будущем не думалось, не хотелось омрачать настоящего. И никакие предчувствия ни разу не коснулись моей души. Юра рассказывал мне о трагической судьбе его близких друзей.

Молодая девушка Елочка Каткова — робкая, застенчивая и нежная, о ней Юра говорил с дрожью в голосе (может быть, первая любовь?); двоюродный брат Сашенька — самый близкий и лучший друг («мы с ним были, как отражение в зеркале!») и еще другие — все были арестованы и исчезли неизвестно куда.

— Боже мой, за что?

— За разговоры… Такие, как и мы с тобой ведем. Ведь на каждого из нас заведены дела…

Что за странные слова? И для чего сказанные? Хотел ли он предостеречь меня? Или наоборот…

Это потом я думала об этих словах и многих других, когда вспоминала и перебирала в уме каждое слово и каждый жест; времени для этого появилось более чем достаточно. Все это было потом, тогда я просто не обратила на них внимания. Не поразил меня и эпизод с приездом Владимира Владимировича. Однажды, что бывало очень редко, мы с Юрой оба были на базе. В этот день ожидался большой заезд туристов. Мы вдвоем встречали их у террасы центрального здания.

— Боже мой, Юра? Вы?.. Да не может быть!

Один из туристов, уже не первой молодости, плотный низенький человек, остановился, как пригвожденный, всем своим видом выражая крайнюю степень ошеломления.

— Как видите, Владимир Владимирович, это действительно я!

— Да нет, не может быть! Это же чудо!

— Очевидно, и чудеса иногда бывают!

— Вас выпустили?

— Да я и не был под следствием.

— Как не были? Ведь вся же ваша группа…

— Да, да… Но, извините… Это ваш друг?.. Добро пожаловать! Ну что же мы стоим? Пойдемте, я устрою вас вместе.

Я невольно слышала этот разговор. Ну зачем, зачем ворошить? Ведь это как резать по живому. Зачем вспоминать?

Подходило к концу наше туристическое лето. Юре пора было собираться в Москву. Заодно он взялся увезти и Славку, которого мама хотела устроить в какой-то особый детский сад, готовящий «одаренных» детей к раннему поступлению в школу. Энгель отпустил меня проводить их до Сочи, оставшись на базе один с проводниками.

Как запомнился мне этот последний сочинский вечер! Было полнолуние. Пока мы потихоньку забирались на Ахун-гору, с которой весь город как на ладони, а морская гладь разливается далеко до горизонта, луна взошла, и золотая дорожка побежала по темной воде. Потом она превратилась из золотой в

серебряную, и весь воздух наполнился лунным светом, словно белая фата накрыла землю. Кругом настойчиво звенели цикады, а в кустах там и тут вспыхивали и гасли светлячки. Тонкий аромат цветущих олеандров поднимался снизу из города.

Мы сидели рядом молча. Я заглянула ему в лицо, освещенное луной. Глаза его были полны слез. Мне стало безмерно жаль его, по-матерински жаль. Он мне показался мальчиком, а не юношей, беспомощным перед большим и жестоким миром, куда он уезжал от меня, в первый раз теряя и друга, и женщину…

— Ну что ты? Ведь не навсегда же мы расстаемся. Ведь я тоже буду в Москве. Захочешь — увидимся, побудем опять вместе, — пыталась я его утешить. — Ну что ты, право!

Он только горестно качал головой и повторял:

— Нет, нет…

Какие слова вертелись у него на языке и не были произнесены? Это был конец августа, и еще почти две недели жизни были дарованы мне. Я осталась на базе единственным экскурсоводом да еще и культработником впридачу, потому что барышня, занимавшая эту должность, тоже уехала. Туристов же было много — осень на Кавказе великолепна.

Мы с Владимиром Александровичем сбивались с ног. В эти последние дни мне удалось совершить две короткие экскурсии. По возвращении на базу меня ждали письма. Целых три, все с дороги, написанные зелеными чернилами его ручки с «вечным» пером. Письма, полные нежности, горести, воспоминаний о милых пустяках, фразах, улыбках, выражении глаз. И одно из них — написанное ночью на верхней полке трясучего вагона, едва разборчивое, помятое, с явными следами слез.

И вот наступил мой последний день. Утро оказалось туманным, чуть моросил мелкий дождик. В нашей музыкальной комнате, где помимо рояля стояло два шкафа с книгами, меня ждали туристы. Отперев шкафы, я предоставила им возможность самим выбирать книги. У меня же было еще одно дело: выдать желающим членские книжечки ОПТЭ. Я вытащила картонку с членскими билетами и трешками, беспорядочно наваленными в ней, а потом другую — с туристическими значками, которые все также хотели приобрести. В это время сквозь толпу протиснулась молоденькая девушка, служащая нашей конторы:

— Евгения Николаевна, вас в контору просят!

— Хорошо, скажи, что приду немного погодя, — и я снова занялась книжками, значками и ответами на сотни вопросов. Но девушка появилась опять:

— Евгения Николаевна, вас просят срочно, немедленно.

Я удивилась. Какое отношение я имею к конторе кроме того,

что получаю там зарплату и делаю взносы за питание? Если они там в чем-нибудь и запутались — что за срочность? Точно не знают, что на базе с утра самая заваруха!

— Извините, товарищи, я сейчас вернусь, подождите минуточку! — сказала я туристам.

— Поскорей, пожалуйста! — нетерпеливо неслось мне вслед.

Эта «минуточка» обернулась вечностью. Никогда больше я не вернулась в эту комнату. В конторе меня ждали двое: один — военный, другой — штатский. Оба встали при моем появлении.

— Евгения Николаевна? — вежливо спросил меня штатский. — Вы на турбазе живете?

— Да, — ответила я в полном недоумении.

— Пройдемте к вам.

— Зачем?

— Пройдемте, мы вам объясним.

Мы вышли из конторы и стали подниматься вверх по тропинке, ведущей к моей квартире. Я почувствовала, как ноги становятся ватными.

— Подождите… — прохрипела я, так сдавило мне горло. — Что-то случилось с сыном?.. Крушение поезда?.. Или вообще погиб?

— Нет-нет, что вы! — учтиво успокоили меня спутники.

— С вашим сыном ровно ничего не случилось. Он благополучно прибыл в Москву.

У меня на минуту потемнело в глазах, но потом отлегло. Слава Богу!

— Так что же? — недоумевала я.

Дома один из моих спутников протянул мне бумажку. Это был ордер на обыск и арест. Совершенно четко стояла моя фамилия. Я недоверчиво покачала головой:

— Этого не может быть. Это какое-то недоразумение. Это какая-то другая Федорова.

Безукоризненно вежливо, но непреклонно военный объяснил мне, что это их не касается, что «там» разберутся, а пока я именно «та самая» Федорова, которая значится в ордере и за которой они пришли.

Производить обыск они у меня не стали. Поворошив фотографии, целая гора которых валялась у меня на столе, подарки туристов и мои собственные, они забрали мой паспорт и «трудовой список» — документ, позже замененный в Советском Союзе «трудовой книжкой», а потом предложили, чтобы «не беспокоить туристов», перемахнуть через низкую ограду и обойти турбазу по круговой дороге.

— А куда же мы пойдем? — надоуменно спросила я.

— Ну… — чуть замявшись, объяснил мне военный, — в учреждение… В милицию.

— Ну в милицию, так в милицию, — согласилась я. — Только поскорей, ведь туристы ждут…

Удивляюсь, как они не расхохотались. Но мои провожатые даже не улыбнулись. А может быть, им и немного жаль было такую дуру?

— Вы бы захватили пару белья… Что-нибудь из одежды, — осторожно посоветовал один.

— Зачем?! — отмахнулась я с досадой. — Я же знаю, что меня сейчас же отпустят. Ведь это просто недоразумение!

Он пожал плечами. Так я ничего и не взяла — совсем ничего, кроме пустого рюкзака, который скорее по привычке вскинула на плечо, сунув туда тоненький томик Сельвинского «Тихоокеанские стихи». Да еще болтался в рюкзаке компас, который, как выяснилось позже, теперь мне был совсем ни к чему.

Тут начинаются удивительные события, к которым я еще долго относилась как к «приключениям», и притом исключительным, особенным, только со мною одной каким-то чудом случившимся. И только много лет спустя открылось мне, что приключения эти вовсе не мои индивидуальные, да и не «приключения» вовсе, а вполне реальная и даже обыденная жизнь — жизнь той необычной эпохи. И что тысячи людей пережили то же самое, что и я.

Но тогда, когда я сидела на широком, тенистом и пустынном балконе краснополянской милиции, я только недоумевала и сколько ни старалась, не могла ни угадать, ни предположить, что меня ждет. Я просидела на этом балконе до самого вечера.

Сначала с нетерпением ждала — когда же за мной придут? Потом стала беспокоиться и строить догадки — почему за мной не идут? Потом я захотела есть, но беспокойство перебивало чувство голода. Ни разу не пришло мне в голову встать, пойти поискать кого-нибудь, спросить, что все это значит. Мне велели «подождать», и я боялась хоть чем-нибудь нарушить этот приказ. Чего боялась? Кого боялась?

Со мной был Сельвинский — «Тихоокеанские стихи». Я начала читать, но после первой страницы перестала понимать, что читаю. Вокруг меня исходил ароматом разогретый на солнце сад, над нежными кисточками японских мимоз жужжали пчелы, чирикали пташки. Следил ли кто-нибудь за мной исподволь или я могла уйти, убежать куда глаза глядят? А что было бы, если бы я тогда убежала? Но нет, даже тени такой мысли не приходило мне в голову, и, думаю, мои стражи это тоже хорошо понимали.

Время шло, и дневная жара сменилась вечерней прохладой.

Солнце скрылось за пиками Аибги, и ночные тени стали сгущаться в складках лесистых склонов, когда наконец за мной пришел один давешний военный. Он деловито посмотрел на часы и сказал:

— Мы поедем в Сочи. Не будем привлекать внимания пассажиров, ни о чем меня не спрашивайте.

— Но зачем же в Сочи? — изумилась я. — Неужели здесь нельзя выяснить?..

— У меня есть приказ, — недовольно прервал он меня. — Пошли!

Автобусом мы приехали в Адлер, откуда до Сочи нам предстояло добираться поездом. На вокзале, несмотря на позднее время, было довольно оживленно, много народу толпилось у касс.

Мой военный отвел меня в сторону и сказал:

— Подождите меня здесь.

Как он был уверен, что я никуда не денусь! Не меньше, чем мои следователи, которые не сомневались: раз арестована — значит виновна. И они были правы. Они никогда не ошибались!..

Ночной Сочи, залитый лунным светом, выглядел странно и пустынно. Было далеко за полночь, автобусы уже не ходили, пассажиры с поезда как-то незаметно разошлись. Ночь была влажная и душная. После прохладного и свежего воздуха Красной Поляны дышалось немного трудно, а может быть, просто перехватывало дыхание от свалившейся на меня неожиданной беды, хотя я еще не воспринимала случившееся со мной как что-то серьезное.

Мой военный опять попросил меня подождать, пока он позвонит, но на этот раз довольно быстро вернулся.

— Нам придется немного подождать, — сказал он. — За нами сюда придет машина, которая давно выслана и должна была бы уже быть здесь. Не понимаю, почему она задерживается.

— А куда мы едем в Сочи? — наивно спросила я.

Он долго не отвечал на мой вопрос, а потом, как бы извиняясь, сказал:

— Арестованные не должны задавать никаких вопросов сопровождающим их лицам. Но так как вы вскоре все равно увидите сами, то я отвечу вам, что мы едем в Сочинское управление НКВД.

Хотя это известие отнюдь не успокоило меня, я была благодарна ему и за такие сведения. Наконец подошла машина — маленький открытый пикапчик с двумя скамейками по бокам.

— Хозяин еще не ушел? — спросил военный, усаживаясь напротив меня.

Шофер мотнул головой не то утвердительно, не то

отрицательно, и мы поехали. Остановились у громадного тяжеловесного черного здания. «НКВД, очевидно», — подумала я и обрадовалась: «Ну вот и хорошо, без задержки. Завтра все выяснится, и я успею еще вернуться обратно. Бедный Владимир Александрович! Как-то он управляется один с туристами?!»

Мы поднялись вверх по шикарной широкой лестнице, мраморной, как показалось мне, прошли длинным коридором и остановились перед глухой дверью. Мой проводник, прежде чем постучать, выпрямился, приосанился, одернул гимнастерку, даже прищелкнул каблуками и только тогда уж постучал, почтительно и осторожно.

— Войдите!

Это был громадный кабинет, утопавший в сумраке; только на другом конце его на письменном столе горела лампа под низким абажуром. Она освещала стол и руки сидевшего за столом.

— Федорова Е. Н., — доложил военный.

— Давайте, — усталым голосом сказал человек за столом, и военный, приблизившись, положил на стол какие-то бумаги.

— Можете идти, — тем же тусклым усталым голосом отпустил его начальник.

— Садитесь здесь, — он очистил мне место на краю стола и положил лист бумаги.

— Напишите Владимиру Александровичу, чтобы он собрал ваши вещи и отправил в Москву родным… Вы тоже поедете в Москву, — прибавил он.

— Как в Москву? — ахнула я. — Зачем же? Я ведь и так буду в Москве, когда кончится сезон на турбазе, теперь уже скоро! Ведь я живу в Москве, — пыталась я ему втолковать, — там моя квартира, мать, муж, дети! Я явлюсь туда, куда вы мне скажете, но сейчас я не могу оставить на базе Владимира Александровича одного! Поймите!

— Я ничего не могу изменить, — печально сказал он. — Вы поедете в Москву, и вы не вернетесь на Красную Поляну… Ну, пишите, — он встал. — Я скоро вернусь, тут вам никто не помешает.

Я осталась одна в этом погруженном в темноту и тишину кабинете. И тут впервые мне стало страшно. Бессвязные мысли закружились в голове, и на миг я поняла, что «приключение» оборачивается бедой. Но только на миг, к сожалению…

Он вышел и оставил меня одну с чистым листом бумаги в руках. Но этого мало. Он вышел и не убрал бумаг, лежащих на столе. Сколько раз видела я впоследствии, входя в кабинеты следователей, как они привычным, отработанным жестом смахивали все в ящик. Стол следователя всегда должен быть

абсолютно пуст. Кроме бланков для допроса — ничего!

А он оставил. Оставил лежать на столе мой паспорт и «трудовой список», принесенные военным. А под ними, четко белея в свете лампы, лежал широкий лист бумаги, исписанный яркими зелеными чернилами, исписанный хорошо знакомым почерком… Теми самыми чернилами, тем самым почерком!

Я с ума схожу! Мысли несутся вскачь, теряя всякий смысл. Чернила… Письма… «Дорогая моя»… «Родное мое существо»… Опомнись, опомнись! Мало ли зеленых чернил! И что тебе мерещится в почерке? Опомнись!

Сердце колотится в бешеном ритме. Я все-таки заставляю себя перегнуться через стол и прочесть строки, лежащие ко мне вверх ногами. «Федорова Евгения Николаевна», — читаю я, потом еще какие-то строки, которых в волнении я разобрать не могу, и опять: «Федорова Евгения Николаевна».

Я откидываюсь в кресле и сижу в какой-то тупой прострации, не думаю, не чувствую. А время идет… Машинально пишу: «Дорогой Владимир Александрович, соберите, пожалуйста, мои вещи и отошлите домой в Москву, маме». Я хочу добавить, что не вернусь, но ручка почему-то перестает писать, и я опять сижу, ничего не соображая.

Я не взяла в руки эти листы с зелеными чернилами. Я их не прочла. А ведь они были оставлены для меня, чтобы я хоть немного поняла, хоть немного была бы готова к тому, что меня ждет! Правда, это ничего бы не изменило, но просто могло спасти от сумасшествия там, на Лубянке, где непонимание, безумная бессмыслица обвинений выматывали до потери сознания, до полного изнеможения. Этот усталый красивый человек хотел, чтобы я прочла «первичный материал» — донос.

Когда он вернулся минут через двадцать, наверное, то сразу понял, что я ничего не читала. Лицо его еще больше осунулось, и голосом деревянным, официальным он спросил:

— Написали?

Я протянула листок.

— Подпишите же!

Ах да, я ведь не подписалась! Я судорожно поставила какую-то закорючку.

Он позвонил, и тут же появился страж.

— Уведите, — устало приказал начальник.

Теперь я знаю, чем рисковал этот единственный человек, встреченный мною в «органах» за все долгие годы, в которые мне приходилось сталкиваться с ними. Единственный… И вряд ли он пережил 1937-й.

Остаток ночи я провела в закутке рядом с комнатой

дежурного; а наутро в вестибюле меня ждали двое конвоиров и с ними человек в штатском, в помятом костюме и без галстука. И еще по каким-то малозаметным признакам безошибочно можно было сказать, что это не «начальник», а арестованный, как и я.

Так оно и оказалось. Был он директором одного из сочинских санаториев, арестован уже несколько дней назад и так же, как я, ничего не взял с собой при аресте, уверенный, что наутро вернется домой. Так же, как меня, его отправляли — куда? Этого ему не сообщили, но он думал, что тоже в Москву. Однако в Ростове мы с ним расстались и больше никогда не встретились.

В Сочи ему разрешили позвонить домой, чтобы жена собрала необходимые вещи. И теперь по перрону к поезду спешила, волнуясь, хорошо одетая и причесанная женщина, едва волоча два громадных чемодана. Она еще издали увидала нашу группу — конвоиров, меня и мужа.

— Гриша, Гришенька, — залепетала она, и частые слезинки закапали с накрашенных ресниц. Она хотела обнять мужа, но конвоир вежливо, но решительно отстранил:

— Не положено, гражданка! Передачу разрешено, а свидания — не положено!

Видя, что кругом собираются любопытные, конвоиры подхватили чемоданы и стали теснить нас к дверям вагона: «Заходите, заходите!»

Мы поднялись, и Григорий Григорьевич — так, кажется, его звали — с площадки вагона прокричал жене:

— Не беспокойся, Натуся, я скоро вернусь! Это просто недоразумение, не беспокойся!

Мы вчетвером заняли целое купе; Григорий Григорьевич до отхода поезда все стоял у окна и теперь уже знаками объяснял жене, чтобы она успокоилась и что он скоро вернется. А она стояла под окном и все вытирала платочком бегущие по щекам слезы.

Конвоиры были молодыми и то ли плохо еще вымуштрованными, то ли и в самом деле сердечные люди попались, только они быстро нарушили «правила» и вскоре разговорились с нами, особенно когда выяснилось, что один из чемоданов Григория Григорьевича набит всякой снедью, да еще какой! Тут были и копченая колбаса, и грудиночка, и жареная курочка, и котлеты, да и бутылочку «столичной» заботливая Натуся не забыла уложить. А на десерт — и яблоки, и груши, и виноград!

Конечно, вряд ли конвоирам положено выпивать с арестованными, но соблазн был велик, а в купе никого кроме нас. Они, эти молодые парни, от души посочувствовали нам,

арестованным по недоразумению, но и успокоили, авторитетно заверив, что уж «там-то» разберутся, что где-где, а уж «там» ошибок не бывает!

— Ежели сволочь какая, шпиен там или вредитель — того, конечно, к стенке, а если человек невиновный — выпустят и обратно на работу предоставят — это уж точно, вы не сумлевайтесь!

Рассказали и про себя, про свои колхозы, где живется нелегко, заработки на трудодни никудышные да и работников в семье мало, ребятня — мал-мала меньше, а они, старшие, только начали военку отбывать. Так незаметно доехали мы до Ростова. Даже в машине, которая за нами приехала, конвоиры продолжали еще дружески болтать, хотя и вполголоса, чтобы шофер не услышал. Только у подъезда Ростовского НКВД они приняли вид и тон вполне официальный и в огромном вестибюле один из них лихо скомандовал: «Приставить ногу!»

Григория Григорьевича куда-то увели, а меня опять посадили в закуток, очевидно намереваясь поскорей сбыть с рук и отправить дальше. День я коротала со своим Сельвинским, многие стихи уже заучила наизусть, всякие несуразные мысли от себя гнала, все более укрепляясь в том, что «там», несомненно, разберутся и мое «приключение» кончится благополучно.

К вечеру я немножко вздремнула, а часов в десять загремела задвижка, и я была выпущена в вестибюль. Громадный вестибюль Ростовского НКВД сиял огнями. Хрустальная люстра посередине, лампы в углах лепного потолка, светящиеся шары на мраморе лестниц. В первую секунду я даже зажмурилась после полумрака своей кладовочки.

В середине вестибюля, составляя как бы каре, стояли четыре конвоира с автоматами в руках. Автоматы были направлены на единственное существо, стоящее в центре. Это была девушка с копной распущенных вьющихся волос и с огромным, плохо увязанным узлом, который она прижимала к себе двумя руками. Девушка рыдала на весь огромный вестибюль.

— Женщина, прекратите! — раздался суровый голос, и я заметила очень маленького роста военного, как выяснилось, начальника нашего конвоя.

Но «женщина» продолжала рыдать. Меня поставили рядом с ней. «Маленький капрал» — так впоследствии мы окрестили нашего начальника конвоя — скомандовал:

— Шаг в сторону — стрелять без предупреждения!.. Ша-а-а-гом…арррш!

И мы пошли по главной улице Ростова, еще кишевшей народом, ярко освещенной вечерними огнями и витринами

магазинов. Мы, конвой и арестантки, — по мостовой, «маленький капрал» — сбоку, по тротуару. Сейчас же неведомо откуда взялись мальчишки, прочие любопытные тоже начали тесниться вокруг.

— Разойдись, разойдись! — грозно кричали наши «направляющие», потрясая автоматами.

— Шире шаг! — командовал с тротуара «маленький капрал», а мы с плачущей девушкой (ее звали Марусей) и так уже чуть ли не бежали бегом. В довершение всего ее ненадежный узел развязался, на мостовую вывалились тапочки, теплая кофта, покатились какие-то свертки. Мы бросились их поднимать, конвоиры, шедшие сзади, чуть не наскочили на нас.

— Приставить ногу! — заорал взбешенный «капрал».

Зрители покатывались с хохоту. Так мы и продефилировали по всему Ростову до самого вокзала. В поезде, на этот раз не в отдельном купе, а в обычном общем вагоне, для нас было очищено от пассажиров одно отделение с «персональной» уборной.

Когда поезд тронулся и Марусины слезы наконец иссякли, я услышала ее историю. Она была студенткой третьего курса Ростовского пединститута. С их курса была арестована целая группа. Она сидела уже четыре месяца, и мать приносила ей передачи, потому и набралось у нее так много барахла. Но как только доходило до того, за что же ее арестовали и в чем обвиняют, Маруся опять принималась рыдать:

— Я ни в чем, ни в чем не виновата!.. А меня расстреливать везут!

Я старалась, как могла, успокоить ее:

— Ну что вы, Маруся! Какие расстрелы!.. Очень хорошо, что везут. В Москву везут — там разберутся. Раз вы не виноваты, чего же бояться? Со мной вот тоже недоразумение…

И я рассказывала ей в утешение, как была арестована, совершенно неизвестно за что и почему. Притихшая Маруся слушала, но потом с тоской твердила свое:

— Вот погодите… Пойдете на допрос, тогда узнаете.

— Что узнаю?

Маруся не могла ответить, что именно я узнаю, только с глубокими вздохами повторяла:

— Ах, тогда узнаете!..

Как она была права, эта девочка! Конечно, она уже имела опыт, знала, что такое «допрос». Марусю не расстреляли. Она получила всего три года — тогда еще давали три! — за болтовню. А меня судил военный трибунал как особо опасную преступницу и террористку…

Итак, мы ехали в Москву. Наутро наши конвоиры, устроившись у бокового столика, с аппетитом начали уплетать свой нехитрый солдатский завтрак — толстенные ломти хлеба, приправляя их фасолевыми консервами. У нас с Марусей потекли слюнки.

— А арестованных кормить полагается? — спросила я.

Солдаты смешались.

— Сейчас доложу, — буркнул один из них и пошел докладывать.

Вскоре явился «маленький капрал».

— Вы что, на дорогу пайку не получили?

— Нет, — робко ответила Маруся.

Я тогда еще не знала, что такое «пайка», могущественная «пайка», от которой зависит жизнь и смерть зека. Все остальное — весь приварок, суп, каша — это все ничто, ерунда. Жизнь зависит от куска хлеба. Только его вес определяет — жить или «доходить». Все это я узнала много позже, а сейчас просто не понимала, о какой «пайке» идет речь.

Не знаю, чем бы кончился этот инцидент и как был бы разрешен сложный вопрос с нашим питанием, если бы вдруг «маленького капрала» не потянула за рукав старушка-пассажирка из соседнего с нами отделения.

— Товарищ военный, — сказала она почтительным и заискивающим голосом, — разрешите вашим… — она запнулась, не зная, как нас назвать, — …этим девушкам… передачку небольшую… Яички, колбасу, хлебушка.

Все это, собранное среди сочувствующих пассажиров, было аккуратно уложено в порядочных размеров корзинку. «Маленький капрал» поколебался с минуту, но, решив, очевидно, что это наиболее простой выход из положения, милостиво разрешил:

— Примите, проверьте, — распорядился он, и один из конвоиров «принял передачу».

Чего только там не было! Кроме колбасы и яиц были еще и котлеты, и бутерброды с сыром и ветчиной, и банки сгущенного молока, и булочки, и баранки, и сахар к чаю — это были еще сытые годы Советской власти, самые сытые после нэпа. Наверно, нашим солдатикам было завидно — это тебе не фасолевые консервы! Нам с Марусей хватило до самой Лубянки, и, расставаясь в приемной, мы поделили остатки.

Это был еще только 1935 год. В 1937-м ничего подобного быть уже не могло. К тому времени народ был вразумлен — ему «открыли глаза». Все сидели тихо, как мышки, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Попробуй, посочувствуй врагу народа! «Передачки? Боком тебе выйдут “передачки”! Знай, помалкивай в

тряпочку!»

Наконец мы приехали. На Лубянку нас везли в «черном вороне». «Капрал» распорядился посадить нас в разные «собачники», хотя кроме нас в машине никого не было. Я чуть не задохнулась в этом узеньком, тесном и темном шкафчике, где едва можно было поместиться стоя. Но Лубянка от Курского вокзала недалеко, и задохнуться я не успела.

Нас высадили у ворот; «маленький капрал» повернул нас лицом к стене, а конвоиров выстроил сзади тесным строем, снова с автоматами наизготовку. Испытывая заслуженное удовлетворение от хорошо выполненного поручения — благополучно доставил по назначению двух вверенных ему опасных государственных преступниц — и в предвкушении заслуженного отдыха он вдруг подобрел и снисходительно-горделиво обратился к Марусе:

— Ну как, узнаете, куда прибыли?

Дело в том, что еще в Ростове Маруся спросила, вернее, прорыдала:

— Куда?.. Куда меня везут?

— Куда надо, — был грозный ответ.

И тут я не удержалась.

— Мне еще в Сочи сказали, что меня повезут в Москву, — спокойно сказала я.

Лицо «капрала» перекосила злобная гримаса. Он шагнул ко мне и, глядя бешеными, ненавидящими глазами, прошипел:

— Того подлеца, который сказал, расстрелять мало!.. Сволочь!

Глава 2
«Логика абсурда»

Оставь надежду всяк сюда входящий.

Последний стих надписи над воротами в ад

Первое, что поражает на Лубянке, — гробовая тишина. Здание — как под воду опущенное, из-за стен не доносится ни звука, ни вздоха, ни кашля, ни шагов. Как будто и нет никого, как будто только ты одна.

Невозможно задать вопрос, невозможно получить ответ. Всякий вопрос пресекается таинственным и каким-то символическим «Тс-с-с-ссс!», которому невольно подчиняешься. Звенящая в ушах тишина нарушается раз или два в сутки странными звуками, доносящимися из глубины дворика-колодца, в который выходят окна камер. Эти странные звуки, которые так напугали меня в первую ночь…

Из приемной, где мы расстались с Марусей, меня повели куда-то длинными пустыми коридорами и не менее пустынными двориками. Оказалось, печатать пальцы и фотографироваться. В профиль, анфас. Все деловито и молча. Потом — в камеру. Мой рюкзак, мой милый Сельвинский, мои часы — увы, все было отобрано, о чем я расписалась в толстой книге.

Моя первая камера, огромная и мрачная, выкрашенная в коричневую краску, помещалась внизу, на первом этаже. Там можно было поставить по крайней мере восемь коек. Но стояла только одна — моя. И один привинченный к полу столик. И одна табуретка. И один железный бачок — для мусора, вероятно, решила я.

Два узких, но высоких окна были забраны сплошными глухими щитами, так что только сверху виднелась узкая полосочка неба. На койке были матрас и белье, тоненькая, но все же подушка. Бока у меня болели после деревянных вагонных полок, я с удовольствием растянулась на койке и почти сразу заснула.

Проснулась не то поздно вечером, не то рано утром. Определить оказалось трудно, за окнами было темно.

Проснулась от странных звуков во дворе под моими окнами. Это были шаги. Четкий военный шаг множества ног. Потом — слова команды. Что за слова — не разобрать, но — команда. И —

раз, два! Сухой короткий стук!

Сердце у меня остановилось. Расстреливают! Тут, под моими окнами, Боже мой! Никто не кричит, не протестует, не молит.

Опять команда, опять печатают шаг. Так близко. Рядом. Так просто. Господи, как страшно!

Потом я догадалась: конечно же, это была всего лишь смена караула, а вовсе не расстрел! Но тогда, в ту первую ночь, как все это было страшно!

В моей двери был глазок — кругленькая дырочка, и я видела, как время от времени над ней с той стороны поднималась крышка, и к глазку приникал человеческий глаз. Сначала было как-то неловко, неудобно. Но потом привыкла. Ко всему привыкаешь. И даже приятно было знать, что все-таки ты не одна, что там, за дверью, тоже человеческое существо, хоть и безмолвное.

Утром отворяется дверь и молча ставятся половая щетка и совочек. Я догадываюсь, что надо вымести камеру. Но что же тут мести? Никакого мусора нет. Но я все-таки старательно мету, собираю горсточку пыли на совок, ссыпаю в бачок. Дверь снова открывается, совок и щетка забираются протянутой рукой.

— Пожалуйте на оправку!

Это означало — в уборную, в которой был такой же «глазок», как и в камере. Но я все равно радуюсь — человеческий голос!

Перед дверью конвойный давал кусочек бумажки.

Однажды совсем молоденький конвоир вдруг шепнул мне на ухо:

— Барышня, вы бы бачок захватили.

— Что? Какой бачок? — не поняла я.

— Тссс… — испугался конвоир (я, очевидно, спросила слишком громко) и, покраснев, добавил чуть слышно: — Да мне что… Ведь вам же нехорошо…

Тут только я догадалась, каково назначение бачка. «Оправка» происходила только утром и вечером, но мне и в голову не приходило, что можно воспользоваться этим бачком. Потом, путешествуя этапом по тюрьмам, мне довелось испытать весь ужас жизни в переполненных камерах с одной «парашей» на всех.

Дверь камеры снова открывается, и мне на стол кладут 11 папирос. Молча. Не спрашивая, курю ли я. И почему — 11?! Тут все загадочно и таинственно. Но раз дали папиросы, почему не закурить? Я же курила раньше. Если курить по одной в час — вот и 11 часов! Стучусь в дверь:

— А спички?

В ответ часовой достает из кармана спички и зажигает одну. И все молча, как немой. Дает мне прикурить. Спичек, значит,

арестантам давать нельзя. Потом еще раз открывается дверь. Часовой входит, идет к окну и открывает форточку (как будто я сама не могу этого сделать!). Но через час он ее закроет. Проветривает помещение. Так положено. Тут-то, в камере, где никого нет, он уж, наверное, скажет мне, который час.

— Который час? — совсем шепотом спрашиваю я.

— Тсс!

И все же даже в стены Лубянки прорывается человечность. Открывается дверь:

— Кто здесь на «ф»?

В камере я одна, кто же еще может быть на «ф»?

— Инициалы?

— Федорова Евгения Николаевна.

— Соберитесь с вещами!

С вещами?! Да какие у меня вещи, кроме одного-единственного кожаного пальто! С вещами! Наконец-то! Боже мой, домой! А как же допрос? Ведь еще не вызывали? Ну да потом, из дома вызовут! А почему ночью?

Я спешу, одеваюсь как попало, не могу попасть в рукав пальто, а он смотрит в глазок, видит эту спешку, волнение, понимает безумную надежду. И вдруг не выдержал — пожалел. Открывается дверь, и чуть слышным шепотом часовой говорит:

— Эта камера велика для вас, барышня. В другую камеру пойдете.

Все плывет перед глазами — стол, койка, дверь. Вот как! Значит, не домой, просто в другую камеру… Я прихожу в себя. Мы идем коридором, потом поднимаемся по лестнице. Еще поднимаемся — и вдруг выходим на какой-то внутренний балкон, который идет, как хоры, по всем четырем стенам большого квадратного зала. Сверху — стеклянный потолок, вдоль хоров двери с глазками и номерами. На каждой стороне по часовому.

Одну из дверей часовой отворяет для меня. Я получила маленькую, подходящую для меня одной камеру. Все здесь новенькое, все блестит. Нежно-зеленая высокая панель, белые стены, паркетный пол, блестящая решетка, которой забран радиатор. Из него приятно тянет теплом. Ведь уже сентябрь — в Москве осень.

Если бы перенести эту комнатку туда, на нашу Скаковую, пристроить к нашим двум — очень бы неплохо получилось. Нам так не хватает лишней комнаты для детей. Окно маленькое, хотя тоже со щитком, но гораздо светлее, потому что это не на первом этаже, а на каком-то высоком. Вот и голубь прилетел и сел на щиток. Почему-то всегда около тюрьмы — голуби. Недаром и Ярошенко нарисовал их под окном с решеткой, помните?

Вот я и день живу в новой камере, и два живу, и три. А на допрос меня все не вызывают — чего же так спешили с моим арестом? Время тянется невыносимо медленно. Новые страхи — дикие, нелепые — выползают, как серые тени, из углов. Забыли?! Что, если меня просто забыли? Перепутали бумаги, потеряли, и теперь неизвестно, сколько я буду так сидеть. Может быть, месяц? Вон, Маруся в Ростове четыре сидела! Я холодею от страха. Что же будет с мамой? Столько времени нет от меня писем. А потом придет чемодан из Красной Поляны. Она с ума сойдет! И я сойду или уже схожу?! Я бросаюсь к двери, стучу, кричу:

— Почему меня не вызывают на допрос? Узнайте, сейчас же узнайте, почему меня не вызывают на допрос? Вы слышите, слышите?

За дверью полное безмолвие, как обычно, и я в отчаянии бросаюсь на койку. Но через некоторое время дверь вдруг открывается, и мне протягивают лист бумаги, чернила и ручку:

— Напишите заявление!

Я хватаю бумагу и пишу — не заявление — заклинание, страстную мольбу: вызовите меня, вызовите! Я не могу больше, я с ума схожу!

Но и на другой день меня не вызывают. В один из дней вскоре после переезда, поздно вечером, когда я уже спала или, во всяком случае, лежала, дверь открылась, и тихий бесстрастный голос сказал:

— Соберитесь на прогулку.

На прогулку! Какое счастье! Правда, жаль, что уже темно, но все-таки, может быть, я кого-нибудь увижу, что-то спрошу.

Вот мы идем по балкону, спускаемся по внутренней лестнице квадратного зала. Лестница покрыта ковром.

По бокам стоят часовые — как неживые, не шелохнутся. Все помещение залито ярким светом. Тишина. Мы выходим из зала на лестничную клетку. Конвоир нажимает кнопку, открывается лифт. Мы едем в лифте, но что за странность, как будто мы едем не вниз, а вверх? Я уже не спрашиваю, привыкла, что спрашивать бесполезно.

Приехали, выходим. Передо мной открывается узенькая дверка, вроде калитки. Меня запускают во дворик. Он совершенно пустой — кроме меня никого нет. Я — на крыше Лубянки, в маленьком дворике, обнесенном высокими железными стенами. Яркие звезды над головой, доносящиеся снизу звуки. Такие знакомые, привычные уличные звуки.

Вот на площади скрежещет, заворачивая на круг, трамвай (тогда еще были трамваи и клумба посреди Лубянской площади, где стоял Дзержинский). Вот кондуктор трезвонит изо всех сил —

это кто-то перебегает дорогу под носом трамвая; вот свистит милиционер. А теперь бьют часы на Спасской башне, и я наконец узнаю, который час. Раз, два, три — не сбиться бы! — десять, одиннадцать.

Одиннадцать часов вечера, и я гуляю на крыше Лубянки. Топот ног и шум голосов внизу сливаются в неясный гул, как морской прибой.

Господи! Если сейчас на трамвай, на «восьмерку» — через 20 минут будешь дома — с мамой, с ребятами. Несколько улиц отделяет их от меня. Это же чудовищно, это же противоестественно! Как смеют меня силой удерживать здесь! Запереть на замок, как животное, как собаку! Как они смеют, за что? Что я им сделала?

И снова идут дни за днями, и снова я пишу страстные послания — кому их передают?..

«Это чудовищно, — пишу я. — Вы еще не знаете, виновна ли я, а уже наказываете так, как наказывают убийц или Бог знает каких преступников. Я сижу в одиночном заключении, одна, без книг. Каждый день — как год. Я с ума схожу, а ведь я не совершала никаких преступлений! Моя мать тоже сходит с ума от беспокойства — это же бесчеловечно!»

Нет, мои заявления все-таки куда-то передаются.

Однажды открывается дверь, и мне дают чистый лист бумаги, ручку и чернила:

— Выпишите книги.

Книги! Боже мой, какое счастье! Я спасена, я не сойду с ума!

— Сколько?

— Тсс-с-с-сс!

Ну ладно, выпишу побольше, кто знает, что у них там есть! И я начинаю писать помельче, чтобы поместилось побольше. Пишу все, что приходит на память, начиная от «Войны и мира» и «Саги о Форсайтах» до Есенина и Блока. Тороплюсь, (как бы не отобрали бумагу!). Ромен Роллан, Сервантес, Золя, Флобер, Вальтер Скотт, Марк Твен, Джек Лондон. И еще, и еще, скорей, пока лист не записан кругом. Уж что-нибудь из этого, наверное, найдется!

Проходят день, два, а книг все нет. И ко мне подступает отчаяние, опять я ни о чем не могу думать, только жду и жду — когда же?! Выкуриваю, теперь уже с наслаждением, все свои 11 папирос до обеда, хотя каждый день даю себе слово растянуть их до вечера. Я чувствую, что больше не могу, просто не могу. Остается лечь и умереть.

Но вот в один прекрасный день скрежещет мой проклятый замок, дверь открывается, и входит человек, нагруженный

книгами. Он несет их осторожно, на вытянутых руках, придерживая стопку подбородком. Нет, не стопку — целую башню книг!

Первый раз за все время я заревела. Заплакала от счастья. Я готова была перецеловать каждый корешок, каждую страницу!

Дрожащими руками я перебирала их, узнавала, как старых, добрых, испытанных друзей. Я буду читать, перечитывать свое любимое, и остановившееся время, и звенящая тишина — все уйдет. А в следующий раз попробую выписать еще и журналы — «Новый мир», «Иностранную литературу».

Кстати, интересно, когда будет этот «следующий раз»? И будет ли вообще? При том неограниченном времени, которое у меня имелось для чтения, даже такая пирамида из книг не была слишком велика. Как оказалось, их меняли приблизительно каждые дней десять. Забирали, а следующие приносили через два дня. И это были тяжелые, несчастные два дня. Тянулись они просто бесконечно!

Какая прекрасная была у них библиотека! Теперь, когда я знаю, что творилось на Лубянке в 37-м, когда людям было вовсе не до книг, когда они могли молить лишь об одном — чтобы их оставили в покое, когда с ужасом ждали момента вызова на допрос, — теперь мне по-детски наивными, пустыми кажутся мои страхи, мое неистовое нетерпение. Но тогда все испытываемое мной казалось почти невозможным пределом страданий. Правда, долго пользоваться лубянской библиотекой мне не пришлось — вскоре после начала допросов в моем деле произошел совершенно неожиданный и фантастический поворот, после чего следствие мое пошло быстрым и бодрым темпом и окончилось меньше чем через два месяца.

Ночью открылась дверь, и меня спросили, кто здесь на «ф».

— Инициалы?

— Федорова Евгения Николаевна.

— Собирайтесь на допрос!

Наконец-то! Сердце бешено колотится. Я спешу одеться, мои лыжные штаны сползают — из них выдернули резинку, еще когда меня обыскивали «до нитки», перед тем как отвести в камеру. Когда я спросила обыскивавшую меня женщину: «Как же я буду без резинки?» — она ответила односложно: «Не положено».

Мы идем по бесконечному пустому коридору. Мой страж позади, я — впереди, руки назад. Заворачиваем, и снова бесконечный коридор. Все двери закрыты, везде тишина и безмолвие. Но вот конвоир говорит негромко: «Приставить ногу». Я останавливаюсь у двери, он стучит.

— Войдите!

Он пропускает меня вперед. Кивком головы следователь отпускает конвоира. Впрочем, это не следователь, а следовательница. Женщина примерно моих лет, может быть, даже немного моложе. Очень хорошенькая. Короткие волосы уложены в изящную прическу. Правильные черты лица. Нежная ухоженная кожа. Выразительные темные глаза. Губы ярко накрашены, но это ей идет. Правда, сейчас ее портит выражение какой-то брезгливости, какого-то досадного раздражения. Она чуть морщит свой хорошенький носик и с неприязнью роняет:

— Садитесь, Федорова.

Я сажусь на стул напротив нее. Нас разделяет стол. Она берет бумагу — протокол допроса — и начинает заполнять: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения…

Наконец все графы заполнены, и она довольно долго с нескрываемой неприязнью и брезгливостью смотрит на меня с таким выражением, словно ей предстоит копаться в грязном белье. Но работа есть работа, и она приступает:

— Вы знаете, за что арестованы, Федорова?

— Нет, не знаю, я уверена, что это чистое недоразумение, и я прошу, товарищ следователь, разобраться как можно скорее, у меня мать, дети, и на работе никого… — не очень связно, волнуясь и спеша, объясняю я.

— Я вам не товарищ! — резко прерывает меня следовательница. — Это у вас там, в подвале, товарищи! А я вам не товарищ!

Я обалдеваю. В каком подвале? Я же не сижу в «подвале» — моя камера высоко. И какие «товарищи», когда я сижу в одиночке? Или она не знает?!

Позже я узнаю, что она — «гражданин следователь». Все, кто не «зека́», — граждане.

— Так за что же вы арестованы, Федорова?

Ах, если бы я знала, за что! Я ждала, что это мне скажет следователь, а она спрашивает у меня! Ведь я сама себе тысячу раз задавала этот вопрос. Сама придумывала всевозможные небылицы, но ничего подходящего так и не придумала. Разговоры с Юрой Ефимовым? («Вот за такие разговоры они и были арестованы».) Нет, не может быть. Наши беседы были совершенно «домашними», скорее уж «философскими», но никак не «политическими». И кроме того, у нас же не было никакой «группы», никакой компании — все наши разговоры мы вели только вдвоем, между собой. Нет, не может быть.

Разве что «Артек»?..

— Может быть, это из-за истории с «Артеком», — неуверенно говорю я и пытаюсь рассказать ей, как все это было.

В ожидании вызова на допрос я вспоминала эту историю снова и снова во всех подробностях и теперь готова была рассказать ее следовательнице. «Артек» в те годы был уже не просто известным детским оздоровительным лагерем на Южном берегу Крыма, а символом «заботы» советской власти о детях, правда, не обо всех, а только о «лучших из лучших».

Я уже была начинающей детской писательницей и журналисткой. Несколько книжек для детей имелось в моем «багаже», и редакторы сулили мне «будущее». Может быть, так оно и случилось бы, не приди мне в голову шальная мысль написать книгу об «Артеке». Начинающей писательнице ничего не стоило получить в ЦК комсомола бумажку в «Артек» с просьбой принять меня и «создать условия», ведь каждая книга о нем — лишняя пропаганда достижений социалистического строя!

Приехала я в «Артек» весной 1934 года с моим пятилетним сынишкой Славкой и двоюродным братом Юрой Соловьевым, с которым была очень дружна (тоже будущим героем моего «дела»). Юра тогда нигде не работал и готовился к поступлению в МЭИТ. В «Артеке» меня встретили без особого энтузиазма. Предложили место в общежитии, от которого я отказалась, попросив взамен палатку. Мы с Юркой поставили ее у самого подножия Аю-Дага, на высоком скалистом берегу с кусочком каменистого пляжа.

Старшим пионервожатым — лицом в лагере, гораздо более значительным, чем директор, — в тот год в «Артеке» был некто Саша Буланов, представитель ЦК комсомола. Как потом я узнала, он сам собирался писать книгу об «Артеке», и навязавшийся «конкурент» был ему, конечно, ни к чему.

Если бы я узнала об этом раньше, возможно, у меня хватило бы ума не оставаться в «Артеке». Но к тому времени, когда мне стало это известно, я уже обжилась, уезжать не хотелось, и я решила, что даже если с книжкой ничего и не выйдет — как-никак «соперник» из ЦК комсомола, — все равно пожить тут, под крылом Аю-Дага, в собственной палатке, в терпентиновой роще куда как хорошо!

И вот однажды — событие. В «Артек» приезжает сам Молотов! В его честь на стадионе вспыхнуло разом четыре пионерских костра, и весь «Артек» продефилировал перед трибунами, показывая чудеса массовой гимнастики с обручами, цветами и факелами. Затем был дан грандиозный концерт. Молотов остался доволен. Он поднялся со своего места, и сразу воцарилась мертвая тишина.

— Пионеры и пионерки! — начал Молотов, чуть заикаясь и растягивая слова. Далее он поведал детям, какое у них радостное и счастливое детство и какое безрадостное и несчастное оно было

у него самого при проклятом царизме.

Позже, когда все отряды были выстроены на линейку к вечернему спуску флага, на специально сколоченную трибунку посреди аллеи магнолий снова поднялся Молотов. Тут ему на шею под восторженный рев детей был торжественно повязан пионерский галстук и преподнесен фотоальбом «Жизнь “Артека”».

Молотов в свою очередь подарил ребятам велосипед (!), — услужливо подкаченный Сашей Булановым к самой трибунке (я по своей критиканской въедливости подумала: «Интересно, кто же удостоится чести первым прокатиться на молотовском велосипеде? Лучший из лучших? Скорее всего, это будет просто экспонат музея — ведь один велосипед на 2000 ребят вроде бы маловато»).

Тут произошла заминка. Как-то надо было закончить церемонию. Один из отрядов проскандировал:

— Ска-жи-те-нам-еще-что-ни-будь!

— Пионеры и пионерки, — снова начал Молотов, — укрепляйте ваше здоровье, ваши мускулы. Если каждый из вас прибавит хотя бы одно кило — это уже хорошо. Веселитесь, разучивайте новые песни и пляски. Если каждый из вас привезет в свой отряд хотя бы одну новую песню — это тоже хорошо.

Я запомнила эту «речь» от начала до конца, ибо именно она послужила началом разоблачения моей «антисоветской сущности». На другой день, когда я шла с судками за обедом, навстречу мне попался Саша Буланов.

— Сегодня после отбоя собрание, ты знаешь? — деловито спросил он.

— Нет. А о чем будет собрание?

— Будем прорабатывать новые установки товарища Молотова.

— Новые установки? — искренне удивилась я. — Когда же Молотов успел дать новые установки? И какие?

Саша смотрел на меня с не менее искренним удивлением:

— Ты что, на вечерней линейке не была, что ли?

— Была.

— Так не слышала, что ли?

— Того, что говорил Молотов? Слышала. Чтобы дети нагуливали килограммы и веселились. Ну и что? «Артек» десять лет существует для того, чтобы дети здесь поправлялись, пели, играли и не скучали — разве это «новые установки»?

На Сашином лице отразилась целая гамма чувств: удивление, недоумение, недоверие, подозрение и, наконец, просто страх.

— Ну, знаешь! — развел он руками, решительно повернулся и быстро пошел прочь.

На собрание я не пошла. Хотя пойти бы следовало. И уж во всяком случае нужно было припомнить один стишок, который я знала в раннем детстве:

Птичка ходит весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя впереди
Никаких последствий…

Следующим событием было прибытие в «Артек» юных «героев» — 200 ребятишек, которые изобличили своих родителей в краже колхозного добра, 200 маленьких «Павликов Морозовых»! Родителей героев отправили в тюрьму, а детей в награду за бдительность — в «Артек».

Их встречали с музыкой, и они гордо продефилировали по магнолиевой аллее между двумя рядами выстроенных отрядов.

Среди героев был мальчик Проня. Не помню его фамилию, но хорошо помню его портрет в «Пионерской правде». Это был паренек лет 13–14, довольно рослый для своего возраста, но нескладный и длинноногий, как все подростки, с лицом полуидиота. Полуоткрытый рот, сопливый нос, часто мигающие сонные глаза. Соломенные волосы торчали в разные стороны. Мальчик донес на свою мать, которая потихоньку собирала колоски на колхозном поле, чтобы как-то кормить семью. Колоски после жатвы должны были собирать пионеры и сдавать в колхозную житницу.

Мать посадили, а «героя»-сына премировали поездкой в «Артек». По дороге Проня сочинил стихи. Они были о том, как он, Проня, выследил свою мать, а затем донес на нее. Стихи были плохие, без всякого размера, с корявыми рифмами.

На первом же пионерском костре Проня их прочитал, а дети хлопали ему и скандировали: «Будем, как Проня!» На втором костре повторилось то же самое, потом — на третьем. И не было отряда, который не пригласил бы Проню на свой отрядный костер и не устроил бы оваций молодому «поэту».

Пионеры поехали на катере в Суук-Су (там был дом отдыха ВЦИКа), в гости, и там Проня тоже читал свое произведение. Взрослые дяди не кричали: «Будем, как Проня!», но усердно хлопали в ладоши и кричали «Браво!».

Чтение стихов о том, как сын предал собственную мать, и ажиотаж вокруг этого были аморальны и антипедагогичны. Я это понимала, а комсомольцы-пионервожатые, Саша Буланов в том числе, не понимали. Я все-таки была постарше, имела ли я право промолчать? Кроме того, я была писательницей, да еще к тому же

детской, и своим долгом считала вмешаться.

Я вспомнила об одном удмуртском колхозе, куда попала, собирая материал для детской краеведческой книги. Молчаливые люди бросали на меня недобрые взгляды. Они принимали меня за «начальство» и угрюмо гадали, чего еще ему понадобилось. По-русски почти никто из них не говорил и не понимал.

В центре, в партийном комитете мне пожаловались, что работать в Удмуртии крайне трудно: народ тупой, невежественный, противится советскому режиму, особенно в деревне. С колхозами до сих пор неблагополучно. Мне рассказали, что наряду с правлением колхозов в деревнях зачастую продолжают существовать подпольные сходки стариков — советы старейшин, «кенеш» по-удмуртски.

Они всячески вредят государству, заставляя колхоз давать неверные сводки в район, преуменьшая надои молока и количество снесенных колхозными курами яиц. Велят зарывать в землю зерно — в общем, кенеши занимаются вредительской деятельностью. Ни аресты, ни высылки не помогают.

Тогда я ничего не написала. Я видела озлобленных, голодных, нищих людей и не сочла возможным судить, кто прав, а кто виноват. Но теперь я вспомнила об Удмуртии и решила, что это как раз прекрасный материал, чтобы дать «урок» «Артеку». Я написала рассказ. Он так и назывался — «Кенеш».

Маленький удмуртский мальчонка Гараська стал моим героем. У Гараськи было сложное положение: его отец был председателем колхоза, а дед — старейшим в кенеше. По ночам за плотно закрытыми ставнями собирались старики и толковали о том, куда припрятать зерно, каких телят прирезать и показать в сводке как павших.

Отец пытался слабо протестовать, но в конце концов соглашался и писал так, как велели старики. Гараська слушал, лежа на печи, и ужасался всем этим делам. Он даже попытался образумить отца. Поздней ночью, крепко прижавшись к широкой отцовской спине, мальчик горячо шептал ему в ухо:

— Бать, а бать, ты зачем так? Зачем их слушаешь? Нехорошо ведь…

Отец, и сам измученный своим безволием, сам не знавший, «куда податься» и на чьей стороне правда, в раздражении отколотил сына:

— Не лезь не в свое дело! Вздумали яйца курицу учить!

Мальчик долго колебался: он представлял себе, как вся деревня узнает, что его отец — вор, а он, Гараська, — сын вора! В школе его задразнят, никто не захочет играть с ним, сыном вора! А батька? Ведь он же хороший, добрый. Это все старики, он их

боится, а сам — хороший и мамку жалеет. И Гараську не со зла побил, он обиды на него не держит.

А если батьку за кенеш в тюрьму посадят? Мальчик потерял сон, уроки не шли ему на ум, и огорченная Мария Васильевна ставила двойки прежде такому прилежному и хорошему ученику.

— Почему ты стал так плохо учиться, Гарась? — спрашивала она.

Вконец измученный, мальчик пришел к учительнице и все ей рассказал.

— Ну успокойся, перестань, — ласково гладила его по голове учительница. — Ты хорошо сделал, что рассказал мне. В колхозе все должно быть по-честному, по правде. Тогда и жизнь будет хорошая.

Но мальчик рыдал и не мог остановиться.

— Успокойся, с твоим отцом ничего не случится, ему разъяснят, он поймет, а кенеш разгонят. Все будет хорошо.

Старая учительница напоила Гараську сладким горячим чаем и оставила у себя ночевать. Наутро, прикрыв разметавшегося во сне мальчика лоскутным одеялом, тихонько вышла из дома и пошла в район. Это был ее долг, так она его понимала.

Когда она возвращалась домой, то увидела у реки толпу народа. Безжизненное тело Гараськи лежало на берегу. Над ним причитала мать. Испуганные ребятишки, школьные товарищи Гараськи, жались по сторонам и перешептывались: «Утоп Гараська… Утоп…»

Рассказ этот я прочла на первом же пионерском костре, куда меня пригласили. Ребята слушали внимательно, девочки вытирали покрасневшие глаза, а мальчики притихли.

— Видите, как трудно совершить подвиг? — сказала я.

Дети молчали.

На другой день, проходя лагерным парком, я заметила, что все пионервожатые, завидев меня, быстренько сворачивают в боковые аллейки. Не приходила к нам в гости и влюбленная в Юрку пионервожатая Ниночка. Это было странно. Так прошел день, другой. На третий Ниночка прибежала взволнованная, красная, со слезами на глазах. Запинаясь, она спросила:

— Вы до сих пор ничего не знаете?

Оказалось, что уже три дня как издан приказ о моем немедленном изгнании из «Артека», только никто не решался сказать мне о нем. Не сказали и на следующий день.

Наконец я сама отправилась в контору и напрямик спросила у директора: правда ли, что есть приказ?

Приказ был. Размашистым и твердым почерком в толстой книге приказов было написано, что в связи с антисоветским

выступлением на пионерском костре писательнице Федоровой предлагается немедленно покинуть «Артек».

— Но позвольте, — возмутилась я. — «Кенеш» — вовсе не антисоветский рассказ! Я только показала настоящую глубину и сложность детского подвига, совершенного во имя утверждения социальной системы.

Директор молчал, как-то неопределенно поводя плечом. Наконец он сказал:

— Ведь вам известно, что политическое руководство лагерем возложено на пионервожатых. Их коллектив возглавляет Саша Буланов. Я в это не вмешиваюсь.

Тут внезапно появился и сам Саша Буланов. Я стала требовать, чтобы раньше, чем уеду, было назначено собрание пионервожатых, где я прочту свой рассказ и разъясню, как я его понимаю, если они не поймут. Пусть обсудят.

После долгих споров и увещеваний это собрание было назначено. Вожатые молча садились за стол, не глядя на меня, листали журналы или что-то записывали. Наверное, всем было не по себе и хотелось спать, но, привычные к дисциплине, они не роптали и терпеливо ждали Сашу Буланова.

Наконец явился и он. Подчеркнуто сухим и деловитым тоном объявил, что на повестке дня стоит всего лишь один вопрос: обсуждение антисоветского выступления писательницы Федоровой.

— Прежде чем называть мой рассказ «антисоветским выступлением», я хотела бы, чтобы товарищи ознакомились с его содержанием, — так я начала защиту «Кенеша».

На выступление мне было дано 15 минут. Все же я решила читать весь рассказ, считая, что невозможно говорить и судить о том, чего никто не читал. Как можно скорее (чуть ли не скороговоркой) я прочла рассказ. Но как только начала говорить о его смысле, Саша меня прервал — мое время истекло — и наступило время для «прений».

Однако никаких прений не было. Каждый выступавший слово в слово повторял то, что сказал предыдущий:

— Классовый враг, антисоветская пропаганда, вредительская деятельность, под маской писательницы пролезшая…

О рассказе словно забыли, будто и не было его вовсе. Предметом обсуждения стал не рассказ, а я — моя антисоветская психология и вредительская деятельность.

Я ушам своим не верила. Слова о моей контрреволюционной деятельности повторялись с большим азартом и ненавистью, и я с ужасом видела, что все они, эта молодежь, сама еще едва вышедшая из детского возраста, действительно искренне верит,

что перед ней страшный классовый враг, которого вовремя успели разоблачить. Достаточно было того, что им на него указало «руководство», — уж оно-то не ошибается!

Они забыли про сон, про усталость, оживились, глаза их заблестели. Хотя никто не мог сказать ничего другого, кроме того, что им сообщил Саша Буланов, они щеголяли друг перед другом гневом и запальчивостью.

Я поняла, что говорить что бы то ни было бесполезно. Слова как горох отскочат от «железного занавеса», не только отгородившего нашу страну от других стран мира, но и сердца и разум этих людей от нормальных человеческих мыслей и представлений.

Я забрала свой «Кенеш» и побрела к Аю-Дагу. Луна уже поднялась высоко над морем, и ливанские кедры в артекском парке отбрасывали четкие сине-черные тени.

Мы уехали на другой день. Я тогда была членом групкома писателей и принесла туда свой злосчастный рассказ, просила прочитать и дать на него рецензию: вдруг у меня и вправду «мозги набекрень» и рассказ можно толковать как «антисоветский»?

Рассказ попал к писателю Малышкину, одному из первых советских писателей-коммунистов. Его повесть «Люди из захолустья» была довольно широко известна в 1920-х годах.

Через некоторое время я получила рецензию. К моей великой радости, она была положительной.

«Классовая борьба — не конфетка, Федорова совершенно права, — писал Малышкин, — нечего сюсюкать с детьми и “играть” в классовую борьбу. Что тяжело — то тяжело, надо уметь смотреть правде в глаза»…

Понятно, что я не могла всего этого рассказать моей следовательнице, — никакой бы ночи не хватило! Но она меня перебила почти с первых же слов:

— Но ведь ваш рассказ напечатан? У нас как будто существует советская цензура. Если бы ваш рассказ был действительно антисоветским, в чем, как вы утверждаете, вас пытались обвинить, то уж вряд ли цензура его пропустила бы. При чем тут ваш «Кенеш» и «Артек»?

Действительно, при чем? «Кенеш» никак не фигурировал в моем деле, хотя теперь я знаю наверняка, что именно он был подлинной причиной моего ареста. Именно тогда я «попала под рефлектор», как выражался Юра Ефимов, и на меня «завели дело».

«На нас на всех заведены дела», — неопределенно предостерегал он.

Напрасное предупреждение, уму-разуму меня не научившее.

— Так как же, Федорова? Так-таки и не знаете, за что вас арестовали?

Я пыталась объяснить, что ничего не могу предположить, что я всегда хорошо работала, получала премии и похвальные грамоты. Тут она изрекла сентенцию о том, что «у нас все вредители и враги народа прекрасно работают». Как ни дико это кажется теперь, я чувствовала себя виноватой в том, что не знаю, не понимаю, за что арестована, в чем моя вина. Как будто не следователь должен доказать мою вину, но я сама должна была доказать свою невиновность. А как я могла доказывать, не зная, в чем меня обвиняют? Получался какой-то заколдованный круг, и я в растерянности в нем металась.

Наконец, видя, что сама я ничего путного в обвинение себе придумать не могу, Мария Аркадьевна Бак — так звали мою следовательницу — решила подбросить мне вопрос:

— Федорова, с кем вы были близки из «бывших»? Ну, из бывшей аристократии?

Я — и «бывшая аристократия»? Час от часу не легче! Да на моем веку уже и бывшей-то аристократии не было! Ведь во время революции мне было всего 11!

— Да ни с кем, — крайне удивленная, растерянно отвечаю я.

Мария Аркадьевна понимает, что надо уточнить, иначе я и за сто лет не вспомню, к какой именно «аристократии» была близка.

— Не думайте, что я говорю о каких-нибудь божьих старушках, — она снова презрительно сморщила хорошенький носик. — Нет! Но разве у вас не было сверстницы из княжеской семьи?

Ах, вот оно что! Да, да, конечно же, была!

Это Бебка Щербатова, еще когда мы жили в Смоленске, в самом начале революции. Конечно!

— Но, позвольте, ведь ей, как и мне, было 12 лет! Какое же это может иметь отношение? А ее родных я вообще никогда не знала, они были расстреляны тогда же, в 1919-м, кажется, году…

Я осекаюсь… Я пытаюсь рассказать, что мы с Бебкой учились в одной школе, в одном классе… Действительно, дружили. Но родители? Я никогда не бывала у них в доме, какая же «близость»? Потом мы с мамой уехали в деревню, а Бебка — в Петроград, там оказался кто-то из ее родственников. На этом и кончилась моя детская дружба с Беби Щербатовой.

— Когда вы получили от нее последнее письмо? — этот вопрос следовательница задает, глядя на меня в упор, уверенно и обвиняюще.

— Я никогда и первого не получала!

— Врете! — как пощечина, веско, резко и неожиданно звучит ответ.

Я каменею. Так со мной не говорил никто и никогда в жизни. Что я могу возразить? Как могу доказать, что это — чистая правда? Что я никогда ни одного письма от Бебки не получала?

— Кто вам передавал привет он нее?

— Никто никогда не передавал, — отвечаю я, но сама слышу, как испуганно дрожит мой неуверенный голос.

— Врете!

Следовательница звонит. Тотчас входит конвоир.

— Уведите, — кивает она на меня. А мне вслед несется: — Подумайте, Федорова, крепко подумайте. Пока у вас еще есть время!

О, его у меня было более чем достаточно! Даже книги, мои добрые друзья, изменили мне. Я читала страницу, две, десять — и тут только спохватывалась, что ничего не понимаю, не знаю, о чем я читаю. Мысли мои мечутся, уносят меня за тридевять земель, в далекие дни моего детства.

…В 1917 году, в самый канун революции, мы с мамой переехали из Херсона в Смоленск, где жили мамины сестры. В холодный, голодный, промерзший Смоленск. Город, в котором были разобраны все заборы и обнажены сады и палисадники с голыми деревьями, обглоданными козами.

С Веселухи — башни Смоленского кремля — бухает пушка, посылая снаряды куда-то на другой конец города. На стенах Авраамиевского монастыря установлен пулемет, который непрерывно строчит. Стекла в нашем доме полопались — дом стоит как раз под самой Веселухой, и нас, детей, загнали в чуланчик без окон — каморку, но нам все интересно, и мы стараемся что-то увидеть через приоткрытую дверь…

Мы с мамой приехали в Смоленск к ее сестре, к моей тете Юле как раз в тот день, когда там начался «переворот», как тогда говорили. На второй год революции, после того как советская власть в Смоленске установилась окончательно и жизнь стала входить в свои новые формы, вместо гимназий начали открываться советские школы первой и второй ступени.

Мне вот-вот должно было исполниться 12, и я попала в первый класс второй ступени. Рядом со мной села девчонка в таком же рыжем башлычке, как и мой. Ее смешно звали Бебкой. Башлыки мы не развязывали и шуб не снимали, потому что школа была нетоплена, чернила в чернильнице замерзали. Конечно, Беби не было ее настоящим именем. Девочку так звали потому, что она была младшей в семье известных смоленских помещиков князей Щербатовых, где все было англизировано.

Уроков почти не проводилось, и ученики большую часть времени были предоставлены самим себе. Вскоре мы с Беби очень подружились. Была она немного старше меня, но гораздо энергичнее и предприимчивее, отчаянная на всякие выдумки и довольно взбалмошная. В то время взрослым было не до детей. Те, кто постарше, увлекались революционными идеями, а младшие были настоящими беспризорниками и не признавали никаких авторитетов. Занятия шли через пень-колоду. Не было дров, не хватало чернил, почти не осталось учителей — многие из них не хотели сотрудничать с большевиками.

Старшие учащиеся заседали в «учкомах», младшие гоняли по улицам. Мы с Бебкой тоже были предоставлены самим себе. Моя мама с утра до вечера работала в школе, потом еще в каком-то детском клубе, где дети занимались кто чем хотел, играли во что-нибудь, а главное — получали горячую картофельную лепешку-драпку, зажаренную на постном масле, — паек члена клуба.

Бебкиных родных — мать, бабушку, сестер, брата, который был немного старше самой Бебки (отец давно с ними не жил, и Беби его не помнила) — вскоре после нашего знакомства арестовали. Младшей из сестер было 16 лет. Говорили, она была очень красива, но я ее никогда не видела.

Беби приютила семья, давно знакомая со Щербатовыми, и та на положении «гостьи» пользовалась неограниченной и бесконтрольной свободой. Нельзя похвастать, что нашу свободу мы использовали слишком достойным образом. Правда, значительная часть дня уходила на добычу пропитания. Утро начиналось с очереди за чайной ложечкой сахарного песка. Ее высыпали на протянутую бумажку или просто в подставленную ладошку. Если ты хотел получить вторую ложку, можно было снова встать в очередь. Она продвигалась довольно быстро, ведь нигде ничего не отмечалось, не было никаких карточек или талонов. Не надо было считать деньги — все выдавалось бесплатно. Но все же, как ни быстро продвигалась очередь, растянувшаяся квартала на два-три, это занимало порядочно времени.

Затем следовала очередь за хлебом (200 граммов), которого иногда приходилось ждать часами, чтобы не прозевать. Потом — очередь за супом с головками вобл и намеком на пшено. Суп, вызывавший негодование скептиков и остроты веселых оптимистов: в самом деле, почему головы?! Куда же девалось все остальное? Или нынче вывели особый сорт головохвостых вобл?!

Надо сказать, что оптимистов было значительно больше, чем скептиков. В основном люди переносили невзгоды эпохи военного коммунизма легко и весело — это был общий подъем, взлет

радостной надежды. А нам, ребятам, все казалось занятным и интересным, да и свободного времени оставалось сколько угодно, ведь не надо было учить уроки и готовиться к экзаменам. Это время мы с Бебкой использовали для всевозможных развлечений по нашему собственному усмотрению и вкусу. Любимым трюком было прицепиться сзади к крестьянскому возу, вскочив на полозья на всем ходу.

— Подвези, дяденька!

Иной «дяденька» угощал кнутом, иной, добродушно поругивал: «Ну, куда лезете, непутевые?», но с полозьев не прогонял. Не брезговали мы и прокатиться на трамвайной «колбасе», когда начали ходить трамваи. Самым же увлекательным, хотя и опасным, занятием было отвязать пару оседланных лошадей, привязанных у военного штаба или еще какого-нибудь учреждения, и, благополучно улизнув на них, дернуть за город, промчаться галопом по шоссе, вцепившись в лошадиную гриву, чтобы не слететь.

Стремена, до которых не доставали ноги, хлопали по бокам лошади, а душа замирала от страха и наслаждения! Впереди неслась Бебка, которая не боялась ничего на свете и меньше всего — сломать себе шею, а за нею я, готовая скорее умереть, чем показать, что мне страшно… Трусость была самым позорным и презираемым чувством. Если нам удавалось усидеть на лошадях, мы приводили их обратно и попросту оставляли там, где взяли, не привязывая, чтобы не попасться.

Бебка действительно страстно любила лошадей и прекрасно их знала. На уроках она рисовала толстым синим карандашом (единственным, который у нее был, но и это тогда у нас считалось огромным богатством) синие лошадиные морды и ноги. И надо сказать, рисовала очень хорошо.

Грациозные лошадиные головки с умными глазами и настороженными ушами были как живые. Лошадиные головы, ноги, хвосты украшали все поля ее ученических тетрадок и книг, а заодно и моих. Это заставляло меня еще больше преклоняться перед Бебкой. У нее были настоящий талант и страсть к лошадям. Она хвасталась, что может усидеть на любой, самой бешеной, лошади. Я не желала оставаться в дураках и хвасталась, что тоже могу, хотя и не очень была в этом уверена.

Щербатовы до ареста всей семьей, кроме отца, жили в Смоленске на Казанской горе, в доме с большим садом, к тому времени почти съеденным козами, своими и чужими. Бабушка ухаживала за больной княгиней, которую не положено было тревожить, и Бебка видела мать, только когда ее впускали на минуту, чтобы на ночь поцеловать ей руку. Что делали старшие

сестры Бебки, я не знаю, а единственный брат Дмитрий, на два года старше Бебки, не делал ровно ничего и изводил ее и меня, как только мог. Он забрасывал нас репейниками, больно дергал за косы или с диким воем выскакивал из-за кустов. Мы старались не попадаться ему на глаза и держались от щербатовского сада подальше. Жаловаться на него было бесполезно: он был единственным мальчиком в семье, любимцем и баловнем бабушки, женщины суровой и непреклонной, на которой лежало все воспитание детей.

В те годы — 18-й и 19-й — в Смоленске все, кто только мог, заводили коз. Это были удобные животные, их не приходилось кормить, они сами кормились в садах, заборы которых давно были разобраны и спалены в буржуйках. Зимой объедали декреты Советской власти, расклеенные на тумбах. Декреты были напечатаны на толстой желтой бумаге и пришлись козам по вкусу. Изредка их ловили, но большей частью не обращали на них никакого внимания. Было не до садов и не до декретов. Козы давали молоко и спасали маленьких детей от голодной смерти.

Мы тоже спохватились, что коза нам необходима, тем более что у тети Юли должен был родиться ребеночек. За шелковый бабушкин кринолин мы выменяли Катюшку. Это была небольшая безрогая козочка, больше похожая на козленка. Но баба, ее хозяйка, божилась, что Катька «обгулялась» и к осени непременно окотится. В конце концов она таки окотилась, и это было очень кстати, потому что у тети как раз родилась дочь Олечка, и те два стакана козьего молока, что давала Катюшка, ей хватало для жизни. Новорожденная Олечка весила четыре с половиной фунта, и, когда ее принесли домой, она была чуть больше месячного котенка. У тети, конечно, никакого молока не было, и выкормила Олечку наша Катька.

У Бебки было целых две козы — Бебека и Мемека. Обе старые, с большими животами и с огромными страшными рогами. С козами справлялась только Бебка — ее они слушались и только ей давались доиться. Сначала они набрасывались на мою беззащитную безрогую Катюшку, но потом привыкли, и мы мирно бродили по оврагам все впятером. Мы с Бебкой залезали на плакучие ивы и оттуда бросали козам длинные зеленые ветки.

Вообще, летом коз ничем не кормили. Целыми днями они слонялись по городу, добывая себе пропитание где подвернется, объедали кусты сирени, обгладывали молоденькие яблоньки, сдирали афиши с будок и пощипывали кое-где пробивавшуюся травку. На зиму им заготавливали и сушили веники из березовых и осиновых веток, которые им не очень нравились, но позволяли не подохнуть с голоду.

Где-то под Смоленском был завод, на котором делали подсолнечное масло. Часто на улицах города мы видели обозы деревенских дровней, нагруженных плитками подсолнечного жмыха. Мы с Бебкой выпрашивали кусочки для наших коз, которые с удовольствием их поедали. Впрочем, и сами мы с неменьшим удовольствием жевали этот жмых! Иногда нам удавалось выпросить кусочек, а иногда мужичок замахивался кнутом, и тогда мы решались на «экспроприацию»: попросту хватали по плитке жмыха и бросались в разные стороны.

Возница орал: «Стойте, волки вас заешь!» — и бросался за нами. Но сразу за двоими не угнаться, и он бежал за одной из нас. Та бросала свою плитку, но зато другая в это время оказывалась уже за пределами досягаемости! И таким образом тоже мы добывали нашим козам корм.

Впрочем, иногда нас привлекали не только отчаянные приключения. Сближала нас с Бебкой и настоящая любовь к природе и просто к бродяжничеству. Иногда без всякой практической цели мы уходили за город, бродили по заснеженным зимним дорогам и были совершенно счастливы.

Однажды мы чуть-чуть не замерзли, уйдя под вечер далеко за город и надеясь, что нас пустят переночевать в какой-нибудь деревне. С собой мы взяли горсточку соли — по тем временам вполне приличную плату за ночлег. Но до ближайшей деревни добрались только в темноте, и крестьяне побоялись впустить нас. Напрасно мы стучались в двери всех хат. Прошли всю деревню, но никто не отпер, и мы пошли дальше, провожаемые дружным неистовым лаем деревенских собак. Наступила ночь — звездная, морозная, снег скрипел под валенками (было больше 20 градусов мороза, как мы узнали потом). Но идти было тепло — даже жарко, только мы очень устали, и глаза совершенно слипались. Мы совсем было решили заночевать в поле, закопавшись в снегу. Пожалуй, живыми нас вряд ли бы после этого откопали! Но тут, на наше счастье, нас нагнал мужичок на дровнях, подвез до своей деревни и пустил к себе переночевать. Как убитые заснули мы на теплой печи, рядом с хозяйскими ребятишками. А утром хозяева в обмен на нашу соль дали нам еще по большой ароматной ржаной лепешке необыкновенной вкусноты!

…Никогда не забуду этого великолепного зимнего утра, бледно-голубого прозрачного неба, сверкающего разноцветными искрами снега, белых берез и синих теней от них… И белых столбиков дыма, поднимающихся из каждой трубы… И аромата наших теплых ржаных лепешек, который мы вдыхали с наслаждением и вожделением, — мы их не трогали, чтобы съесть потом, по дороге домой…

Были у нас с Бебкой и другие, более серьезные интересы «философского» характера. Моя семья не была атеистической, но и религиозной ее тоже никто бы не назвал. Мама считала себя «верующей», как она сама говорила, в память своей матери и в церковь ходила только по большим праздникам, и то к службам, в которых было красивое пение.

Даже я помню «архангельский глас» во время чтения 12 Евангелий в четверг на Страстной неделе, после которого мама считала, что можно уходить домой, так как больше «ничего интересного не будет».

Но с Бебкой все обстояло по-другому. Ее воспитали в строгом почитании церковных обрядов, заставляли говеть и исповедоваться, часами простаивать на длиннейших и скучнейших службах. Первое, что она оценила, оставшись на свободе, — это то, что теперь можно было ко всем чертям послать все службы и молитвы на ночь, которые бабушка заставляла ее читать, стоя на коленях по полчаса. Так, по крайней мере, ей казалось.

Теперь можно было жить в свое удовольствие, а потом не потеть и не каяться на исповеди, так как на исповеди Бебка не считала возможным соврать. Однако, как ни приятна была такая «духовная свобода», свалившаяся на Бебку после того, как она лишилась опеки своих родных и главным образом бабушки, которая ее усиленно воспитывала, все же совесть немного мучила и беспокоила ее. Поэтому немудрено, что «философско-религиозные» вопросы занимали ее и заодно стали занимать и меня.

Конечно, все для нас сводилось к простейшему вопросу — есть Бог или нет? Накажет он Бебку за пренебрежение к ее религиозным обязанностям или не накажет? В конце концов мы решили, что в этом можно убедиться простым экспериментальным способом. Христос, по нашим понятиям, был «очень верующим», и потому с ним происходили разные чудеса. Если, рассуждали мы, подобно Христу, мы вручим себя ВСЕЦЕЛО воле Божией, положимся на его милость и доброту, неужели же он, БОГ, не отнесется к нам милостиво и не выкажет нам этого каким-нибудь самым простым и понятным способом?

Для такого «запроса» к Богу мы придумали маленький и простой эксперимент — пустяковое даже не чудо, а малюсенькое «чудечко», которое, конечно же, Богу ничего не стоит сотворить для того, чтобы доказать нам свое существование. В Смоленске был городской парк, называвшийся Лопатинским садом по имени богачей Лопатиных, которым он когда-то принадлежал. В Лопатинском саду было небольшое подковообразное озерцо, по

которому летом плавали лодочки с влюбленными парочками, а зимой устраивался каток.

Была поздняя весна. Снег почти весь стаял. Тронулся лед на Днепре, а озерцо в парке все еще стояло подо льдом, ставшим серым и грязным, покрытым огромными лужами и трещинами. Каток давным-давно уже закрылся. Этот сад и озерцо с тающим льдом и были выбраны местом нашего богословского эксперимента. Если Христос благодаря своей вере мог запросто ходить по волнам, то неужели ему трудно провести нас через тающее озерцо? Конечно, мы не Христосы, но ведь и в озерце — не морские волны, и все же кое-какой ледок еще держится!

И вот мы, крепко-накрепко «вручив себя милости Божией», смело двинулись через озеро, как были, еще в зимних шубах и башлычках. Не дойдя и до середины, мы убедились, что «Бога нет». Лед под ногами разъехался, и мы с головой погрузились в ледяную воду. До сих пор помню первое ощущение — как будто обдало кипятком! Тут уж было не до милости Божией, мы вынырнули и стали орать благим матом.

Прибежали какие-то солдаты и вытянули нас, отчаянно ругаясь при этом. Хорошо, что еще удалось упросить их не отводить нас в милицию. Я помчалась домой, надеясь как нибудь незаметно переодеться и высушиться до прихода мамы. Все сошло гладко, хотя шуба еще дня два была сыроватой. Мама ничего о «философско-религиозных» вопросах не узнала, а у нас с Бебкой даже насморка не случилось — нам все было как с гуся вода!

…Но венцом всех наших похождений стала история с курами.

Понятия о нравственности вообще были у нас не только смутными, но и своеобразными. Все истины были смещены. Бога, как мы лично убедились, не существовало. У князей Щербатовых было отнято имение, имущество. Даже Бебкины игрушки красовались теперь в «народном музее», чем она очень гордилась. Отсюда довольно логично вытекало: у кого чего-то много — можно отнять, это будет только справедливо.

Всегда хотелось есть. Суп из воблиных головок и дранки из картофельной шелухи не очень насыщали. А в деревне мы видели целые табуны кур, мирно копавшихся под плетнями огородов. Почему и нам не взять себе хотя бы одну? Все равно у хозяина останется еще много…

В конце концов мы украли курицу… Это была великолепная черно-бронзовая курица с красноватым отливом, с желтым ожерельем на шее, крупная и тяжелая… Мы поместили ее в наш сарай. Маме я сказала, что выменяла курицу на мою браслетку из «нового золота» — в то время часто меняли белье или какие-нибудь вещи на продукты у крестьян. Меня мама тоже иногда

посылала за картошкой или молоком в обмен на наволочку или полотенце.

Когда наша курица снесла первое яйцо — крупное, гладкое, желтоватого цвета! — ликованию нашему не было предела! Со второй курицей получилось хуже. Когда мы охотились за ней, нас заметили. Мы сунули ее в мешок и стали удирать со всех ног. Летели стрелой добрый километр, и бедная курица задохлась в мешке, болтаясь за спиной у Бебки. Однако мы здраво рассудили: задохлась ли курица или просто зарезана — какая, в сущности, разница? Жаль, конечно, курицу, но уж раз так получилось, не пропадать же добру зря! Мы ощипали ее и принесли моей маме — снова как «выменянную».

Ну и пир же у нас был! Курица оказалась на редкость жирной и просто таяла во рту. Мама удивлялась, как я сумела выменять такую замечательную курицу?! Но, как всегда, всему приходит конец и все тайное становится явным! Все раскрылось. Мама нашла «выменянную» браслетку, которую я просто куда-то засунула. Разразилась гроза и… я во всем призналась.

Много было горьких слов, слез и обещаний, что такое больше никогда не повторится. Мама потребовала, чтобы оставшаяся в живых курица (которая продолжала нести такие великолепные яйца!) была немедленно возвращена хозяевам, а Бебкиной ноги чтобы больше не было в нашем доме, раз и навсегда!

Мамины решения всегда отличались радикальностью и непреклонностью. Нашей дружбе с Бебкой был нанесен сокрушительный удар. Конечно, мы продолжали тайно от мамы встречаться от случая к случаю, но нашим «вольным похождениям» пришел конец. Я подозреваю, что мама догадывалась о наших тайных встречах, но делала вид, что ей ничего неизвестно, и никогда не спрашивала о Бебке, очевидно, боясь поставить меня перед необходимостью солгать.

Но все же еще один-единственный раз Бебке было суждено побывать в нашем доме при очень печальных для нее обстоятельствах. Когда пришла весна 1919 года и зазеленели далекие перелески, вся семья Щербатовых — брат Дмитрий, который дразнил наших коз и дергал нас за косы, сестры, княгиня-мать и 80-летняя бабушка — все были расстреляны без суда и следствия. За наглухо закрытыми ставнями люди испуганно шептались: «Какой ужас! И за что, почему? Неужели только за то, что были князьями? Но ведь все имущество было национализировано! И при чем же тут дети?»

Передавались романтические слухи: 16-летняя красавица княжна Ирина сказала перед расстрелом: «Как грустно умирать молодой». Что сказал 14-летний Дмитрий и 80-летняя бабушка,

было неизвестно. Из всей семьи только бабушку Бебка горько оплакивала, только ее ей действительно не хватало.

Бебка оказалась совсем одна, квартира была опечатана, и всего-то хозяйства у нее осталось — Бебека да Мемека.

Вскоре маме предложили место единственной учительницы начальной школы в деревне Боровой в часе езды от Смоленска по железной дороге. В заработную плату входили кое-какие продукты, собираемые с родителей учеников. Мама согласилась, и мы стали готовиться к отъезду. В связи с этим мама позволила мне позвать Бебку к нам домой, чтобы проститься с ней. Когда она появилась, то выглядела слегка осунувшейся и немного печальной. О семье не говорила. Только раз упомянула бабушку и отвернулась, чтобы не показать набежавших слез. Бебка рассказала, что в Петербурге отыскались какие-то ее дальние родственники, к которым она собирается уехать, как только продаст коз.

Так наши пути с Бебкой разошлись навсегда. Что я знаю о ней теперь? Где она, чем занимается? Ведь могла же ей, уже взрослой, прийти в голову мысль отомстить за смерть родных? Ведь Бебка всегда была решительна и смела. Разве не могла она попытаться организовать тайное общество для борьбы с советской властью или не организовать, а войти в таковое, если оно вообще существует. Вдруг общество провалилось, и все его члены арестованы, сидят тут же, на Лубянке, рядом со мной, может быть, вот за этой самой стеной? Их допрашивают и заставляют называть всех, кого они знают или когда-то знали. Бебка вспоминает и называет меня. И вот я арестована за связь с тайным политическим обществом, о котором ровно ничего не знаю. Господи, как же я смогу это доказать?

Как потом оказалось, что бы я ни говорила, все оборачивалось против меня. Самое лучшее, что я могла бы делать, — ничего не говорить и рыдать, как Маруся. Тогда, быть может, я и наплакала бы себе пять лет вместо военного трибунала… Но, забегая вперед, должна признать, что техника запугивания подследственного на Лубянке была отточена до совершенства.

Больше ни разу ни на одном допросе фамилия Щербатовых не упоминалась. Весь этот фарс понадобился только для того, чтобы оглушить меня перед следующими допросами, а главное — для того, чтобы в приговоре военного трибунала написать: «В прошлом близкая к семье князей Щербатовых, расстрелянных по савинковскому делу».

Мало того, что князья Щербатовы были расстреляны, когда мне было 12 лет! Так еще и расстрелянными они оказались по

савинковскому делу, которое проходило в 1924 году. Их расстреляли, так сказать, для верности, заранее — в 1919-м!

…Когда я переступила порог Лубянки, у меня и в мыслях не было хоть в чем-нибудь обмануть «органы», прославляемые советской прессой как идеал честности, справедливости и коммунистической «чистоты». Я наивно ожидала, что они сразу же поймут, что я ни в чем не виновата и что все это сплошное недоразумение. Увы, оказалось не так-то легко что-то «рассказать» следователю. Я должна была только ОТВЕЧАТЬ, а не рассказывать. Никто моих рассказов выслушивать не собирался. Вопросы же задавались, на мой взгляд, один диковиннее другого, а почти все мои ответы вызывали брезгливое и убежденное «ВРЕТЕ!»

Я не собиралась ничего от них скрывать, но они ни в чем мне не верили. Я не чувствовала себя в чем-нибудь виноватой, но их поразительная осведомленность обо мне приводила меня в крайнее изумление. Она была просто сверхъестественной. Они не только знали — и знали совершенно точно, — когда и где я бывала, что делала и что говорила, но даже о чем думала и о чем могла подумать! Они помнили это лучше, чем я сама. И главное, все это было совершенной правдой! Все было именно так.

Не так было только то, с какой точки зрения смотреть на это. Если я что-то критиковала, с чем-то не соглашалась, то для того, чтобы это исправить, насколько возможно. А с «их» точки зрения — для подрыва советской власти… Теперь я уже не рвалась на допрос, окрыленная надеждой, что вот сейчас меня выслушают, все разъяснится и меня выпустят на свободу. Наоборот, я поняла, что все, что скажу на допросе, будет вывернуто наизнанку и использовано против меня.

Перед каждым допросом я теперь мучительно старалась припомнить, где, когда и при ком я могла ляпнуть такое, что может быть истолковано как что-то антисоветское. И… не могла.

Как выяснилось на допросах, следователям было известно, что я кому-то сказала про государственные займы, проводившиеся в те годы, что это — «добровольно-принудительное мероприятие». Правильнее, конечно, было бы сказать просто «принудительное». Хочешь не хочешь, ты обязан был подписаться на эти займы в размере месячной зарплаты — таково якобы было предложение самих трудящихся, против которого никто не решался голосовать.

— Так вы против государственных займов? — полуутвердительно спросила следовательница.

— Да нет, я не против, раз есть такая необходимость. И никто, наверное, не против. Я просто сказала то, что говорили

многие тогда, — промямлила я.

— А вы что, не понимаете, что повторять такие высказывания есть враждебный акт по отношению к советскому народу, проголосовавшему за эти займы? — ядовито процедила следовательница.

«Ну вот, — подумала я, — час от часу не легче, я уже, оказывается, и враг народа!»

…Им стало известно, что я сказала что-то нелестное о спасении челюскинцев, вроде того что «вот челюскинцы сидят на льдине, которая вот-вот под ними расползется. Америка предлагает свою помощь для спасения людей, а мы гордо отказываемся — мы сами спасаем своих героев».

Ну конечно, как же можно поступиться своим престижем! Ну и правда, спасли. Не утонули. А если бы льдина раскололась днем раньше? Я точно не могу вспомнить, говорила я именно так или нет, но НКВД знает лучше, что я думаю о героях-челюскинцах и американской помощи!

…В начале 1935 года был показан фильм «Новый Гулливер». Это была первая объемная мультипликация советского производства. В «Вечерке» какой-то дотошный писака подсчитал, во что обошлась съемка, учитывая, сколько кукол надо было сделать для одного-единственного движения персонажа, для каждой его гримасы. Количество получалось фантастическое, а в связи с этим и стоимость фильма невероятная. Мне фильм не понравился, показался каким-то уродливым и малохудожественным.

Как раз незадолго до премьеры я была в Киеве в командировке. На Крещатике у порогов булочных я видела страшных, почерневших ребятишек с огромными злыми глазами — голодный кризис уже миновал, начали открывать «коммерческие» булочные. Они тянули тощие цыплячьи шеи, протягивали ручонки и хором пищали: «Тетенька, дай хлебца!» Лучше в булочную было не заходить.

Когда я увидела «Гулливера», то сказала уже не помню кому: «Чем тратить сотни тысяч на такую ерунду, лучше бы накормить украинских детей».

— Так кого же вы обвиняете за голод на Украине? Советскую власть?

Теперь я, вероятно, обвинила бы. Но тогда я никого не обвиняла. Я только говорила, что надо сначала подумать о детях, а потом уж снимать дорогие и дурацкие фильмы. Из этого вытекало, что я обвиняю советскую власть. Я хотела возразить, но вовремя сдержалась. Я уже начала понимать, что все мною сказанное запишут в протокол так, что это будет использовано

против меня.

Слава богу, что про Маврикия Мечиславовича Ключковского, подпольно переводившего Джона Локка, меня спросили тогда, когда я уже поняла, что все, что ни скажешь, — все плохо.

Ключковский, друг моей матери, был глубокий старик, старше моей мамы, пианист, преподаватель музыки. «Ведь нашим детям, — говорил он, — невозможно даже ознакомиться с какой-то другой точкой зрения, кроме коммунистической. Я — не политик, но мне это странно. Ведь это же сужает кругозор. Вырастут недоросли».

— Нет, мне ничего неизвестно ни о каких переводах М. М. Ключковского, — ответила я.

Следовательницу взорвало. Она убедилась, что я научилась «врать». Ведь ей доподлинно было известно, что я знаю о переводах. Не сдержавшись, она резким движением разорвала пополам уже начатый протокол.

— Ну, Федорова, — постучала она по столу согнутыми костяшками пальцев, — вы еще об этом пожалеете, ох как пожалеете!

Она ошиблась. Я никогда не пожалела, и Маврикий Мечиславович благополучно умер в Москве и еще долгое время до своей смерти навещал маму, был для нее другом и утешителем (не подозревая, что сам стоял на «лезвии», — каким чудом я не впутала его?!).

С каждой новой «оказией» меня все больше поражала осведомленность моей следовательницы, которая, казалось, лучше меня знает и помнит, что и по какому поводу я говорила и даже думала! Это производило потрясающее впечатление какого-то волшебства, и сколько я ни ломала себе голову, так и не могла себе представить хоть какой-нибудь реальный, «земной» источник такой всеобъемлющей осведомленности… Ведь в Сочи я не прочла того листа с зелеными чернилами… И еще оказывалось, что все, что я думала и говорила, свидетельствовало о моей «антисоветской психологии». Следовательно, я была антисоветским человеком, опасным для окружающих, и, значит, должна быть изъята из общества. Что я еще не совершила никакого преступного «действия» — это было неважно!

Такая абсурдная логика действовала неумолимо и безотказно. Презумпция ВИНОВНОСТИ заменяла им и Право, и Закон. Все было перевернуто вверх ногами. Сначала вам внушают, что вы УЖЕ виновны во всем том, что и как вы говорили и даже думали о текущих событиях в стране, а потом отметают любую вашу логическую попытку доказать вашу невиновность и абсурдность обвинений! Это вызывало чувство безысходности и

обреченности. Нервы мои были на пределе, и я устала от постоянного напряжения.

Кроме мучительного беспокойства за маму, за ребят — ведь я даже не знала, благополучно ли доехал Славка, — кроме страха за себя еще меня мучил острый страх за Юру Ефимова. Ведь вот, уже была одна история, уже висел на ниточке, чудом уцелел. А теперь еще — я. Особенно теперь, когда я стала понимать, что это не «ошибка», что я действительно виновна, потому что все, что я говорила и думала, в этой стране было преступлением. И теперь назад мне нет пути, а за собой я потяну и его. И я со страхом ждала, что меня вот-вот спросят о Юре. Ведь каждый шаг мой известен, так неужели же они не знают, что мы вместе работали в Красной Поляне? Да и все, наверное, про нас известно.

Господи, пронеси! Но нет, не пронесло.

— Знаете ли вы Юрия Ефимова?

Вот оно!

— Конечно, — бормочу я. — Мы вместе работали на базе в Красной Поляне.

— И часто вы с ним встречались?

— Нет, не очень. Мы порознь водили экскурсии в горы.

— Но все-таки встречались?

— Да, встречались.

— И о чем же вы беседовали?

— Я не помню… Обо всем… О работе, об экскурсиях, о маршрутах.

— А он не читал вам своих стихов?

Боже! И это!

— …Да, иногда читал.

— О чем же были его стихи?

— Я плохо помню.

— А вы припомните! — с издевочкой и вроде с любопытством советует следовательница.

Я молчу, потому что знаю: что бы я ни сказала — все плохо (хотя ведь и на самом деле никаких «антисоветских» стихов не было).

— А фамилия Каткова вам знакома?

— Да, — запинаясь говорю я. — Это знакомая Ефимова. И чтобы не дать поставить какой-нибудь каверзный вопрос, сама поспешно прибавляю: — Она была за что-то арестована, мне говорил Ефимов, только он не знал, за что.

Поразительно! Моя уловка удалась. По-видимому, Мария Аркадьевна удовлетворена моим ответом и переходит к чему-то другому. Так, как-то вяло, неопределенно, проходит допрос о Юре Ефимове и даже не записывается в протокол. Счастливая звезда

хранит его! Я уже не вернусь, но пусть хоть он останется.

Спустя двадцать лет я прочла то, что Юра писал в эти дни, в осенние дни 1935 года. Это был целый цикл стихов, который он позже окрестил «Крокодиловыми слезами». Вот одно из них.

Огромным циркулем обводит
Свой круг зима. Грядет зима.
Я вновь приговорен к свободе,
Чтоб самому просить ярма.

И оправданье хуже каторг.
Его ношу я, как паршу.
Судьба, ты — кат и провокатор,
Я вновь кассации прошу.

Но это — только полуправда. Защита против самого себя. Полная правда слишком непереносима. Ее не выговоришь. Юра не был «вновь приговорен к свободе», он ее выбрал для себя раньше. Навсегда… И уйти от этого было уже некуда. Нелегко жить с паршой на теле, а на душе — тем паче. Он испил чашу до дна.

Теперь я уже понимаю, что я — человек конченый. не свой, не советский, мне нет места среди нормально, здраво и правильно рассуждающих советских людей. Я уже в их мир не вернусь… И все же чувствуется, что дело мое как-то топчется на месте, продвигается плохо. Каждый новый допрос — новая тема, а прошлая куда-то отметается. Явно не хватает основного звена, за которое можно ухватиться и успешно привести дело к концу. Так проходит еще около месяца, и вот наконец такое звено найдено. Довольно болтовни о «добровольно-принудительных» займах и прочей ерунде. Все это было подготовкой, рыхлением почвы, так сказать. Теперь дело принимает грозные очертания, тут уже пахнет настоящей контрреволюцией!

С выражением отвращения, смешанным с презрением, исказившем ее хорошенькое личико, Бак спросила, глядя на меня в упор:

— С кем и когда вы вели террористические разговоры?

— Я…террористические разговоры??!

Боже мой, чем еще она меня ошеломит?

— Федорова, я повторяю, с кем и когда вы вели террористические разговоры?

— Ни с кем и никогда не вела!

— Врете!

Но я уже привыкла, и теперь на меня такая «пощечина» не действует.

— Я не вру. Ни с кем и никогда.

Но это опять как с княжной Щербатовой. Это я, дура, не понимаю, о чем меня спрашивают, но следовательница-то знает.

— Да какие террористические разговоры? — недоумеваю я.

— Может быть, вы и это станете отрицать? — порывшись в какой-то папке, она достает исписанную бумажку.

Я сразу вижу — почерк мой. Читает: «Не правда ли, дико — метод террора в наши дни?.. — это из вашего собственного письма к некоему Викторовскому». Да, действительно это из моего собственного письма к некоему Викторовскому, моему ленинградскому приятелю. Письмо, написанное год назад, почему-то оставшееся неотосланным и, очевидно, среди других бумаг забранное теперь из дома, но я все равно ничего не понимаю:

— Да, конечно, это мое письмо, — слов с моего места не видно, но почерк свой я узнаю и вполне допускаю, что там написано именно то, что читает следовательница. — Ну и что же такого в этой фразе? Что я удивляюсь методу террора? Ведь это же не значит, что я его «одобряю»! Тут же этого не написано?!

— Еще бы, — не очень-то логично отвечает Бак. — Было бы странно, если бы вы сознались, что одобряете этот метод!

— Почему же я должна сознаваться, если я не одобряла и не одобряю его?

Бак не отвечает, но многозначительно задает другой вопрос:

— А вы об убийстве Кирова никогда ни с кем не говорили?

Я молчу в недоумении…

— Ну что же, Федорова, после убийства товарища Кирова вы никогда ни с кем об этом не говорили?

— Да, конечно же, говорила. Тогда же все об этом говорили и в газетах писали.

…Так вот какие разговоры называются «террористическими»! Я еще не понимаю, куда она гнет, но уже чувствую, что ни к чему хорошему это не приведет. В протокол между тем записывается: «Я вела террористические разговоры во время убийства т. Кирова».

— Так с кем же вы вели эти разговоры?

Я теряюсь:

— Право, не помню… Со всеми, наверное, кто был рядом.

— А кто был с вами рядом?

Я чувствую, что запутываюсь в какие-то ловко расставленные сети. Ведь во время убийства Кирова в декабре 1934-го я как раз была в Ленинграде. (Как это некстати! — молнией проскакивает в мозгу. Не дома, в Москве, а именно в Ленинграде. Хотя я ездила туда часто, мне почему-то стало неприятно и неудобно, что в это

время я как раз была в Ленинграде.)

— В эти дни я как раз была в Ленинграде по работе, — объясняю я и соображаю, что все оборачивается плохо.

— Где же вы останавливались?

— В семье мужа. Я всегда там останавливалась.

— Так с кем же из семьи вашего мужа вы говорили об убийстве товарища Кирова?

— Право, не помню. Со всеми, вероятно.

— Ну, а конкретней? Припомните!

— Не помню. Возможно, что с сестрой мужа Олей. Мы с ней одногодки, очень дружим. Хотя я дружна и со всей семьей.

Все. Довольно. В протоколе записано: «Я вела террористические разговоры во время убийства Кирова с сестрой моего мужа Ольгой Селенковой».

— Но разве об этом нельзя было говорить?

— Смотря как говорить!

— Но ведь мы не меньше других были поражены убийством товарища Кирова — и я, и Леля!

— Это мы выясним, — она звонит. — Идите в камеру и припомните, с кем вы еще вели террористические разговоры!

По ее тону я понимаю, что это уже не «государственные займы», это уже что-то посерьезнее и пострашнее.

Вид у следовательницы довольный. Еще бы! Эта дуреха сама так кстати углубляет дело, так услужливо преподносит материал, которого даже и в «информационных сведениях» нет! С этим делом, можно считать, ей повезло!

Итак, в протоколе было записано: «Во время убийства товарища Кирова, находясь в квартире отца мужа, П. А. Селенкова, я вела террористические разговоры с сестрой мужа Ольгой Селенковой». Какие именно разговоры, уточнено не было, и я, как обычно в конце допроса, подписала бланк. Весь текст записывала сама следовательница (и вопросы и ответы), и, хотя она предлагала мне прочесть, от волнения у меня строчки прыгали перед глазами, и я ничего не видела перед собой. Да и к тому же это казалось мне пустой формальностью — я и так знала, что там все написано, как она хочет, а не как я.

Я подписала, полагая, что потом уточнится и выяснится, что разговоры наши были вполне невинными, лояльными, что других в семье свекра, действительно потрясенного убийством Кирова, и быть не могло. Что мы, как и все, были поражены этим убийством, которое и «террором» как-то странно было назвать. Понятие «террор» в нашем представлении отдавало чем-то чуть ли не средневековым и в рамки наших дней как-то не вписывалось. В конце концов, разве это не могло быть вообще не

политическим убийством, а делом рук какого-нибудь психопата или ревнивца, наконец? Что мы знали о частной жизни Кирова? Ничего.

…Помню день, когда похоронная процессия во главе со Сталиным двинулась из Таврического дворца на Московский вокзал. Был очень холодный зимний день. Окна дома на Выборгской стороне, где жила семья моего мужа, выходили на Неву. С высоты пятого этажа можно было видеть на другой стороне Невы переулок, перпендикулярный к Таврической улице, по которой следовала траурная процессия. Мы с Лелькой стояли на подоконнике и, открыв форточку, всматривались в морозную даль. Мы думали, что, когда процессия будет пересекать этот переулок, нам что-нибудь удастся увидеть из окна.

Мы ничего не увидели, но в этот миг как раз завыли, застонали, заревели сотни сирен и гудков на Неве и заводах. Это была жуткая, трагическая симфония, плач вслух… Плач миллионного города, плач многострадальной страны.

Мы стояли и слушали, оцепенев, едва дыша. Тогда мы еще не знали, что это не только плач о безвременно и ни за что погибшем человеке, но и рыдание о тысячах и тысячах ни в чем не повинных людей, которым уже так скоро суждено было погибнуть из-за этого события…

…Тут мне хочется остановить «машину времени» на 1924 годе, когда я впервые познакомилась с семьей моего мужа Мака, и немного рассказать о ней и о других наших родственниках, с которыми я прожила несколько счастливых лет и подружилась с моей сверстницей Ольгой Селенковой, которую все называли Лелей.

Семья была большая (восемь детей), веселая, шумливая, порой «ругливая», но в общем очень дружная и хорошая. Когда я в нее вошла, младшим было лет по 10–12. Старшим был мой муж Макаша. В семье Селенковых всегда гостили какие-то деревенские родственники, а по соседству, в том же доме, жил дядя Вася с женой и сыном, которые, конечно, дневали и ночевали у нас.

Я привезла с собой маму. Старшие девочки обзавелись мужьями, а вскоре и детьми, и по воскресеньям, когда вся семья собиралась в «зале» на традиционный «чай с пирожками», за стол садилось не менее 20 человек.

Не знаю, когда мама, та мама — Селенкова, вставала в ночь под воскресенье? Может быть, и вовсе не ложилась, но утром на столе неизменно появлялись подносы с горами пышных, румяных пирожков на все вкусы: с морковкой, капустой, рисом, мясом, рыбой и жареным луком.

Никто не помогал маме их делать — кухня была ее

суверенным владением, и никому не разрешалось туда соваться. Да у всех и своих дел было по горло. У кого — работа, у кого — учеба, у кого — и то и другое.

Удивительным человеком была эта простая неграмотная крестьянка из нижегородских лесов! Так и умерла неграмотной. У нее всегда хватало любви и простых, но всегда ласковых и ободряющих слов на всю эту беспокойную ораву. За все те годы, что мы прожили рядом, я не слышала от нее не только какого-нибудь резкого слова, но даже повышенного, раздраженного тона.

Философия ее была простой и ясной: дети растут в иное время, в иной обстановке и им виднее, что к чему и как надо жить. Мое же дело — чтобы все были сыты, умыты, обшиты, обстираны. Впрочем, уже в мою бытность в этой семье от стирки мы маму освобождали. Стирали на всю ораву двое: я и Лелька. С утра занимали прачечную, помещавшуюся в подвале. Мы же жили на пятом этаже и перетаскивали оттуда вниз узлы с бельем. Во время этих стирок и началась наша с Лелькой дружба. Мы без конца говорили обо всем на свете, делились впечатлениями об увиденном и услышанном, радовались общим взглядам на многие вещи.

К вечеру отстиранное, выполосканное и отжатое белье складывалось в огромные корзины с двумя ручками, и наши мужчины — папа, Мак и его брат Саша спускались в прачечную, чтобы тащить корзины на чердак. Такая «генеральная» стирка происходила два раза в месяц…

Мама моего мужа попала в Ленинград, тогда еще дореволюционный Петербург, из глухой деревеньки Селенково Ветлужского уезда Нижегородской губернии, где все жители были, вероятно, в каком-то родстве и носили фамилию Селенковы.

Когда ее мужа Павла, отца всех будущих детей, забрали в солдаты, он благодаря своему гигантскому росту и богатырскому сложению угодил в Питерский гренадерский полк. В деревне осталась беременная молодуха. Вскоре родился мальчик Макарий, которого так назвали в церкви, к великому огорчению матери. Она хотела назвать первенца Ванечкой, но делать было нечего. Мальчик родился под Макарьев день. Поп, крестивший его, справился в святцах, а возивший младенца на крестины кум и вовсе позабыл, что мать наказывала назвать новорожденного Иваном.

…Не помню подробностей, но гренадер почему-то вернулся из полка всего лет через десять — то ли раньше времени, то ли срок службы тогда уже сократили, но, так как питерская жизнь ему приглянулась, Павел забрал жену и мальчонку и

окончательно расстался с родной деревней, обосновавшись в городе. Был он хорошим столяром-краснодеревщиком и вполне мог надеяться на свои руки.

Каждый год в семье прибавлялось по ребенку. Некоторые умирали, но большинство выживало. Ко времени революции было их уже восемь — трое мальчиков и пять девочек. Отец не только столярничал. Он был грамотный, читал газеты, жития святых и Библию. Читал и вникал. В конце концов решил, что и в Библии, и в житиях святых правды мало, а неправды кругом хоть отбавляй. В 1916-м он записался в социал-демократическую партию и стал убежденным революционером.

Дети росли разными. Муж мой был старше других и еще до революции окончил реальное училище. Учить детей было заветной мечтой отца. Но потом у Мака произошел с ним разлад. Выучивши сына в реальном, отец полагал, что теперь ученый сын начнет работать и разделит с ним заботы о многочисленном семействе, где ребятишек было мал мала меньше. А Мак вдруг захотел еще учиться. Реального училища ему показалось мало.

Мастерская столяра и квартира многочисленного семейства находились в гавани, у самой Маркизовой лужи, как тогда называли прибрежные воды Финского залива. Целыми днями летом мальчишки гоняли по пескам и плескались в «Луже». Строили нехитрые корабли из деревянных бадеек. И там, на побережье, впервые увидел маленький Макаша человека, пленившего его сердце. Незнакомец сидел на складном стульчике и рисовал разноцветными красками какую-то картину. Мак тихонько подобрался сзади и, затаив дыхание, смотрел на живописца. Тот тыкал в холст то одной, то другой кистью, и перед зачарованным мальчиком вырисовывались нежно-перламутровое море, очертания далекого берега в дымке и синее небо с розоватыми облаками.

Это решило участь старшего сына Селенкова. Художника звали Н. И. Хижинский. Он заметил мальчика, часами наблюдавшего за его работой. Подарил ему карандаш. Познакомились, подружились. У мальчика оказались способности, и Хижинский начал его учить.

Ко времени революции Мак окончил Петербургское художественное училище. Учился он днем, а ночью работал в Адмиралтействе писцом, чтобы приносить домой 25 рублей в месяц. Один отец на всю семью заработать уже был не в силах. После окончания училища Мак поступил в Академию художеств, в студию профессора Эберлинга. Только революция на несколько лет прервала обучение. Вновь он поступил в академию уже в 1924-м, приехав из Москвы, где работал над оформлением

Первой всесоюзной сельскохозяйственной выставки, уже со мной…

Из остальных детей кое-кто уже учился — вышли химики и физики, кое-кто не пошел дальше машинистки, кто-то лишь окончил ФЗУ. За все годы, проведенные в этой семье, ни разу не пришлось мне с кем-нибудь поссориться, не помню ни одной мало-мальски серьезной неприятности, да и несерьезной тоже. Дружнее же всех были мы с Лелей, на год или полгода моложе меня, той самой, с которой мы заведовали «генеральной стиркой». В то время, когда меня арестовали, она была на втором или на третьем курсе Химического института…

И вот зима 1934 года. В то время мы уже два года жили в Москве, и мои отношения с Маком сильно осложнились. Мы все еще продолжали любить друг друга, но нам уже трудно было оставаться вместе, и мы оба искали предлога, чтобы побыть наедине с собой и попытаться хорошо во всем разобраться.

К тому времени у меня за плечами уже были Литературный институт и несколько изданных книжек. Я тогда работала над путеводителем по Беломорско-Балтийскому каналу, где проработала один сезон, и собиралась вновь поехать туда экскурсоводом. Так как экскурсии с будущего лета должны были начинаться прямо из Ленинграда, то я и поехала туда, чтобы собрать необходимый материал.

Конечно, как всегда, я остановилась у Селенковых, с которыми поддерживала самые сердечные отношения. В ту поездку я прожила в Ленинграде всего около двух недель. Но в эти недели в Смольном прозвучал судьбоносный выстрел, унесший впоследствии так много жизней… Был убит Киров. Весть об этом всех ошеломила. Киров пользовался глубоким уважением ленинградцев. Так же, как и отец Мака, рабочие и мастеровой люд называли его «наш Мироныч» и были совершенно подавленны случившимся.

Такие, как я, — люди, далекие от политики, — тоже были ошеломлены. «Террор» казался каким-то анахронизмом, отдававшим Французской революцией и несовместимым с современностью. Террор в наши дни? Это казалось дикой чушью и никак не сообразовывалось с тем временем. Разгула «расправы с террористами» еще никто не предвидел, и во что выльется это, как в последствии оказалось, хорошо спланированное убийство, никто не мог и предполагать.

Во что вылились для меня эти «террористические» разговоры в семье моего мужа, я узнала только потом, на заседании военного трибунала. Пока же следующим козырным вопросом следовательницы был такой:

— Скажите, Федорова, а с вашим двоюродным братом Юрием Соловьевым вы не вели террористических разговоров?

— Я?.. С Юркой?

Слишком неподдельное изумление, написанное на моей физиономии, заставило Марию Аркадьевну подробно изложить содержание «террористического» разговора, произошедшего между мной и моим двоюродным братом Юрой Соловьевым.

— Вы никогда не говорили о том, что Николаев мог быть «наемным убийцей»? Не обсуждали вопроса, за сколько он мог убить товарища Кирова? А вы, Федорова, и ваш брат, — за сколько бы вы взялись совершить террористический акт над товарищем Сталиным? — Тут она понизила голос чуть не до шепота: даже на следствии произнести такие слова — кощунство! И так как я ошалело молчала, продолжила: — Я вам напомню: вы сказали, что готовы убить товарища Сталина за 100 тысяч рублей!

— Я?.. Сталина?.. Убить? Да я даже цыпленка не могу зарезать! Ни за 100, ни за 300 тысяч!..

— Федорова, — истерически взвизгнула следовательница, — я стенографистку вызову! Вы думаете о том, что говорите?

Ах, конечно, я не думаю! Мысли у меня в голове кружатся и несутся в разные стороны. Действительно, она — про Сталина, а я — про цыпленка! Конечно, не к месту. Но сейчас не в этом дело. Боже мой, 100 тысяч! Да, я действительно что-то говорила про 100 тысяч! Но когда? И при чем тут Сталин?

— Боже мой, да ведь это была шутка! Я не помню всего разговора и в связи с чем упоминала про эти 100 тысяч. Как-то не так было сказано… И во всяком случае это была только шутка!

— Ах, вы опять не помните? Вы шутили такими вещами?! Отлично! Ступайте в камеру и припомните ваши разговоры с Юрием Соловьевым. — Следовательница нажала на кнопку, но тут же сделала знак рукой, чтобы закрыли дверь: еще рано, она поспешила.

— Впрочем, еще один вопрос: как и когда вы с Соловьевым намеревались убить старушку Анну Ильиничну, проживающую на Арбате, в Большом Афанасьевском переулке?

В глазах у меня потемнело. Анну Ильиничну? Последние обрывки мыслей выскочили из головы — там стало пусто и темно, как в комнате без окон и дверей. Я поняла, что объяснять что-либо бесполезно, да и сил больше не было. Я молчала…

— В камеру!

Я, как во сне, повернулась и вышла. Когда в книгах пишут: «Она шла, шатаясь, ничего не видя перед собой» или «Она почувствовала, что стоит на краю пропасти», это воспринимается как литературный штамп, пустое «украшательство». На самом же

деле бывает именно так, только очень редко, при обстоятельствах исключительных, и это, должно быть, самые страшные минуты в жизни.

Со мной это было в первый раз. Я шла по коридорам Лубянки, ничего не видя и не сознавая, но отлично помню теперь, что именно там, в этих коридорах, в сознание вползла дикая и ужасная мысль: все кончено. Я попала не в руки людей, а в какую-то машину — неодушевленную, лишенную разума и чувств, хорошо отлаженную, запущенную раз и навсегда, похожую на гигантскую мясорубку…

В ее жерло падают люди. Бесчувственная машина не спеша, равномерно крутится. Человеческие тела втягиваются в нее все глубже и глубже, потом завиваются вокруг вала, кости начинают трещать, мясо спрессовывается и выжимается. Сквозь решетку мясорубки выползает кровавое месиво…

Именно так мне представилось все, что происходило на Лубянке. И мне стало понятно, что я — всего-навсего одна из тех, кто составляет человеческую массу, поглощаемую машиной. Путь только один — вперед, к валам и ножам. В обратную сторону машина не крутится. Для меня все кончено…

Впоследствии ко мне не раз возвращался образ механической бездушной мясорубки. Но в тот раз, когда он ВПЕРВЫЕ пришел мне в голову, это потрясло меня больше и глубже, чем когда бы то ни было, ибо в тот момент я поняла — еще далеко не умом и сознанием, а только чувствами — весь ужас происходящего со мной, со страной…

В камере я немного пришла в себя. Видение равнодушной и безучастной машины пропало. Мысли лихорадочно заработали. Вернулась жажда бороться, доказывать, убеждать. Но как?.. Как убедить следовательницу, что мы с Юркой, несмотря на всякую чушь, которую болтали, обычные, нормальные люди? Просто люди. Что мы никому не хотели зла, что мы никому не делали вреда. Что мы — обыкновенные честные люди?

Мысли возвратились к последнему допросу, и мне вдруг смутно вспомнился разговор, действительно имевший место. Но как же теперь объяснить, что это лишь болтовня, не имеющая никакого отношения ни к террору, ни вообще к политике?!

…Это было не вскоре после убийства Кирова, а когда уже шок и трагизм произошедшего остались позади. Разговор, который помнился весьма смутно, был примерно таков:

Я: Все-таки удивительно, что же за человек был Николаев? Маньяк? Личный враг? Говорят, тут замешана женщина… Или, наконец, может быть, действительно была какая-то террористическая организация, и Николаев — наемный убийца?

Но как же он мог пойти на такое дело, зная заранее, что продает свою собственную жизнь? Ведь не мог же он надеяться, что сам останется в живых?

Юра: Ну а может, он вообще собирался покончить с собой? Почему бы и не продать свою жизнь в таком случае? Все равно ведь умирать!

Я: Ну ты всегда вздор мелешь! Как это — «продать» свою жизнь?

Юра(сохраняя внешнюю серьезность, но уже с лукавой подначкой, как обычно): Очень просто! Я бы свою жизнь продал. Тысяч за десять. Все равно жить надоело! Ну и, зная твое бедственное положение и стесненные материальные условия, а также питая к тебе нежные братские чувства, я продаю свою жизнь, скажем, за десять тысяч, предварительно все оформив честь по чести, получив деньги и вручив их по назначению, то есть тебе. Ты в смятении, ахаешь и охаешь, но все же таешь от восторга — десять тысяч, шутка ли! Ну как?

Я, понимая, что все это говорится ради хохмы, отвечала ему в его же духе:

— Ну и дурак! Уж если продавать, я бы меньше чем в 100 тысяч свою жизнь не оценила!

Вот так или примерно так мы с Юрой болтали у нас на Скаковой в присутствии мамы. Сколько всякого вздора было при этом сказано, конечно, не запомнилось… Но прежде, чем вернуться к рассказу о следствии, я должна рассказать о Юре и наших совместных приключениях, если так можно назвать наши затеи, выдумки и шутки. Только в этом свете станет понятно, как и почему мы могли нести ту чушь, которая теперь оказалась для нас смертельно опасной.

Я вновь возвращаюсь в далекое прошлое, чтобы рассказать об истоках моей дружбы с двоюродным братом Юркой Соловьевым, начавшейся еще в детстве и продолжавшейся в течение всей нашей жизни. Был он человеком талантливым и замечательным во многих отношениях. Обладал живым умом, безудержным воображением, энциклопедической памятью и славился легким и общительным характером. Юра блестяще играл в шахматы, знал наизусть массу стихов, главным образом Блока, Брюсова, Гумилева, Сашу Черного, Есенина. В компаниях всегда был заводилой, сыпал анекдотами как из рога изобилия и никогда не унывал.

Впервые я увидела своего маленького двоюродного братца, когда мы с мамой приехали в Смоленск в 1917 году. Он был на шесть лет моложе меня, и потому я не очень обращала на него внимание. Вскоре я подружилась с Беби Щербатовой, и Юрка был

забыт до самого нашего отъезда в деревню в конце 1919-го, когда в Смоленске стало совсем плохо с продуктами. Рос он отчаянным мальчишкой, тоже «уличным», как и большинство ребят того времени. Даже удивительно, откуда потом появились у него такие тонкие душевные переживания, нежная привязанность к близким, заботливость и внимание, необыкновенная любовь к природе, понимание ее красоты и тонкое восприятие литературы и театра…

Но все это появилось много позже, когда Юра стал взрослым и медленно, трагически погибал от туберкулеза. Когда же он бегал босоногим мальчишкой по улицам Смоленска, то дня не проходило без того, чтобы тетю Юлю — его мать — не осаждали жалобами со всех сторон: то Юрка камнем выбил чье-то окно; то раскровенил нос соседскому мальчишке; то забил деревяшку в водопроводный кран, и теперь к нему нельзя было подойти, так как вас при этом окатывал холодный душ; то протянул где-то веревку, зацепившись за которую падали прохожие…

Иногда тетю Юлю приглашали полюбоваться, как ее драгоценный сын прыгает по зубцам Веселухи — старинной башни Смоленского кремля, на высоте пятиэтажного дома, и тетя Юля, хватаясь за сердце одной рукой, беспомощно махала в воздухе другой… На Юрку сердились, его бранили, наказывали, а иногда, когда в «воспитание» сына вмешивался отец, доставалось ему и ремнем. Заслуженное наказание он сносил безропотно, как вполне законное, добродушно-весело над собой посмеиваясь.

Чувством юмора Юра был наделен с самого детства. Искренне обещал своей «мамусе», которую очень любил, что никогда больше не будет, а на следующий день вытворял то же самое или еще что-нибудь почище. Боялся он только почему-то мою маму, хотя от нее-то как раз ему никогда и не попадало. Очевидно, такую власть имел мамин «ледяной» голос, каким она умела говорить с провинившимся. Мама была неуклонно и педантично требовательна, как строгая, но справедливая учительница, и перед этой педантичностью пасовал даже Юрка.

Вскоре после того, как мы уехали в Боровую, тетя Юля решила отправить сына маме «на исправление». Думаю, что на самом деле она просто хотела, чтобы он немного подкормился в деревне. Юрка прожил у нас месяца три или четыре, и тут-то у нас и завязалась настоящая дружба. Он подрос, начал читать и живо интересоваться природой, от которой был вдалеке, живя в Смоленске. Конечно, Юрка и здесь продолжал совершать свои «чудеса храбрости» — переплывал Днепр туда и обратно без передышки, скакал с деревенскими ребятами на неоседланных лошадях, прыгал с крыши сеновала на землю, рискуя сломать

себе ноги.

А однажды в ночь на Ивана Купалу отправился один на деревенское кладбище в поисках зацветающего в эту волшебную ночь чудо-папоротника, якобы приносящего счастье на всю жизнь тому, кто им владеет. Папоротник он не нашел, но сердце мое завоевал окончательно, так как цветок предназначался мне. В то время мы вполне серьезно обсуждали, не пожениться ли нам, когда вырастем? О том, что между двоюродными братьями и сестрами бывают браки, мы уже слышали.

В старом библиотечном шкафу деревенской школы, набитом пыльными связками «Нивы» и приложений к «Русскому слову», хранился и Шеллер-Михайлов, которого я начала почитывать. Мы довольно подробно обсуждали нашу совместную жизнь и даже рисовали план дома, в котором будем жить, причем каждый из нас должен был иметь свою половину, чтобы не мешать друг другу. О более интимных подробностях нашей будущей супружеской жизни у нас были понятия весьма смутные, и не помню, чтобы мы останавливались на их обсуждении. Но имена будущим детям придумывали заранее и решали, кем они будут.

Примерно в этот период началось наше первое творчество и дружное соавторство. Мы стали сочинять небольшие пьески и тут же ставили их с деревенскими ребятишками. Мама очень поощряла эту деятельность и подыгрывала нам на рояле музыку к песням и танцам для наших пьесок. Рояль удалось вывезти из городской школы, когда ее заняли под штаб военного округа. Он дожил в Боровой деревенской школе до оккупации… Немцы пустили его на дрова.

Помню две из наших пьесок: «Лесную царевну», в которой пелась песенка на мотив арии Жермена из «Травиаты»: «…Ты царевна, ты лесная…» и т. д., и «Царевну-лягушку». Я исполняла роль обеих царевен. Пытались мы инсценировать и «Трех толстяков», которыми очень увлекались, но постановка оказалась нам не под силу…

Когда мне исполнилось 18, я уехала учиться в Москву, а Юрка остался в Смоленске еще мальчишкой-школьником. Это была длительная разлука. Мы встретились снова, когда я была уже замужем, а Юрка окончил школу. Он приехал к нам в Ленинград и прожил у нас целую зиму, собираясь поступать в вуз, но в конце концов никуда не поступил и уехал на какую-то стройку. Это была «эпоха новостроек», и вся молодежь ехала куда-нибудь что-нибудь строить.

Хотя в Ленинграде мы были уже вроде бы вполне взрослыми людьми, в чем особенно упорно, но довольно безнадежно старалась убедить нас мама, стоило нам собраться вместе, как мы

начинали во что-нибудь играть, тут же входя в азарт, шумно спорить, возиться и, по маминому выражению, «сходить с ума».

Мы устраивали матчи в пинг-понг, тогда только еще входивший в моду, и гоняли шарики не только по столу, но и по всей комнате, используя книги вместо ракеток. Бегали друг за другом, перепрыгивая через столики с чертежными досками, заполнявшими всю нашу огромную комнату (ведь муж был будущим архитектором), устраивали подушечные бои. Нередко наше буйное веселье кончалось разбитой лампочкой или опрокинутой вазой или чашкой.

Еще любили мы играть в шарады и во всякие литературные игры — разгадывать кроссворды, называть великих людей на какую-нибудь букву алфавита, вести рассказы, продолжение которых придумывали все по очереди, отгадывать задуманные предметы или события. У нас была комната в 40 квадратных метров — самая большая во всей квартире отца моего мужа. В остальных трех обитали отец, мать и семь детей разного возраста. Поэтому у нас всегда было достаточно молодежи, «собственной» и «пришлой», в основном друзей моего мужа по Академии художеств, где он учился.

Но, сколько бы ни собиралось народу, Юрка всегда оставался заводилой и душой общества. Он отличался остроумием и фантастическими выдумками, сыпал анекдотами и разыгрывал нас с невозмутимой серьезностью. Легко рифмовал любую блажь и каждого наделял острой эпиграммой, не щадя и самого себя:

…Сие пишу я в назиданье
Себе, погибшее созданье,
Дабы одумался и стал
Невинности на пьедестал.

Так, например, заканчивалась ода, посвященная им самому себе. Любил Юрка и настоящую поэзию. Из современной — особенно Есенина, которого читал очень выразительно и проникновенно, но сам «серьезных» стихов не писал. Был он страшно увлекающимся, влюблялся чуть не еженедельно «на всю жизнь», а приходя в азарт, совершенно терял голову.

Картами мы никогда не увлекались, не помню даже, чтобы когда-нибудь играли. Но вот что однажды чуть не привело Юрку к настоящей катастрофе. Это было время, когда еще махрово цвел нэп, хотя лепестки его уже начинали блекнуть, и слова «режим экономии» впервые прозвучали в советском лексиконе. Но в Ленинграде оставалось много клубов, где официально играли в лото на деньги, а один из них, «Владимирский», все еще держал

казино с рулеткой. Правда, ставки были ограничены десятью рублями, но даже с такими ставками можно было за один вечер спустить порядочную сумму. Первый раз Юрка уговорил меня пойти во «Владимирский», чтобы «познать жизнь во всех ее проявлениях», увидеть собственными глазами, что такое настоящий «азарт», обогатить себя впечатлениями, которых потом и не испытаешь, — поговаривали, что рулетку скоро прикроют. В то время мы все упивались Стефаном Цвейгом и думали: как знать, не увидим ли мы там живого героя «Двадцати четырех часов из жизни женщины»?!

Одним словом, мы отправились. Мак с нами не пошел — он относился к этому скептически и ему было жаль тратить вечер на сомнительное удовольствие. Муж был на десять лет старше меня и не очень склонен сопутствовать нам с Юркой в поисках многообразия «красок» жизни, и поэтому нам пришлось отправиться вдвоем. Сначала мы действительно только наблюдали «нравы казино». И хотя, конечно, здесь не проигрывались состояния, как в Монте-Карло, не ставились на карту честь и жизнь и при нас никто не пустил себе пулю в лоб, но по существу азарт оставался азартом, вне зависимости от количественных ценностей, с которыми он был связан.

И мы действительно увидели возбужденных людей с бледными, искаженными лицами, с катящимися по их лбам каплями пота, с вытаращенными и расширенными от ужаса глазами, с отвратительно трясущимися руками… Тут же, в зале, в котором помещалась рулетка, а также в соседних комнатах, где шла игра в «железку», проигравшиеся продавали бумажники, авторучки, кепки, шляпы и даже пиджаки. Все это можно было приобрести за бесценок, игроки отдавали вещи почти даром, лишь бы у них появились хоть какие-то деньги, чтобы бросить их на зеленое сукно.

Были тут пожилые и молодые, мужчины и женщины, одетые прилично и чуть ли не в лохмотья, засаленные и дурно пахнущие. Духота стояла невообразимая, запах перегара и пота ударял в нос. В первую минуту, когда мы вошли, меня чуть не вырвало, и Юрка едва удержал меня, чтобы я не сбежала. Но это было только в первые минуты. Любопытство взяло верх, а потом уже и духота, и запах спиртного просто перестали ощущаться. Мы смотрели как завороженные. Вокруг стола с рулеткой сидели, а за ними плотной стеной стояли люди. Тесно сгрудившаяся толпа молчала. Все затаили дыхание и слушали, как жужжит маленький шарик, бешено вращаясь внутри раскрашенной в красное и черное чаши с лунками, которая тоже крутилась в направлении, противоположном шарику. И только когда чаша почти

остановилась и шарик с сухим щелчком упал в какую-то лунку, толпа выдохнула в едином порыве что-то похожее на «хаа!»… Потом все сразу начали говорить и о чем-то спорить, обсуждая, на какую цифру ставить.

Крупье что-то сказал, произошло какое-то движение, кто-то бросил на стол мелочь, прошелестели бумажные рубли, блеснули жестяные жетоны, и снова все замерло.

— Ставки сделаны, — негромко и очень учтиво сказал крупье. Снова зажужжал в рулетке шарик.

Два дня мы с Юркой ходили наблюдать за «их нравами». Возвращались возбужденные и с упоением рассказывали об увиденных «типах», о разыгравшихся на глазах пусть мелких, но все же трагедиях в духе Стефана Цвейга. Напрасно мы уговаривали Мака пойти хоть раз с нами. Он отказался наотрез.

На третий день мы больше присматривались к самой рулетке, вникали в игру и ее правила. Быстро постигли нехитрые премудрости красного и черного, чета и нечета. Старались подметить закономерности удачи. Казалось, «предсказать» красное или черное не так-то уж сложно.

Наконец ради интереса решили сыграть. Поставили на красное после того, как пять раз подряд выпало черное, и… выиграли! Тогда с нами случилось то же самое, что и со всеми. Никакие «типы» с хриплым дыханием и отсутствующими, блуждающими взглядами нас больше не интересовали. Они просто исчезли из нашего поля зрения. Осталось одно — маленький, черненький, мечущийся в своей чаше шарик. К нему из самого сердца протянулись стальные нити-нервы и натянулись, как струны. Казалось, вся ВОЛЯ собрана в этих стальных нитях. Он твой, этот шарик, ты приказываешь ему: «Стоп!» Нет, мимо!.. «Ну, давай же… Еще немного, еще одно усилие воли»… «Ну, СТОП же!» Но шарик не слушается.

Как и все, мы скоро изобрели свою «теорию». Это была игра на цифру пять. Что бы ни выпадало — чет, нечет, красное, черное, любые цифры и все, что поставили на них игроки, — казино забирало себе все ставки. Кроме тех, что были на цифре пять. Те, кто поставил на пятерку, все равно получали свой десятикратный выигрыш.

— Рулетка — дело выгодное, — рассуждали мы, — иначе ее никто бы не держал. За счет чего же казино получает прибыль? Ведь если каждый раз, при каждом «забеге» шарика кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, то по теории вероятности получается приблизительный баланс. Казино от этого ни тепло ни холодно. Зато цифра пять — его постоянная и беспроигрышная ставка. Казино не ставит ни на какие другие цифры, ни на

красное, ни на черное, как бы давно они ни выпадали. Всегда только цифра пять!

Уподобимся же казино, решили мы. Будем играть так, как играет оно. Спокойно и бесстрастно. Ставя ВСЕГДА на одну и ту же цифру, ну, скажем, на ту же пятерку! Правда, мы ограничены размером нашего весьма скромного «оборотного» капитала: ведь, в отличие от казино, мы же все-таки рискуем, если проклятая цифра не выпадет подряд больше 10–15 раз. Но ведь это случается относительно редко, и такую возможность можно в расчет не принимать.

Мы начали играть на цифру пять. Когда в первый вечер мы выиграли значительную для нас сумму — что-то около ста рублей, то почувствовали себя алхимиками, в чьих тиглях плавилось чистейшее золото! Мы открыли «систему»!

Как бесноватые ворвались мы домой, перепугали всех своих. Смотрели на них, как на сумасшедших, когда они начали смеяться над нами и хохотать. А они, эти ненормальные, слепые люди еще пророчили, что мы спустим в казино «последние штаны»! Мама перестала с нами разговаривать, но на сей раз и это нам было нипочем — мы с Юрой закусили удила и на всех парах неслись к вершинам «несметного богатства», о котором, кстати говоря, всерьез вовсе и не помышляли, но были готовы «вконец» разорить Владимирский клуб!

На наше счастье, рулетку действительно недели через две закрыли. Иначе в ход пошли бы, пожалуй, не только «последние штаны», но и что-нибудь иное. Во всяком случае, в доме не осталось ни одного человека, которому Юрка не задолжал бы разных сумм, от нескольких копеек до рубля — наиболее мягкотелым и легковерным! Все учебники, по которым он готовился в вуз, были «загнаны», а штаны только потому еще держались на нем, что действительно были последние и единственные.

Несмотря ни на что, Юрка оставался твердо убежденным в непогрешимости нашей «теории», считая, что все дело в нервах. У нас они не были достаточно «стальными». Мы не успели их натренировать. Мы срывались. Следили за другими комбинациями и не могли удержаться, чтобы не принять в них участия. Когда 29 раз подряд выпадало черное, мы не могли удержаться, чтобы не поставить на красное. Ставили и… проигрывали! И так за полчаса спускали все, что нам приносила «непогрешимая теория»!..

…Следующая встреча с Юркой, лет через шесть после описанного выше, ознаменовалась его новой «одой» на десятилетие моей супружеской жизни:

…Все испытавши понемногу —
Любовь, надежду и нужду,
Они уж доживают, слава Богу,
Свою десятую весну!..

Мы жили уже в Москве, в маленьком домике на Скаковой, где под бабушкиным крылом подрастали двое наших мальчишек. Я, разочаровавшись в газетной работе (хотя впоследствии и убедилась, что если бы из меня и вышел какой-нибудь толк, то именно как из очеркистки), занялась детской литературой. А Юрка, построив стекольной завод в Вологодской области и автогигант в Горьком, заработал трудовой стаж и приехал продолжать свое неоконченное образование. Он наконец поступил в вуз и учился на первом курсе МИИТа.

Поселился Юра у своей тетушки по отцовской линии, старой бессемейной актрисы. Она испокон веку жила в Большом Афанасьевском на Арбате. Жила со своей подругой, тоже бывшей актрисой, тоже одинокой, но еще более старой и дряхлой. Эта подруга — Анна Ильинична — последние годы уже не вставала с кровати, и за ней преданно и трогательно ухаживала Юрина тетушка. Обе старушки отличались ясным умом, острыми язычками и прекрасной памятью. Их приправленные перцем юмора рассказы о театральной жизни более чем полувековой давности были неподражаемы.

Ютились они в малюсенькой двухкомнатной квартирке в мезонинчике под крышей, а маленькую каморочку отдали Юрке. Жили они в большом согласии и дружбе. Юрка нежно любил обеих старушек, старался им помочь, чем мог, — притащить дров, сбегать в магазин, вынести мусор. Жили они не только дружно, но и весело, много хохотали, потому что тетушка в остроумии не уступала Юрке, да и прикованная к кровати Анна Ильинична тоже умела побалагурить.

И вот про эту самую Анну Ильиничну, которая «заедает век» Марии Петровны (так звали Юрину тетушку), а ему, Юрке, не освобождает вожделенную жилплощадь, он в шутку и сказал: «Ну что стоит старушенцию придушить?» Но ведь надо же знать Юру, чтобы хоть на один миг серьезно заподозрить его в намерении «убить старушку»! На его сентенции можно было рассмеяться (для чего они и произносились) или сказать, как моя мама: «Уж будет чепуху-то молоть, вот язык без костей!»

К счастью, сведения о том, как мы собирались «придушить» Анну Ильиничну, в протокол допроса занесены не были, и к этому вопросу больше не возвращались. Но ведь подумать только! И это

— знали! И уж, наверное, включили в нашу характеристику как прямое указание на то, что мы — «потенциальные преступники».

Юре приходилось много заниматься, чтобы не остаться за бортом, и поэтому слишком часто бывать ему у нас не удавалось. Однако малейшую возможность забежать хоть на часок он не упускал. Врывался Юрка к нам с шумом и гамом, подбрасывал до потолка обожавших его ребят, мимоходом заглядывал под крышки кастрюль на кухне, отправляя в рот все, что можно было туда отправить, одновременно выпуская «1000 слов в минуту», как утверждала моя мама, за полчаса успевал рассказать все институтские новости, живописать невообразимые страдания по поводу последней «вечной» любви и выложить запас свежих анекдотов, которые держались в его памяти как в самой исправной кибернетической машине.

И в самом деле, по быстроте реакции и изумительной памяти он вполне мог потягаться с такой машиной.

Юра был страстным любителем шахмат — игроком первой категории, и когда нам однажды в Крыму случилось попасть в затруднительное финансовое положение, он, недолго думая, дал в нескольких санаториях сеансы одновременной игры на 28, а затем и 30 досках. Из них сделал «ничьи» в пяти или шести партиях и не сдал ни одной.

Еще больший фурор Юра произвел, играя с восемью партнерами вслепую, сидя спиной к соперникам и держа все восемь партий в уме! И здесь он тоже не получил ни одного мата. Мы с ним долго и всесторонне обсуждали вопрос: можно ли быть шахматистом-профессионалом — и только? Шахматы были его любимым занятием, «призванием», как утверждал Юра. Но все же ему казалось, что посвятить жизнь игре (ну что такое шахматы? Игра?.. Спорт?..) или даже спорту — ниже человеческого достоинства, особенно мужского. В то время нам еще многое виделось в идеалистическом свете нового времени и… молодости.

Вот почему, отложив в сторону шахматы, Юра скрепя сердце принимался зубрить сопромат и диамат, хотя душа его неизменно принадлежала шахматам, и только шахматам… Как я уже упоминала, несмотря на учебу, он все же бывал довольно частым гостем у нас на Скаковой. Иногда мы проводили целые вчера втроем — я, Макаша и Юрка. Мы залезали с ногами на наш старый семейный диван и пускались в путешествие по стране Макжеюрии. Название это состояло из начальных слогов наших имен — Мак, Же (ня), Юр (а).

Это была выдуманная нами страна, и мы, макжеюры, были вольны распоряжаться ею как угодно. Каждый населял ее, кем

хотел, — ведь все было во власти нашей фантазии! И каждый благоустраивал ее сообразно собственным вкусам. Мак занимался архитектурным оформлением страны и ведал изящными искусствами, я — литературой и журналистикой, а Юрка брал на себя увеселения и спорт, включая и шахматы, конечно. Географическое местоположение Макжеюрии было нашей тайной, и никто в мире кроме нас не знал о ее существовании — это была наша Шангри-Ла [1]. Зато макжеюры могли инкогнито путешествовать по всему миру! Для них не существовало границ, так как они обладали гипнотическими способностями, позволявшими им становиться невидимыми.

Насчет социального устройства Макжеюрии мы мало задумывались. Достаточно было того, что всем там жилось хорошо и весело. Мы сочинили национальный макжеюрский гимн и придумали очень вкусный национальный макжеюрский напиток. Он состоял из смеси виноградного сока и вишневой наливки, а в пробку бутылки втыкался маленький флажок с золоченым древком. Нежнейший шелк двух цветов — белого и голубого — олицетворял национальный макжеюрский флаг.

Не знаю, откуда взялся у нас этот изящный флажок, но помню его как сейчас!

На табуретку, стоявшую напротив дивана, водружался «макжеюрский» напиток под национальным флагом и тарелка с печеньем. Мы потягивали наш напиток и рассказывали истории из жизни макжеюрского народа… Это были веселые дружные вечера. Вероятно, если бы о нашей Макжеюрии узнало НКВД, то и это было бы поставлено нам в вину как антисоветские «настроения» или еще что-нибудь в таком же роде. К счастью, НКВД об этом так и не узнало.

Я подробно рассказываю о своем двоюродном брате, потому что в моем деле, на папке которого написано «ХРАНИТЬ ВЕЧНО», он, Юрка, сыграл ключевую роль, а сам в конечном итоге расплатился за это жизнью. Конечно, мы не были «положительными героями». Мы были самыми обыкновенными людьми, наделенными некоторыми способностями, но в еще большей мере — слабостями: леностью и беззаботностью. Мы не давали себе труда интересоваться политикой и глубже вникать в то, что происходит в стране.

Правда, ко времени ареста и я, и Юра уже много поездили по стране и многое повидали. Глаза и уши у нас не были закрыты. Я довольно близко видела «коллективизацию» и первые ее «плоды». Я ушла из газеты, потому что мне претила газетная скрижаль: «Надо писать не о том, что происходит в действительности, а о том, что требуется советской пропаганде. Газета должна вести за

собой и агитировать!» (то есть попросту врать).

Я поссорилась с «Артеком», пытаясь протестовать против насаждения ущербной советской морали в детские неискушенные души. Юрка вообще протестовал и возмущался только в своем кругу, да и то только как бы шутя, невсерьез. Но зато он легкомысленно сыпал сомнительными анекдотами «из-под полы», за которые в 37-м люди получали и по десять лет.

И все же ни я, ни Юрка не считали себя антисоветскими людьми, хотя НКВД доказало это нам так же легко, как дважды два — четыре.

Когда Юрка пересказывал анекдоты, ходившие в студенческой среде, ни ему, ни мне не приходило в голову, что мы совершаем преступление против советской власти. Пришло это в голову моей маме, когда она, как оказалось, дальновидно ворчала на нас:

— Вот вы доболтаетесь в конце концов!.. Доболтаетесь!..

И мы «доболтались»…

Сколько раз потом в бессонные ночи и нескончаемые дни я старалась припомнить обстоятельства этого разговора, мельчайшие детали, оттенки, фразы, по всей вероятности никогда и не произнесенные, что в конце концов у меня сложилась какая-то версия, казавшаяся наиболее правдоподобной. Хотя на самом деле все мы, участники драмы (так как болтовня эта обернулась для нас драмой), реально, в подробностях припомнить тот разговор никогда бы не смогли, настолько незначителен и пустячен он был.

Но он действительно был. И роковые слова «100 тысяч» действительно были мною произнесены. И об этом лучше всех помнила моя мама. Разговор, а сказать точнее, болтовня эта произошла между мной и Юркой. И слышал эту болтовню один-единственный человек, при этом присутствовавший, — моя мама. Больше не было никого, в этом я уверена. Что же это значит? Где мама? Что с ней?

Меня снова вызывают на допрос.

— Ну так как, Федорова? Вы подпишете протокол?

— Нет, в такой редакции я подписать не могу.

В протоколе допроса стояло: «Я сказала, что за 100 тысяч рублей согласна совершить террористический акт над товарищем Сталиным». Я понимала: если подпишу протокол, то тем самым подпишу себе и смертный приговор.

— Я могу подписать только, что в шутку оценила свою жизнь в 100 тысяч рублей.

— Ах в шутку! — Звонок: — В камеру!

Через неделю:

— Ну как, подпишете?

— Я уже сказала, что это была шутка по поводу оценки своей жизни, а не террористический разговор.

— В камеру!

Теперь меня вызывают на допрос по два раза в день — утром и вечером.

— Федорова, вы считаете себя вполне советским человеком?

Я затрудняюсь с ответом и отвечаю уклончиво:

— Во всяком случае, я не делала никакого вреда советской власти. Я не была противником советского государства.

— Ах вот как, не были? А вот что говорит о вас ваш двоюродный брат Юрий Соловьев — ваш лучший друг.

Следовательница берет исписанный бланк протокола и читает: «Федорова Евгения Николаевна… морально разложившийся и глубоко антисоветский человек».

Я не верю своим ушам.

Должно быть, желая добить меня, следовательница, прикрыв ладонью текст, тычет мне под нос Юрину подпись:

— Это его подпись?

— Да, конечно, его.

Господи, значит, и Юрку уже допрашивают! Мне и в голову не приходит, что он уже давно арестован и что ему тоже показывают протоколы с моими подписями, где я сознаюсь в «террористических» разговорах.

На следующий день снова:

— Соберитесь на допрос.

Теперь я уже не радуюсь. Я только боюсь. Но в этот раз мы идем очень далеко, что необычно. Поднимаемся по лестнице, потом следуем какими-то бесконечными коридорами, опять спускаемся. Куда меня ведут? Наконец приходим. Сначала я попадаю в огромную темноватую комнату с мягким ковром под ногами, с одним-единственным столом у двери, обитой темной кожей с золотыми бляшками. Комната отделана прекрасными резными деревянными панелями. Я соображаю: значит, ведут к начальству. Ну и хорошо, вот тут-то я и расскажу, как бессовестно искажает смысл того, что я говорю, моя следовательница. Как она заставляет меня расписываться в том, чего я вовсе не говорила.

Из-за стола поднимается женщина и скрывается за кожаной дверью. Она тут же появляется снова и велит мне войти. Я вхожу, и дверь за мной бесшумно закрывается. Я попадаю в ярко освещенный огромный кабинет. Где-то вдали стоит большой письменный стол, а к нему «глаголем» примыкает другой, тоже огромный (тут все огромное), покрытый красным сукном. Вдоль его длинных сторон аккуратными рядами стоят черные

деревянные стулья с высокими резными спинками. На стульях никто не сидит, зато за ними вдоль стен стоят неподвижной линией люди в черных пиджаках, при галстуках под белоснежными воротничками. Впрочем, есть и военные. Но все они, штатские и военные, стоят, как на параде, навытяжку, руки по швам.

В глазах у меня рябит, но все же я замечаю среди них и мою Марию Аркадьевну, тоже навытяжку, с прямой спиной, тоже замершую в почтении, с глазами, устремленными, как и у всех, на того — за столом, на главного. Он один сидит, едва возвышаясь над столом, а за ним высоко вверх возносится деревянная резная спинка черного кресла. Его лысая голова кругла, как шар. Раньше, чем я успеваю открыть рот, он хватает кулаком по столу, так что я невольно вздрагиваю (наверное, все они — весь синклит следователей и подчиненных — тоже вздрагивают), и начинает кричать, брызжа слюной.

— Раньше, чем вас арестовать, мы знали, что вы виновны! — орет он. — Что вы тут чушь порете! Шутки! За шутки мы не сажаем, черт вас побери! Шутки! Да вы понимаете, где вы находитесь?! Мы покажем вам шутки! Мы в бараний рог вас согнем! Мы покончим с этой гидрой! Речь идет о том, оставить ли вам жизнь — вам и вашим сообщникам, дерьму собачьему! А вы — шуточки! Осиное гнездо! Вздернуть всех на одной веревке! Нахохочетесь!

Он кричит, наверное, уже минут десять. Останавливается только, чтобы перевести дух и отхлебнуть глоток воды из стакана. И все продолжают стоять, как в столбняке. Не знаю, сколько бы времени это еще продолжалось, если бы на столе не зазвонил телефон. Главный берет трубку, и вдруг его облик преображается. Он как будто подрастает, почтительнейше изгибается в сторону телефонной трубки, лицо разглаживается, даже начинает вроде как бы светиться.

— Есть! Так точно! Когда прикажете? Есть, иду!

Опустив трубку, он с не сошедшим с лица благоговением обводит подчиненных отсутствующим взглядом и с глубоким сознанием собственного достоинства (скорее, собственной ценности) объявляет: «Хозяин зовет!» (Значит, и над ним есть «хозяин»)! Потом капает из пузырька в маленький стаканчик капли (сердечные, вероятно) и тщательно их отсчитывает, шевеля губами. Все застывают в молчании. Обо мне он, наверное, и вовсе забыл.

Нет, вспомнил:

— В камеру! — опять орет он прежним фальцетом. — В камеру! В подвал!

Он поднимается, и все приходит в движение. Часть присутствующих окружают его, как окружают примадонну, когда после спектакля опускается занавес, другие выходят, и с ними выхожу я. На этот раз даже без специального конвоя, а может быть, я его просто не замечаю — я плохо вижу и еще хуже соображаю.

Я иду между моей следовательницей и пожилым, довольно полным следователем, который часто сидит в комнате Марии Аркадьевны и подбрасывает реплики при моих допросах.

— Вы видите, Федорова, что Мария Аркадьевна, — он кивает на нашу спутницу, — не может занести в протокол ваши показания о «шутке» — это просто невозможно. Это оскорбляет органы. Вы же неглупый человек, вы должны это понять! В конце концов, вы только затягиваете дело, мучите себя и нас. И ваших родных.

— Евгения Николаевна, — говорит мне следовательница, опускаясь на какой-то стул и называя меня в первый и последний раз по имени-отчеству, — Евгения Николаевна, вы же видите, что вашу версию я не могу внести в протокол.

Голос тоже совершенно другой — ее словно подменили. Перед лицом «самого» мы, обе, как будто стали провинившимися сообщниками. Я — потому что затягиваю следствие, она — потому что не может самостоятельно добиться его окончания. Вероятно, по графику дело давно должно быть уже закончено.

Голос ее звучит вкрадчиво, дружелюбно и почти просительно:

— Вы же понимаете?

Да, я понимаю. Я понимаю, что сопротивление бесполезно. И уж лучше гибнуть мне, чем тянуть за собой маму и Юрку — моих «сообщников». Видя, что я все еще колеблюсь, Мария Аркадьевна подбрасывает мне последнюю подачку:

— По-вашему, вы сказали в шутку. Но мы не можем это так расценить и записать в протокол как «шутку». Мы запишем в той редакции, в какой понимаем ваше высказывание. На суде вы объясните, как считаете вы, — это ваше право. Да нет, вот даже сейчас я дам вам бумаги сколько хотите, и вы не торопясь напишете, изложите все, что вы находите нужным. Мы присоединим к делу. А пока, пожалуйста, подпишите протокол, из-за которого мы с вами потеряли столько времени.

Она сует мне в руки авторучку и услужливо протягивает папку.

— Вот здесь. Подпишите. Отлично! Теперь садитесь за тот стол, там свободно. Вот бумага, — она кладет передо мной стопку чистой бумаги, — пишите. Не торопитесь, — еще раз любезно напоминает она мне, звонит и велит подать чаю.

В камере я прихожу в себя и ужасаюсь своей глупости и наивности. Как будто это мое писание могло иметь какой-нибудь смысл, какую-нибудь цену! Да и будет ли оно приложено к делу? Было ли? Этого я не знаю и посейчас. Думаю, если мое объяснение и использовали, то только для того, чтобы лишний раз хохотнуть над наивной девчонкой, попавшейся, как муха в паутину. Вскоре, вызвав меня и небрежно полистав страницы ставшей довольно пухлой папки, Мария Аркадьевна объявила, что следствие по моему делу закончено. Я не знала и предположить даже не могла, что имею право ознакомиться с его содержанием, взять в собственные руки эту папку и рыться в ней сколько угодно, хоть до самого утра; о таком праве следовательница мне не сообщила, а я — откуда же я могла знать?

Даже о том, что на этой папке стоят «вещие» слова — «хранить вечно», я узнала только через 20 лет после суда, когда была реабилитирована и снова увидела эту папку, но и тогда — в чужих руках. Она прилежно хранилась в архивах военного трибунала, вероятно, хранится и до сих пор — ведь вечность еще не кончилась.

Ничего этого я не знала и послушно подписала, что с делом «ознакомилась». Единственный вопрос, который я задала с трепетом и надеждой: вызовут ли меня на суд? (Еще от Маруси я слышала, что бывает «заочный» суд, просто «постановление»). Мне казалось, что на «очном» суде все же есть какой-то шанс оправдаться, заставить себя выслушать: не может быть, чтобы все не поверили, когда говоришь правду! Не может этого быть!

— Вызовут, вызовут! — со злорадным ехидством пообещала мне Мария Аркадьевна.

Она-то хорошо знала, что «тройка», или «Особое совещание», может дать — по тогдашним временам — только три, самое большее — пять лет.

Мое же так складно и удачно оформившееся «террористическое дело» подлежит ни много ни мало суду военного трибунала, что сулит мне десятку, если не «вышку». Вскоре после этого меня перевели в Бутырки, где я и провела еще два месяца в ожидании суда.

Глава 3
«У вас была хорошая светлая камера»

В Бутырках арестованные прежде всего попадали на «вокзал». Это было огромное помещение, которое своей величиной, гулким резонансом, сводчатыми потолками с какими-то перекрытиями действительно напоминало железнодорожный вокзал. И отсюда, как с настоящего вокзала, отправлялись этапы заключенных во все концы нашей необъятной родины.

Сюда же прибывали небольшие партии, которые постепенно собирались в новые этапы и отправлялись по назначению. Этапы долго стояли, пока зеков выстраивали по четыре, проверяли по формулярам и в последний раз перетрясали их нехитрые пожитки.

Но когда в Бутырки привозили одиночек, они на «вокзале» не задерживались. Их моментально запирали в «собачниках», двери которых тянулись одна за другой вдоль длинных стен «вокзала». В такой «собачник» посадили и меня.

Дело, конечно, было ночью. Только на этот раз, когда за мной пришли — еще там, на Лубянке, я не обрадовалась приказу «собраться с вещами». Я уже понимала, что если и переведут, то лишь в другую камеру или погонят еще куда-нибудь «по делам». Но на этот раз меня вывели во двор, где уже ожидал готовый к отправлению «воронок». В нем никого не было, и я ехала в «салоне» одна, с комфортом. Через зарешеченное окошечко, выходящее в кабину шофера, я видела проплывающие, словно в кино, ночные, почти безлюдные и до боли знакомые улицы Москвы.

Бутырку с ее красноватыми кирпичными башнями и стенами, тускло освещенными уличными фонарями, я узнала сразу и особенно не удивилась, понимая, что на Лубянке уже «сошла со сцены». В маленьком «собачнике», куда меня заперли сразу по приезде, можно было только присесть на скамью-приступку, было душно, жарко, слишком яркая лампа резала глаза, а время тянулось нескончаемо. Казалось, уже и ночь прошла, а за мной так никто и не идет.

Но, как я могла убедиться за свою долгую жизнь, все когда-нибудь кончается. В одной из пересыльных тюрем (в Ленинграде) на стене камеры неизвестным поэтом были нацарапаны стихи, сохранившиеся несмотря на тщательную забелку:

В этом мире все кончается,

Не сидеть же целый век!
Этой мыслью утешается
Заключенный человек.

Потом шло несколько неразборчивых строф, но последняя выступала достаточно явственно. Она была, увы, менее оптимистична:

Все бывает в этом мире,
Может, будешь ты опять
На Гороховой, четыре,
На Шпалерке, двадцать пять!

Там, на Шпалерке, к тому времени уже разместилось грандиозное здание Ленинградского НКВД. Но тогда, когда я в первый раз сидела в бутырском «собачнике», я еще не прочла этих стихов и не была достаточно умудрена опытом. И мне казалось, что я уже на пределе, больше не могу, не вынесу; вот-вот мне станет дурно, или я просто тут и умру, в этом «собачнике». Я несколько раз пробовала постучать, но никто не отзывался.

Конечно, я не умерла, и даже дурно мне не сделалось. Потом, с годами, я узнала, что человек «все может». По крайней мере гораздо больше, чем ему кажется. В конце концов за мной все-таки пришли. Раздели догола, одели в «бутырское» — рубаху и панталоны, а сверху оставался мой лыжный костюм (который давно бы следовало простирнуть). Отвели в камеру по каким-то нескончаемым железным ажурным лестницам, которые гулко гремели под ногами.

Потом я узнала, что моя камера, которая оказалась большой и светлой, была на «лучшем», четвертом этаже. Хотя окошко находилось высоко, чуть не под потолком, оно было щелеобразным, не по вертикали, а по горизонтали, почти во всю ширину стены, как в коровьем стойле, и света давало достаточно. Щитка на окне не было, и так как оно выходило на юг, а камера находилась на верхнем этаже, солнышко — если оно не куталось в облака — с раннего утра заглядывало в камеру.

Нравы в Бутырках были попроще, и я поняла, что можно самой, дотянувшись на цыпочках рукой до рамы, закрывать и открывать ее сколько хочешь, не дожидаясь часового. Камера была довольно просторная — как со временем оказалось, в нее можно втиснуть целых четыре койки. Но пока я была одна.

За окном уже брезжил рассвет, когда меня привели. Бутырские порядки были ближе к лагерным, возможно, потому,

что там располагались и «жилые корпуса», в которых сидели уголовники с небольшими сроками. Их использовали как рабочих для обслуживания кухни, бани, прачечной. Поверки бывали два раза в день — утром и вечером. Отворялась дверь, входил корпусной (как в дальнейшем оказалось, их было четыре и они каждые сутки сменяли друг друга). Заключенных считали просто по головам, так как никаких «инициалов» не спрашивали.

И вот что произошло в первый день моей жизни в Бутырках. Едва я, измученная «собачником», повалилась на койку, как дверь с оглушительным шумом (здесь двери камер были толстые, деревянные и все почему-то страшно грохотали) отворилась и часовой скомандовал:

— На поверку встать!

Вошел корпусной, и я сразу вспомнила о книгах:

— Гражданин начальник, пришлите мне, пожалуйста, книги.

— Хм, книги?.. — глубокомысленно задумался корпусной. — Це трэба выяснить.

— Как выяснить? — ахнула я. — Я же на Лубянке имела книги, мне разрешено!

Корпусной покачал головой: — Трэба выяснить! — И дверь с грохотом захлопнулась.

Кажется, не смешно, не дико ли? Человек потерял все — свободу, родных, детей, ему грозит расстрел. Что в такой ситуации значат книги? С ними ждать расстрела или без них?! Однако когда дверь за корпусным захлопнулась и я поняла, что никаких книг не будет, то пришла в отчаяние. В такое отчаяние, какое ни разу мной не овладевало за все время пребывания на Лубянке.

Там я лихорадочно думала, мучилась, сходила с ума, но все это было как-то активно или по крайней мере так мне казалось. Сейчас все было кончено. Впереди оставалось только несколько недель или месяцев ожидания, и больше уже думать, перебирая вновь и вновь все детали прошлого, мне было не под силу. Да и незачем. После того как я подписала протокол допроса, я уже жила какой-то нездешней, нереальной жизнью и хотела вернуться к своим книгам, как возвращаются к друзьям после перенесенных горестей и потерь.

Так вот, им было мало того, что я сама подписала себе смертный приговор! Мало того, что у меня все отняли! Так еще последние дни надо мне отравить, отнять последнее мое утешение. И в первый раз за все время я заревела, как когда-то ревела Маруся. Я лежала, зарывшись с головой в одеяло, повернувшись к стене, и рыдала чем дольше, тем горше и сильнее.

В Бутырках кроме глазка в двери было еще и окошечко. Оно открывалось, когда приносили еду, в него просовывали пайку хлеба, миску с супом или кашей, чайник с кипятком. Теперь это окошечко отворилось, и мужской голос осторожно позвал:

— Девушка, а девушка!

И так как я не отвечала, то еще раз:

— Девушка, ну чего вы расстраиваетесь, хватит уж!

Но остановиться я уже не могла.

— Позвать вам, что ли, опять корпусного?

Ответа часовой не получил, так как из-за рыданий я не могла выговорить ни слова. Окошечко захлопнулось, но через несколько минут открылась дверь, и снова вошел корпусной. Он постоял надо мной (а я все ревела) и сказал:

— Ну щось вы убиваетэсь? Я ж казав, шо спройшу.

Постоял, постоял да и вышел. Через некоторое время дверь снова открылась, и в камеру вошел часовой.

— Девушка, — сказал он, — не плачьте! Вот, корпусной вам книгу прислал! — и положил книгу на столик около моей койки.

Не знаю, было ли это нарушением устава и откуда корпусной взял книгу, может быть, у другого заключенного? Это был… томик Брюсова! Везло мне на утешителей-поэтов! И какие подходящие стихи нашла я в этом томике! И сколько заучила их наизусть, пока мне все-таки дали книги.

Через две недели — событие первой величины: у меня появилась сокамерница. Она была моего возраста, может быть, немного постарше. Преподавательница-ботаник. Как и я, обожала путешествия, много ходила пешком, любила Крым, Кавказ. Первые дни радости не было предела. Оказалось, что у нас много общего и мы могли бы подружиться, даже и не сидя в одной камере, где для разговоров и рассказов времени было более чем достаточно.

Конечно, и о наших «делах» мы тоже поведали друг другу. Моя сокамерница была «троцкисткой» не в большей степени, чем я — «террористкой». У нее был друг, с которым по ряду обстоятельств она не могла соединиться окончательно — отсутствие жилплощади, старая мать и еще что-то. Друга арестовали — как оказалось, он был троцкистом, с кем-то был связан, занимался какой-то деятельностью. Галя — так ее звали — даже и не подозревала об этом, но он показал, что она все знала и разделяла его троцкистские взгляды. Ее тоже забрали.

— А я даже понятия не имею, какие они, эти «троцкистские взгляды»! В чем их суть? А вы знаете?

Нет, я тоже не знала. Галя не верила, что ее друг мог так наговорить на нее, но ей показали протокол допроса с его

подписью:

— Представляете, какой ужас?

Итак, первое время мы очень радовались, что сидим вместе, и после загробного молчания Лубянки разговоры лились рекой. Но мало-помалу они начали как-то приедаться, и мы незаметно стали раздражать друг друга. И чем дальше, тем больше.

Когда Галя засыпала, она не храпела, но издавала носом какие-то странные звуки, похожие не то на стон, не то на мычание. Сначала я не обращала на это никакого внимания. А через несколько дней уже не могла заснуть, не спала целые ночи напролет. Я закрывалась с головой одеялом, клала на ухо подушку — ничего не помогало. Я слышала постанывания Галины и не могла спать.

За обедом она чавкала, и я не могла есть. Ужасно было в уборной, куда нас водили вместе… Я ее раздражала, должно быть, не меньше. Не тем, так другим. Вскоре я поняла, что бывает наказание худшее, чем одиночество. Это — лишение одиночества! Им я была наказана на долгие годы, и считаю, что из всего, что пришлось пережить, это — одно из самых тяжелых. Всегда на людях: в бараке, на работе, в бане, в уборной. Ни минуты не побыть одной. Ну а находиться непрестанно вдвоем — пожалуй, еще хуже.

Не знаю, чем бы кончилось наше взаимное раздражение, если бы у нас не появились еще две соседки. Теперь наша камера приняла совершенно «жилой» вид: койки по стенам, посередине — стол, у двери — параша, которой мы с общего согласия старались не пользоваться. Как только нас стало четверо, раздражение как рукой сняло, и время до суда, если можно так выразиться, было самым «счастливым» изо всей моей тюремной жизни.

Возможно, потому, что судьба послала в нашу четверку чудесного, интеллигентного и с интереснейшей судьбой человека — Раису Осиповну Губергриц. К тому же она была чудесной рассказчицей, не чета нам, а рассказать ей было о чем. Она казалась нам тогда древней старушкой, хотя ей не было даже 60. Раиса Осиповна была профессиональной революционеркой. Получила прекрасное образование, отлично знала два языка, немецкий и французский. Восемнадцати лет, после окончания гимназии с золотой медалью, она «ушла в революцию», навсегда оставив дом отца, состоятельного и видного адвоката.

Довольно быстро определились ее политические симпатии, и Раиса Осиповна примкнула к меньшевикам. В те времена обе партии, вернее, два крыла одной и той же партии — «большевики» и «меньшевики» — работали бок о бок, имели

общие подпольные типографии и проводили собрания, на которых с остервенением спорили.

Спорили до того, что, как уверяла склонная к юмору Раиса Осиповна, когда однажды в помещение провалившейся организации нагрянули жандармы и партийцы бросились прятаться, в одном шкафу оказались большевик и меньшевик, которые и там жарким шепотом продолжали спор. И даже когда их выволокли из шкафа и стали надевать наручники, они все еще пререкались.

После первого ареста Раиса Осиповна была отправлена в сибирскую ссылку, откуда сразу же бежала в свой родной Харьков. Во второй раз она получила три года каторги, которую отбывала в Орловском централе. Эти три года были ее подлинным «университетом».

Поскольку молодые каторжанки имели деньги (им помогали богатые, как правило, родители), они могли выписывать какие угодно книги, и скоро у них образовалась целая библиотечка исторических, философских и социальных трудов, не говоря уже о том, что им не возбранялось пользоваться довольно-таки богатой тюремной библиотекой.

Вообще, рассказы Раисы Осиповны о каторжной жизни в централе сейчас, в свете знания о том, что такое советские лагеря и тюрьмы, кажутся плодом самой пылкой фантазии. Молодые каторжанки одевались в собственную одежду. К завтраку посылали кого-нибудь из тюремной охраны в кондитерскую за свежими булочками. Днем камеры не запирались.

Каторжанки могли пойти поработать в мастерскую, например в переплетную, куда они и ходили, встречаясь там с другими арестантами. Но могли и отказаться. Дважды в день арестантов выпускали на двухчасовую прогулку, мужчин и женщин вместе. И хотя они должны были шагать по кругу в унылом тюремном дворе, на прогулках продолжались политические споры или завязывались романы, происходили сцены ревности, ссоры и примирения.

После отбытия своих трех лет Раиса Осиповна была отправлена в Сибирь, откуда она снова бежала, теперь уже с мужем, разумеется тоже меньшевиком, притом довольно видным в партийной среде. На этот раз они бежали за границу, и побег был удачным. Так к началу Первой мировой войны они оказались за рубежом.

Заграничная жизнь Раисы Осиповны, в основном во Франции, состояла из бурных споров, собраний, выступлений, выработки каких-то программ и платформ. Ей поручали перевозить через границу прокламации, литературу и даже оружие.

Шестизарядные револьверы мирно покоились под батистовыми блузками на дне ее изящного женского чемоданчика. Все сходило благополучно — хорошенькая и острая на язычок «курсисточка» умела обворожить таможенных чиновников и отвлечь их внимание.

Не обходилось и без курьезов. Однажды на условленной станции Раису Осиповну не встретили. Она слонялась по маленькому городку, не решаясь появиться в единственной гостинице. Чемодан с револьверами оттягивал руку. В конце концов Раиса Осиповна решила выбросить револьверы где-нибудь подальше в городском саду и уже без риска вернуться назад с облегченным чемоданчиком. Но тут она обнаружила, что потеряла от него ключ!

Пришлось расстаться со всем чемоданчиком, как ни жаль ей было своих блузок — жили они с мужем не слишком богато. Везти же чемоданчик со всем его конспиративным грузом еще раз через границу она не рискнула. Все это Раиса Осиповна рассказывала живо и легко, с мягким юмором. Конечно, жилось им непросто: и голодали, и холодали, но… какое это было прекрасное время! Как легко дышалось, как верилось в будущее! Какие замечательные люди были кругом!

Еще трудней стало, когда родился Дэ-дэ. Но что это был за ребенок! В два года он уже свободно лепетал по-французски. На самом деле ему дали имя Андрей, но он сам себя в детстве прозвал Дэ-дэ, и с тех пор все так его и называли. Когда Раиса Осиповна говорила о своем сыне, лицо ее светилось, морщины разглаживались, и она молодела на глазах.

Когда грянула русская революция, они с мужем жили в Брюсселе. Их нетерпению не было границ: скорее на родину, где наконец-то совершилась народная революция, которой отданы вся жизнь, все помыслы! Как только пришла весть о победе революции и был заключен мир с Германией, Раиса Осиповна с первым отходящим из Брюсселя в Петроград пароходом собралась в Россию. Пароход был грузовой и никаких пассажиров не брал. Когда капитан узнал, что речь идет о женщине, да еще с ребенком, он был категоричен:

— Да вы что? У нас первый рейс в еще начиненном минами море, в наэлектризованной войной обстановке!

Но надо знать Раису Осиповну, чтобы понять, что она от задуманного не отступила и, пустив в ход все свои женские чары, все же уломала капитана взять ее одну, без Дэ-дэ. Когда пароход оказался далеко в море, в вещевой корзинке обнаружился мирно спавший малыш. Возмущению капитана не было границ. Но не пускаться же из-за этого в обратный путь!?

Так Раиса Осиповна и Дэ-дэ вернулись в теперь уже советскую Россию. Дальше все пошло уже не так весело. Не успели оглянуться, как мужа Раисы Осиповны выслали за границу (пока только «выслали» — учтите гуманность этого акта!), но одного, без семьи. Началось хождение по мукам, обивание порогов — ей заграничной визы не давали.

Вскоре муж Раисы Осиповны серьезно заболел и через месяц умер. Уезжать ей стало не к кому, пришлось остаться в России. Остальная ее жизнь с Дэ-дэ, в общей сложности девять лет, приходится на ссылки. Каждый раз — по три года, с небольшими перерывами между арестами. Первую ссылку она отбывала где-то недалеко от Москвы, а вторую и третью — в Свердловске. Там Дэ-дэ и школу окончил.

На свою жизнь Раиса Осиповна не жаловалась. Город большой, культурный. Хотя и «ссыльная», она работала в библиотеке и давала уроки, поскольку знала языки. По окончании трех последних лет Раиса Осиповна перебралась к сыну в Москву, куда он уехал, окончив школу в Свердловске. Совсем недавно ей сделали операцию по удалению катаракты. Читает она, правда, еще с трудом и понемножку. А тут — опять арест! Ее ждала очередная, четвертая ссылка. Ну да ей не привыкать, и Раиса Осиповна храбрилась, стараясь и в нас поддерживать бодрость духа и надежду на лучшее.

После суда я встретилась с Раисой Осиповной еще раз на Бутырской пересылке — в одной из общих камер, куда набивали по 50 и больше осужденных перед отправкой партиями на разные этапы. Оттуда я и проводила ее на Енисейский этап. Когда через десять с лишним лет я сама оказалась в Енисейске, то тщетно искала там следы пребывания Раисы Осиповны. Туда она, очевидно, не доехала. Енисейский этап с переполненными донельзя пересылками 1936 года был ей, наверное, уже не по силам. Напрасно Дэ-дэ хлопотал о том, чтобы мать отправили «спецконвоем», то есть пассажирским поездом с конвоирами, и сама Пешкова, которая знала Раису Осиповну, твердо обещала ему, что спецконвой будет.

Третья наша сожительница, Ирина, была тихой и молчаливой молодой женщиной. В чем ее обвиняли, она и сама хорошенько не знала. Называли ей каких-то свидетелей ее антисоветских высказываний. Эти люди носили удивительные фамилии: Капустин, Кочанкин, Кочерыжкин.

Никого из них она, конечно, не знала и понимала, что все это — издевка, но протоколы покорно, без споров, подписывала, надеясь только на то, что ее отправят в ссылку, а не в лагерь, и отдадут ей единственного малыша, которого она только что

отняла от груди. После ареста матери ребенок остался у чужих людей. Мужа у нее не было, а родители жили где-то далеко. Где теперь ее мальчик? Что с ним?

Теперь нам были разрешены передачи, и мы все, кроме бедной Ирины, получили их в один день. К моей передаче не было приложено ни письма, ни записки, но был список передаваемых вещей, написанный маминым почерком. Значит, она жива, значит, на свободе!

Мы стали получать передачи каждую неделю. Были тут и вещи, и съестное — яблоки, апельсины, чеснок. Его я никогда не ела, но, видно, мама уже узнала из разговоров в бутырских очередях, что чеснок необходим — иначе цинга! Кроме чеснока я получала конфеты в коробках, печенье в упаковках и даже консервы. Надо сказать, что в Бутырках кормили обильнее, чем на Лубянке. Мы вполне могли обойтись без продовольственных передач, но как дать знать об этом нашим родным? И нас мучило, что они тратятся понапрасну.

Вероятно, мы жили гораздо беззаботнее, чем несчастные наши родные, выстаивающие длинные очереди в приемных Бутырок — сперва у одного окошка, чтобы сдать передачу, затем у другого, чтобы узнать «новости» и услышать обычный ответ: «Решения по делу еще не имеется». Можно представить себе их тревогу, их страхи за нас, их отчаяние…

Четыре наших корпусных дежурили по суткам, через каждые три дня. Один — украинец, приславший мне томик Брюсова. Второй — абсолютно безликий, незаметный человек, которого мы так и прозвали — Безликий: он молча входил в камеру, окидывал нас равнодушным, ничего не выражающим взглядом и тут же выходил, захлопывая за собой дверь.

Третий был красавцем. Стройный и статный, с профилем Аполлона Бельведерского, с льняными кудрями, лихо выбивающимися из-под форменной фуражки. Ему была присуща какая-то лихость в движениях. Корпусной стремительно входил в камеру и, так как дверь открывалась вовнутрь, прикрывая собою парашу, неизменно заглядывал за дверь, словно желал убедиться, что параша цела и стоит на своем месте. Затем поворачивался, прищелкивал каблуками и военным шагом стремительно выходил вон.

Методичность движений и жестов и весь «аполлоновский» облик этого человека применительно к его должности невольно заставляли предполагать скудость мыслей в красивой кудрявой голове, и нас так и подмывало над ним поиздеваться. В один прекрасный день мы перенесли нашу парашу с ее обычного места под стол да еще прикрыли сверху одеялом. Нам хотелось

посмотреть, какова будет реакция красавца.

Мы не ошиблись — он был потрясен. Заглянув, как обычно, за дверь, парень вздрогнул. Уже открыл рот и даже произнес: «А…» Испуганно посмотрел на нас и сообразил, что это розыгрыш. Нам он ничего не сказал, но, выйдя за дверь, принялся распекать часового.

Бедный часовой, получивший ни за что ни про что взбучку, открыл окошечко и сердито сказал:

— Женщины! Сейчас же поставьте парашу на место!

На что Раиса Осиповна самым добродушным и почтительным тоном ответила:

— Разве у нее есть определенное место, гражданин часовой? У нас все углы заняты.

Часовой не нашелся, что ответить, и с грохотом захлопнул окно.

Самой колоритной фигурой из всех корпусных был тот, кого мы прозвали Вельзевулом. Маленький, болезненный на вид, всегда с каким-то зверским, искаженным лицом, он стремительно влетал в камеру, пронзал нас ненавидящим взглядом, потом внимательно осматривал каждую стену, а потом, подойдя к одной из них, тыкал пальцем в едва заметную царапину и спрашивал, шипя от ярости:

— Это вы сделали?

Раиса Осиповна выступала с ответом:

— Ну что вы, гражданин начальник, разве мы похожи на людей, способных портить стены?

Вельзевул выскакивал вон, не находя достойного ответа.

Однажды ему повезло. Это случилось в его дежурство, в то время, когда мы уже вполне обжились в Бутырках. Уже несколько дней к нам в стену кто-то упорно и настойчиво постукивал. Конечно, Раиса Осиповна знала тюремную азбуку, но без навыка и тренировки уловить стуки было нелегко и самим отстучать тоже. Хотя никаких «связей» у нас ни с кем не было, но просто ради любопытства было интересно узнать, кто нам стучит и что у нас за соседи. Для этого нам необходимо было изучить «ключ» тюремной азбуки, так как на слух ничего не получалось, и каким-то образом написать эту азбуку на кусочке бумаги.

Но чем? Карандашей или ручек нам иметь не полагалось… Нам давали по 11 папирос в день (почему именно по 11?), не спрашивая, курящие мы или нет. Я начала курить еще на Лубянке в надежде унять щемящую тоску неизвестности. Для того чтобы закурить, надо было постучать и попросить часового зажечь спичку. Иногда она оставалась в его руках, иногда переходила в мою собственность. Как оказалось, и обгорелая спичка может на

что-то пригодиться.

Мы нацарапали этот нехитрый «ключ» обгорелой спичкой на кусочке бумаги, и я взялась за дело. Положив на страницу открытой книги азбуку, чтобы не было видно в глазок, я ручкой ложки стала постукивать. Мне тут же ответили, только я не могла понять — что. Сидя на своих койках, все затаили дыхание, стараясь уловить ответ…

Вдруг наша дверь с грохотом распахнулась, и в камеру влетел Вельзевул. Он схватил мой несчастный «ключ» и ложку — вещественные доказательства моего преступления.

— Вы будете наказаны! — прошипел корпусной и выскочил вон.

Доигрались! Мы все думали, что посадят в карцер только меня, что было бы логично, так как стучала я. Но через некоторое время окошечко открылось, и часовой возвестил:

— Соберитесь с вещами!

— Все?

— Все! Собирайтесь!

Неужели нас всех посадят в карцер? Собираться с вещами теперь стало не так просто. Вещей развелась тьма, нам несли и несли теплые вещи. Наконец мы кое-как увязали огромные узлы. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь громыхнула, Вельзевул и еще трое конвойных явились за нами.

Я не знаю, как устроены другие корпуса Бутырок, но в нашем двери камер выходили на длиннейшие балконы, которые тянулись вдоль стен корпуса, поперек которого были кое-где переброшены мостики, и с них спускались ажурные, довольно крутые лестницы.

В Бутырках не было принято цыкать, как на Лубянке, но тут тоже заключенным не полагалось встречаться друг с другом, и поэтому конвоиры, чтобы предупредить, что они кого-то ведут, постукивали ключами по медным пряжкам своих поясов. Встречный конвоир ставил своего подопечного лицом к стене, и таким образом удавалось разминуться.

Под мелодичный звон ключей наша процессия тронулась. Впереди Вельзевул, за ним — один из конвоиров, затем гуськом мы со своими узлами, за нами еще конвоир и, наконец, последний замыкающий с нашей парашей в руках, которую он торжественно нес перед собой: очевидно, параши в то время в Бутырках были дефицитом.

Подбирая по дороге выпадающие из узлов пожитки, мы спускались все ниже, пока не кончились все лестницы и нам не пришлось идти вдоль стен, едва освещенных тусклым светом лампочек. Это тебе не наш солнечный четвертый этаж! Наконец

Вельзевул с видом победителя распахнул перед нами дверь камеры.

Боже, что это была за камера! Крошечная каморка, где кровати стояли вплотную друг к другу, не оставляя места ни для стола, ни для прохода. В камере было темно, как поздним вечером, а тусклая лампочка едва светила под самым потолком! Однако самый главный сюрприз ждал нас поздно вечером. Только мы с грехом пополам улеглись спать, как вся наша каморка стала содрогаться от пронзительного лязга и скрежета. «Вау-у-у!» — завыло за стеной. И опять, и опять. Оказалось, мы обитали теперь рядом с допотопным лифтом, который дико скрежетал и дребезжал всеми своими железками. Днем он, проклятый, молчал. Но только лишь наступала ночь…

Кабинеты следователей были на четвертом этаже, а работали они здесь, как и на Лубянке, по ночам.

На другой день дежурил корпусной-украинец. Мы стали просить его вызволить нас. Он сочувственно поцокал языком и помотал головой:

— Це я не можу. Це вам до його надо обращаться!

Мы прождали еще два дня и обратились «до його». Парламентером, конечно, была Раиса Осиповна.

— Гражданин начальник, — сказала она самым умильным голосом, — простите нас! Мы так сожалеем о своем легкомыслии, но, поверьте, тут не было злого умысла, просто от скуки!

Так как на его хищном лице не отразилось и тени чего-либо, похожего на снисхождение, вмешалась я:

— Гражданин начальник, накажите меня одну, ведь это я стучала! У бабушки (это у Раисы Осиповны) больные глаза, она только что после операции, ей никак нельзя при этом свете!

И Вельзевул заговорил. Он даже не шипел, говорил спокойно, с сознанием выполненного долга:

— У вас была прекрасная светлая камера. Вы вели себя дурно, и вас перевели в худшую. Будете опять вести себя плохо, вас переведут в еще худшую.

Через три дня, дождавшись его очередного дежурства, мы снова просили прощения, и снова услышали в ответ: «У вас была прекрасная светлая камера…»

Через несколько дней от нас взяли Ирину, а я, Галя и Раиса Осиповна так и остались сидеть в этой каморке. И каждый раз, когда мы обращались с просьбой о помиловании, в ответ раздавалось одно и то же: «У вас была прекрасная светлая камера…»

Да, у нас у всех была прекрасная светлая камера!

Глава 4
Игра в правосудие

Но все на свете кончается. И однажды входит корпусной-украинец и передает мне узенькую ленту папиросной бумаги.

— Что это такое? — недоумеваю я.

— То це ж выписка з протоколу, з обвинительного акту.

Мы все склоняемся над бумажкой. Там стоят две строчки точек, а затем: «На основании вышеизложенного Федорова Е. Н. обвиняется по ст. Уголовного кодекса 58–10 и 58-8»… И все.

Значит, на основании вот этих точек.

— А что это значит, — спрашиваю я украинца, — 58–10 и 58-8?

— Ну… 58–10 — полегше, а 58-8 — покрэпше! Завтра з утра на суд поедете.

На суд!.. Наконец!.. Сердце бешено колотится, руки перестают слушаться. Суд!.. Мой последний шанс, последняя надежда! Если это такая же комедия, как допросы, значит, все кончено, расстрел. Я уже понимала, что «террор» — это очень серьезно. Если же меня выслушают — НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, чтобы не поверили, не увидели бы, что перед ними не политический и вообще никакой не преступник — а обыкновенный нормальный человек. Только бы выслушали, только бы дали говорить!..

Действительно, назавтра мне принесли утреннюю кашу раньше, чем другим, и вернули… отобранные еще на Лубянке шпильки! Какие аккуратность и оперативность! Хранятся не только «вечные» дела, но и дамские шпильки, которые, как оказалось, можно воскресить в любой момент, когда понадобятся!

Долго выбирали подходящий наряд из нескольких присланных мне мамой платьев. Чтобы было «прилично и скромно» (хотя все платья были более чем скромны). Ну вот, готово! Я одета, причесана, отведена на оправку. Последние лихорадочные напутствия — что кому сказать, последний раз я повторяю затверженные адреса Дэ-дэ и Галиной матери, не перепутать бы! Ведь если меня оправдают, я же не вернусь в камеру!

Раиса Осиповна и Галя хлопотали вокруг меня, помогая одеться, выбирая из одежды, присланной в передачах, что-нибудь «поприличнее».

— Если я не вернусь, значит, меня оправдали и отпустили. Все, что вам может понадобиться из моих вещей, вы оставьте себе. И помните, если в первой передаче будет по плитке шоколада

«Золотой ярлык», значит, все хорошо, я виделась с вашими и все им передала.

Наконец грохочут двери, и какой-то новый конвоир с бумагой в руках сурово спрашивает:

— Кто здесь на «ф»?

Последние объятия, поцелуи.

— Ни пера ни пуха!

— К черту, к черту!

— Подсудимая, выходите!

Боже мой! Я уже не «женщина», а «подсудимая»! Я хватаю свое кожаное пальто, и дверь за мной захлопывается. Конечно, меня ведут на «вокзал» и сажают в «собачник». Я сижу в нем по крайней мере час или больше, лихорадочно вспоминаю все, что должна сказать на суде, всю когда-то заготовленную мною блестящую речь, которая своей правдивостью, логикой и убедительностью должна доказать несостоятельность и чудовищность возводимого на меня обвинения.

Когда-то я знала эту речь назубок, вытвердила ее на Лубянке, но это было так давно, век тому назад! Теперь мои мысли скачут как попало, и я с ужасом чувствую, что скажу не так, как надо, что-то забуду, что-то упущу. Это приводит меня в отчаяние… Главное, про Юрку. Не забыть Анну Ильиничну. Анекдоты. «Артек». Все в голове кружится и путается.

Наконец приходит женщина, чтобы обыскать меня, раздев догола. Вид у нее невозмутимо-деловой, она делает свою привычную работу молча, и я ее ни о чем не спрашиваю. Я снова одета и жду. Меня выводят из «собачника» на совершенно пустой «вокзал» (интересно, за каждой дверью других «собачников» тоже кто-то сидит?). Во дворе ждет «черный ворон». Меня сажают в тесный шкафчик, я больно стукаюсь лбом об стенку — поехали!

Мы едем подозрительно недолго. Куда же? «Ворон» круто заворачивает раз, потом другой и останавливается. Мой шкафчик открывают, и я из темноты попадаю в солнечный зимний день. Сначала ничего не вижу, зажмуриваюсь, но глаза скоро привыкают к свету. Глухой заасфальтированный дворик. Куда мы приехали?

И вдруг — радостный, изумленный и такой знакомый голос:

— Женечка! Ты?

Господи! Или мне это снится? Из другого шкафчика моего «воронка» выскакивает Юрка и, прежде чем конвой успевает опомниться, бросается ко мне, тискает меня в объятиях, целует.

— Юрка!

— Женька!

Но тут конвойный бросается между нами:

— Разойтись! Разговаривать запрещается!

Теперь нас ведут в строгом порядке: конвоир, затем Юрка, еще конвоир, затем я, а сзади — еще один конвоир. Мы входим в дверь и попадаем на какую-то черную лестницу. По ней спускаемся вниз и входим в небольшой пустой подвальчик с окошечком под потолком. За мной и Юркой запирают дверь.

Где же ваша логика, граждане из НКВД? Строго храня тайну «собачников», боясь случайных встреч в коридоре, вы везете нас на суд в разных шкафчиках «черного ворона», чтобы потом посадить вместе в подвальчик и дать наговориться всласть?

В подвальчике был глазок, и мы боялись, что, как только начнем говорить, нас разъединят. Поэтому вначале мы общались шепотом, сев на скамью далеко друг от друга. Но так как никто нас не одергивал, то в конце концов мы очутились на скамье рядом и, спеша, боясь, что не успеем — ведь нас в любую минуту могли вызвать, — перебивая, нескладно рассказываем обо всем, что с нами случилось и как появились наши «дела».

Юрку вызвали в НКВД в Смоленске — он был там у матери. Его спросили о наших с ним «террористических разговорах». Он вполне искренне удивился и сказал, что никаких таких разговоров никогда не было. Были анекдоты, но кто же их не пересказывает? Его отпустили, а ночью — взяли. И сразу же с ночным поездом увезли в Москву, на Лубянку. Он сидел на Лубянке в том же зале с «хорами», через несколько камер от меня. Юрка не просил книг, уверенный, что не сегодня-завтра его выпустят, и вообще не понимал, почему его забрали.

А потом ему показали подписанный мною протокол, где я подтверждала, что была готова УБИТЬ СТАЛИНА за сто тысяч рублей. И это я говорила ему, Юре, и он знал о готовящемся покушении!

— Покушении?

— Да, именно так она говорила, эта смазливая бестия. Я, хоть убей, не помню, чтобы ты такое говорила. О Николаеве действительно что-то болтали, но что и как?

Ему говорили, что он еще может спастись, что он еще мальчик, что вся жизнь у него впереди, что чистосердечное признание пойдет ему на пользу, а запирательство его МНЕ все равно ничем не поможет, так как я все равно во всем созналась.

Ему показывали подписанные мною протоколы допросов, где я сознавалась, что неоднократно проявляла готовность совершить террористический акт над Сталиным. И это было гораздо раньше, чем я в действительности подписала протокол с формулировкой следовательницы о моем «террористическом высказывании».

Юрку ловили в сеть демагогических афоризмов.

Вопрос: Федорова всегда была довольна своей жизнью?

Ответ: Да нет, не всегда… Последнее время у нее были нелады с мужем.

Вопрос: Значит, не всегда. Но где же живет Федорова? В Советском Союзе?

Ответ: Да, конечно, в Советском Союзе.

Вопрос: Значит, она не была довольна жизнью в Советском Союзе.

Так и записывалось в протокол.

Юрка чувствовал, что запутывается, губит меня, пытался отказываться от того, что подписал накануне, и запутывался все больше и больше. Ему сказали, что если он — советский человек, воспитанный советской школой, строитель Горьковского автозавода, то обязан был донести на меня, и только по свойственному ему легкомыслию и молодости лет не сделал этого. Но теперь, когда Федорова сама созналась в своих преступлениях, приходится и его обвинить в сообщничестве. Стоит ли ставить на карту все его будущее, а может быть, и жизнь? Свою двоюродную сестру он все равно не спасет, ее участь решена.

Теперь же вопрос стоит о ее матери: привлечь ли и ее как соучастницу террористической организации или оставить в стороне, если он, Юра Соловьев, правдиво расскажет обо всем, касающемся Е. Н. Федоровой и ее террористических намерений.

Тут Юрка совершенно потерял голову, рассуждая примерно, как и я, — лучше нам погибнуть вдвоем, мне и ему, чем потянуть за собой других. Так появился на свет подписанный Юркой протокол о том, что Федорова — антисоветский, морально разложившийся человек, что она неоднократно высказывала готовность за деньги убить Сталина…

Я не могла обвинять Юру в том, что он подписал такие показания, потому что слишком хорошо понимала, как все получилось. Понимала я и другое: по существу, для меня это тоже уже «все равно». Материал моего следствия обрекал меня, скорее всего, на расстрел. Единственным шансом оставался СУД — суд ВОПРЕКИ следственному материалу.

… И вот этот день настал. Часам к 12 дверь отворяется:

— Подсудимые, выходите!

В сопровождении охраны мы поднимаемся по лестнице. Сначала идем какими-то закоулками, опять впереди один страж, за ним я, за мной второй конвоир, за ним Юрка, а у него за спиной — еще страж. Через какую-то дверку мы попадаем в роскошный вестибюль. Высокие зеркала в старинных рамах, лепные потолки, широкая мраморная лестница. Но, прежде чем

вступить на нее, мы видим вдали, за зеркалами, две знакомые фигурки; и сразу же их узнаем.

Они вскочили с кресел, машут нам изо всех сил, посылают воздушные поцелуи. Это тетя Юля — Юркина мама и его тетушка Мария Петровна. Тетя Юля издали смотрит на нас глазами, полными страха и надежды, умоляющими, взволнованными… Кого умоляла она?.. О чем?.. Они узнали о дне суда. Моя мама прийти не решилась, видно, побоялась — не выдержит сердце, что же будет со внуками? Ведь у нее на руках дети — шести и четырех лет.

Конечно, дальше вестибюля тетю Юлю не пустили, но и эта короткая минутка, когда наши глаза встретились и мы сказали друг другу: «Живы!.. Надеемся!.. Крепитесь!..», была для нас драгоценна.

— Подсудимые, не задерживайтесь!

На площадке первого марша огромное, во всю стену, зеркало. Впервые за полгода я вижу себя в нем во весь рост. В черном платье, с прической, такая незнакомая… Еще не старая, и фигура ничего. По женской привычке я мимоходом поправляю волосы. И вот, наконец, большой, длинный и узкий зал. В нем ряды светло-желтых кресел, в которых никто не сидит. Зал абсолютно пуст. Нас ведут к полукруглому помосту, отгороженному от зала деревянным барьером; там стоит простая грубая скамья — «скамья подсудимых».

— Садитесь!

В зале никто не появляется, очевидно, наших допустили только до вестибюля. Вдоль передней узкой стены на возвышении стоит длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом — три стула со старинными, высокими спинками, а за ними — портрет «Великого» в золотой раме. К одной из узких сторон стола приставлены маленький столик и обыкновенный стул — вероятно, для секретаря.

Сбоку из-за кулис выходит человек в форме и провозглашает:

— Встать! Суд идет!

— Встаньте, встаньте! — испуганно шепчут конвоиры за нашими спинами.

Мы встаем. Выходят трое, все, конечно, военные. В глаза мне бросается ОДИН — старый сухощавый человек с густыми седыми волосами. Его щека время от времени дергается в нервном тике. За маленьким столиком размещается секретарь. Никаких прокуроров или адвокатов нет, но меня это не удивляет, так как я не знаю, что им положено присутствовать.

Ни разу в жизни я еще не бывала на суде. А кроме того, зачем мне адвокаты? Кто же лучше меня самой может рассказать о моем

деле? Ведь я-то лучше знаю. Секретарь объявляет заседание военного трибунала Московской области открытым. Мы узнаем имена и фамилии судей, и секретарь, обращаясь к нам, подчеркнуто вежливо спрашивает, нет ли отводов с нашей стороны. Смешно! Что нам говорят эти незнакомые имена и фамилии? Этих людей мы видим впервые. Что мы о них знаем? Правда, мне не нравится этот сухопарый с тиком, но не могу же я сказать, что не хочу его в судьи только потому, что у него дергается щека?!

Но вот формальности закончены, и средний, должно быть, главный судья начинает спрашивать мои имя, отчество, год рождения. Я больше всего боюсь, что мне не дадут говорить, не станут меня слушать, и хотя теперь в моей голове ничего не осталось от блестяще заготовленной речи, я, не дожидаясь дальнейших вопросов, начинаю говорить и говорю без передышки, боясь, что меня перебьют или остановят.

Я говорю, что дико, нелепо, смешно, противоестественно обвинять меня в том, в чем меня обвиняют. Что, прежде чем приписывать мне всю эту дичь и нелепицу, надо же хоть немного узнать, что я за человек. Чем жила, чем дышала. Ведь я же не в пустыне жила, масса людей меня знает — и по работе, и просто так, друзья, знакомые. Это и редакторы газет, и сотрудники ОПТЭ, где я работала последние два года.

Среди них есть разные люди, и молодые, и старые; есть коммунисты, старые члены партии, вот хотя бы тот же Ганичка, — Ганин, поправилась я, Анатолий Андреевич (о нем речь впереди). Пусть их спросят, могла я быть виновна в чем-нибудь подобном тому, в чем меня обвиняют. Им, членам партии, вы должны поверить, если не верите мне!

Меня не прерывают, и я сама наконец останавливаюсь, не зная, что еще сказать. И вдруг происходит чудо. Я вижу, как головы судей склоняются друг к другу, как они о чем-то шепчутся, как секретарь, встав со своего места, подходит к ним и тоже что-то тихо говорит. Затем выходит на авансцену и объявляет в пустой зал:

— Дело слушанием откладывается до вызова названных подсудимой свидетелей!

Судьи встают и удаляются за кулисы, а мы с Юркой сидим обалдевшие, ничего не понимая. Какие свидетели? Чего? Первым приходит в себя Юрка:

— Женька, ты — гений! Мы оправданы!

Ну конечно же оправданы! Ведь все меня знавшие скажут о моем деле, что это — чушь и чепуха, пустая болтовня, а не политическое дело! Оправданы! Я так и знала! От счастья слезы

подступают к глазам, и Юркино сияющее лицо двоится и прыгает.

Из-за кулис снова появляется секретарь, он подходит ко мне и протягивает бумагу и карандаш:

— Вы поняли, — говорит секретарь, — что суд откладывается до вызова свидетелей, которых вы назвали? Напишите здесь, кого вы хотите вызвать как свидетелей.

Как откладывается? На сколько откладывается? Я не могу больше ждать! Я не знаю, что с моей матерью, с моими детьми. Я не могу больше сидеть в тюрьме! Я кричу, я вот-вот зареву.

— Успокойтесь, — дружелюбно и даже ласково говорит секретарь. — Ваши дети живы и здоровы, и мать тоже. У нас есть ее письма, сейчас я их вам принесу. Второе заседание мы назначим скоро, недели через две-три. Успокойтесь!

Юрка мне шепчет на ухо:

— Женька, дуреха, ну что значит еще две недели, да хоть и два месяца!

Секретарь уходит, и я пишу на листочке десять — двенадцать фамилий наиболее солидных людей из своих знакомых. Самым первым ставлю Ганичку, то есть майора Ганина — моего близкого друга, потом идут несколько человек из ОПТЭ; прокурор Гладкий, который был начальником маршрута на «Беломорканале», где в прошлом году началась моя экскурсоводческая деятельность; потом Аделунг, видный работник ОПТЭ, зав. каким-то отделом, наверное, член партии. Вспоминаю Владимира Александровича Энгеля, который уговаривал меня вступить в партию и обещал дать характеристику. Поколебавшись — стоит ли беспокоить старика, — я все же ставлю и его фамилию. Потом — мои газетные и журнальные связи. Джек Алтаузен. Когда-то мы с ним вместе учились, правда, давно уже не встречались. В «Пионерке» — Лева Поспелов, Женька Долматовский, они все хорошо меня знают…

Вернувшийся секретарь ахает, увидев мой список:

— Что вы, что вы! Достаточно двух-трех имен. Вот вам письма вашей матери.

Несколько записочек, которые, как мама надеялась, я должна была получить в тюрьме вместе с передачами. В каждой: «Не беспокойся, ребята здоровы, веселы. Все будет хорошо. Не беспокойся!»

Мы шествуем обратно тем же путем. В вестибюле опять тетя Юля и Мария Петровна. Им уже, наверное, сообщили, что суд отложен, и они надеются, сияют, что-то нам кричат. Что они кричат, мы не разбираем, улавливаем только: «С Новым годом! С Новым годом!»

— С Новым годом! — кричим мы в ответ. — До скорого

свидания!

Господи, мы совсем и забыли, что сегодня — 31 декабря! Канун Нового года! Кончается 1935 год, кончаются все наши невзгоды и несчастья! Новый, 1936-й, принесет нам свободу, торжество справедливости. Мы снова сидим в том же подвальчике. Только бы подольше за нами не приезжали! Теперь мы болтаем вовсю, мы уже ничего не боимся, мы ведь почти уверены, что будем оправданы! Нам приносят передачу — это наши милые тетушки расстарались! Огромный шоколадный торт, а в кульке — груши, виноград и апельсины.

— Ну зачем столько? Ведь все это так дорого стоит!

Мы уплетаем торт и, перебивая друг друга, со всеми подробностями рассказываем о своих «приключениях».

— Погоди, Женечка, дай мне сказать, как это было.

— Занятия еще не начались, сентябрь и октябрь мы копаем картошку в колхозах, и по этому случаю я еще в Смоленске. Вдруг — повестка! Что такое? Отправляюсь на улицу Кожуха. Помнишь, там новый дом отгрохали, черный, несуразный… Какие-то террористические разговоры?! Бред собачий! Ну, я отлаялся и успокоился (и картофельный день прогулял, очень даже приятно!). А ночью меня забирают и с шиком привозят прямиком на Лубянку ночным курьерским поездом.

— Неужели мы никогда так и не узнаем, как все это произошло? Всей этой фантастики?

— Ей богу, я бы полжизни отдал, чтобы узнать!

«Полжизни бы отдал». Но ведь он и отдал, на самом деле отдал. В лагерях Юра заболел туберкулезом и умер в 40 лет, даже не дождавшись реабилитации: он получил ее посмертно. Юра, который был подхвачен вихрем моего дела, отдал полжизни. А я доживаю его недожитые 40 лет, мне скоро 80… Я и сейчас считаю себя косвенно виноватой в его преждевременной смерти.

Часы бегут незаметно, а за нами все не едут. Мы доедаем свой новогодний торт, а за нашим решетчатым окошечком синие сумерки сменяются настоящей темнотой. Когда нас наконец выводят, на дворе уже совсем ночь, и в небе светятся звезды.

«Ворон» стоит во дворе, его дверцы гостеприимно распахнуты. На этот раз конвой решает, что нет смысла запихивать нас в разные шкафы, тем более что «ворон» совершенно пуст. Мы едем, и через сквозную решетку задних дверей нам видны ярко освещенные, полные народа праздничные улицы Москвы. Магазины еще открыты, в витринах — новогодние елки…

Глава 5
Свидетели

Нечего и говорить, что в нашей камере никто не спал до утра. Рассказам и волнениям не было конца. Меня заставляли повторять двадцать раз одно и то же. Что нас ждет полное оправдание, не сомневался никто. Ни я, ни Галя, ни Раиса Осиповна. Раз подходят «по существу», а не формально, вызывают свидетелей, значит, все будет в порядке.

Секретарь не обманул. Второй раз суд собрался через три недели. Это был конец января 1936 года. Повторилась та же церемония сборов, я опять твердила адреса. Но наш новогодний восторг немного поулегся, и Раиса Осиповна уже слегка покачивала головой:

— Что они еще скажут, ваши свидетели? А если на них поднажмут? Ведь вот ваша Леля Селенкова…

— Да нет, что вы. Там было совсем другое: у нее допытывались о каком-то конкретном разговоре и говорили, конечно, что я сама «созналась». А я и не вызывала ее. Зачем этим людям меня чернить? Ведь они все люди порядочные, знают меня. Их можно было и не вызывать, это я попросила.

Во второй раз наших родных в здании трибунала уже не было, очевидно, им не сказали. Ввели нас в ту же самую пустую залу. Секретарь объявил: «Суд идет!» И тут ждал первый сюрприз, который больно кольнул в сердце дурным предчувствием. Судьи вошли, но не те, которые были в прошлый раз. Из тех был только один — седой, с тиком. Двое были новыми — значит, они не слышали того, что я говорила. А тот, который слышал — злой и неприятный, он не станет меня защищать. Сердце у меня упало… И я не ошиблась.

Секретарь стал читать протокол прошлого заседания суда. Я ушам своим не верила! Он читал то, чего я вовсе не говорила: что я утверждала, что мое дело «состряпано» на основании якобы болтовни, а болтовня эта была просто шуткой с моей стороны.

— Я же совсем не так говорила! — воскликнула я.

— Подсудимая, — председатель постучал карандашом по столу, — вам слова не давали. Будете говорить, когда дадут.

Сердце у меня сжалось еще сильнее. И вот — второй сюрприз. После чтения протокола председатель велел вызвать первую свидетельницу… Ольгу Селенкову.

— Лельку? Да разве я называла ее?

…И вот она стоит, смущенная и хорошенькая, в своей

беленькой заячьей шубке, пушистые золотые волосы выбились из-под белой шапочки. Она старательно водит пальчиком в белой перчатке по спинке стула и говорит с бесконечными паузами:

— Я точно слов не помню… но смысл был такой. Женя пришла домой сердитая и замерзшая. А когда гроб с телом товарища Кирова выносили из Таврического и процессия двигалась по Кирочной улице… Людей загоняли во дворы… То есть прохожих, чтобы не мешали… А за гробом шел товарищ Сталин… Женя тоже была на улице, и ее тоже загнали во двор… Пока проходила процессия… И она озябла… А когда пришла домой, то сказала, что все это из-за Сталина… И лучше бы его убили, чем Кирова…

«Боже мой, боже мой, что за бред! Лелька, неужели ты не помнишь, как мы стояли вдвоем на подоконнике в зале и через открытую форточку смотрели через Неву на кусочек Кирочной улицы, который открывался в пролете какого-то переулка недалеко от Литейного. И было видно, как по Кирочной медленно движется процессия, а по всему Ленинграду гудят гудки всех заводов — жалобная, надрывающая сердце траурная симфония гудков. Неужели ты не помнишь, как мы стояли на окне, обнявшись, чтобы не свалиться с подоконника, стояли и слушали?»

— Подсудимая, вы подтверждаете показания свидетельницы?

— Нет, ничего подобного не было.

— Значит, это ложные показания?

Я теряюсь: ведь за ложные показания судят?

— Не знаю… Может быть, ей кажется, что было так. Но она ошибается. Я была дома… Лелька, ты вспомни!

— Подсудимая, вы должны только отвечать на вопросы. Свидетельница, вы свободны.

Лелька выходит, не взглянув на меня. Это потом я узнаю, как ее допрашивали на Гороховой, читали мои показания о «террористических разговорах» с ней во время убийства Кирова. А когда Лелька таких разговоров вспомнить не могла, ее заперли в комнате и пригрозили, что не выйдет оттуда прежде, чем не «вспомнит». Она просидела там до позднего вечера и в конце концов «вспомнила».

Ну а если бы «не вспомнила»? Изменило бы это мою судьбу? Вряд ли. А ее? Она была уже на последнем курсе химического института, комсомолка. Могу ли я осуждать Лельку? Тем более что сама, по собственной глупости запутала ее в свое дело.

Через многие годы, после реабилитации, мы с ней снова сблизились, конечно, не так, как в дни нашей юной дружбы, но моего дела и суда никогда не касались. И про жизнь мою в

лагерях она тоже ничего не хотела слышать.

Следующим свидетелем оказался Гладкий, мой бывший начальник на маршруте «Беломорканала». Там он превозносил до небес мои экскурсоводческие и литературные таланты, дружески болтал со мной при каждой встрече и чуть ли не умолял на будущий год ехать только на его маршрут. В конце сезона он рекомендовал меня на курсы усовершенствования экскурсоводов.

Здесь Гладкого как будто подменили. Он держал себя уверенно и развязно, не стесняясь, смотрел на меня в упор. Ведь он и сам был прокурор!

— Федорова была отличным экскурсоводом, — заявил он. — Поверьте, товарищи судьи, что если бы она в своих лекциях (а я их контролировал) допустила хотя бы один антисоветский выпад, то оказалась бы здесь год тому назад.

У меня кольнуло в сердце от дурного предчувствия…

Гладкий продолжал:

— Но вот просматривал я гранки туристического справочника, который было поручено составить Федоровой, и взяли меня сомнения… Было ли это простым недопониманием? Вот тут есть место… Разрешите зачитать?

Ему разрешают, и он зачитывает что-то насчет сооружения канала, о какой-то пострадавшей деревне, целиком затопленной, жителей которой пришлось переселить в другие места.

— Тут явно чувствуется нездоровый душок: сочувствие мелкообывательскому крохоборству. Я в рукописи отметил. И еще есть несколько таких скользких местечек и мыслей. Справочник должен подлежать солидной, очень солидной переработке и, скорее всего, вообще не выйдет.

Очень довольный своей бдительностью и дальновидностью, мой «свидетель» также поведал суду о том, что Федорова ратует за «врастание кулака в социализм», что она пыталась «протащить» эти идеи… в справочник для туристов, но он, Гладкий, вовремя это заметил.

Я была поражена, увидев вместо добродушного и всегда доброжелательного Льва Самуиловича совершенно другого человека… Таков был мой второй «свидетель», на которого я ссылалась как на человека, который может заверить, что я не способна быть преступницей!

Гладкого отпускают, не спрашивая меня, согласна ли я с мнением свидетеля.

Приглашают третьего и последнего — Ганина.

«Вызвали! Слава Богу!» В моей душе снова вспыхивает надежда. Но для того, чтобы понять почему, сначала надо рассказать о том, кто такой был Ганин, и опять совершить экскурс

в далекое прошлое…

Я встретилась с ним в тот самый год, когда в «Артеке» впервые открылся пионерский лагерь и когда мы с мужем, юные, влюбленные и счастливые, свободные от житейских забот, бродили по Южному берегу Крыма. Мы случайно попали в «Артек», влюбились в него и, найдя в парке, поблизости от лагеря, великолепную беседку, похожую на боярский домик с башенкой и балконом, парящим над острыми верхушками кипарисов, никого не спрашивая, поселились в ней.

Рассказывали, что ее бывший владелец — Винер — вывез эту беседку с Парижской выставки. Теперь она стояла, совершенно заброшенная, на уступе скалы, на поляне, окруженной кипарисами и ливанскими кедрами. Только что открывшийся детский лагерь был результатом забот и хлопот добрейшего пожилого доктора Федора Федоровича Шишмарева. Это был поистине благословенный уголок страны, с тенью терпентиновых рощ и ароматом магнолий, с морской синевой под жарким южным небом.

Три палатки «Артека» стояли далеко внизу, а за ними расстилалась морская гладь. Вдалеке в море четко вырисовывались две живописные скалы — Адолары. На каменном крылечке, обращенном к морю, даже в жару было прохладно. В первом этаже никто не жил, на втором обитали мы. Мебели у нас никакой не было, кроме единственной табуретки да самодельного мольберта. Постель была из мягкого душистого сена, занимавшего целый «альков» в крестообразной светелке. По стенам мы развесили кедровые ветки с экзотическими когтистыми шишками.

В тот год в «Артек» приезжал Зиновий Петрович Соловьев — заместитель наркома здравоохранения, который вместе с доктором Шишмаревым и высмотрел это райское местечко для детской здравницы. Макаша написал маслом поясной портрет Соловьева, заработал 20 рублей, и, кроме того, пока он работал, мы оба получали бесплатное питание в лагере.

С работой никто не торопил, Соловьев уехал, и Мак дописывал детали уже без него, по фотографии. Жили мы припеваючи на всем готовом, бродили по горам, купались в море, а вечерами сидели у лагерного костра и слушали рассказы доктора, много повидавшего в жизни и умевшего увлекательно рассказывать о прошлом.

В лагере был очень интересный и симпатичный повар Антоний Янович, еще молодой, лет 30, человек, который раньше был морским коком, объездил чуть ли не весь свет, однажды выиграл в Монте-Карло 100 тысяч за одну ночь, а за другую

спустил все до копейки. Может быть, это были просто «морские байки», кто его знает! Во всяком случае, рассказывал он их мастерски.

Антоний Янович был худ и поджар — с типичным поваром никакого сходства! Прыгал с отвесных скал Аю-Дага вниз головой с такой высоты, что сердце замирало, — не у него, конечно, а у зрителей. Поваром он был тоже отличным.

Помню, как однажды, зайдя к нему на кухню (Антоний Янович был тогда единственным поваром «Артека», а простота нравов в лагере — еще девственной), я попробовала вареное мясо, которое он пропускал через мясорубку.

— Ой, Антоний Янович, оно же у вас сырое!

Он взял щепотку мяса, растер ее между пальцами и ответил:

«Ничуть. Оно просто недосоленное», после чего посолил мясо, перемешал и дал мне снова попробовать.

На на этот раз оно действительно оказалось вполне готовым и на редкость вкусным. С тех пор у нас появилось в обиходе новое выражение: «Попробуй пальцами на вкус». Мы подружились с поваром Антонием Яновичем, и Мак дважды писал его портреты. Лицо у него было очень выразительное, удлиненное, с чуть искривленным носом, похожим на турецкий ятаган. Один портрет Мак подарил ему, а другой долго красовался в нашей ленинградской комнате и, к сожалению, пропал при переезде в Уфу.

Понятно, что в «Артеке» у нас не было проблем с питанием. Суп к обеду мы приносили в какой-то глиняной посудине, похожей на греческую амфору, которая оказалась в кухонном арсенале Антония Яновича, а второе — в алюминиевой миске из нашего походного снаряжения.

…Портрет З. П. Соловьева, написанный Маком, долгие годы висел в артековском музее. Только когда в 1937-м или в 1938 году «оказалось», что инициатором и основателем «Артека» был не кто иной, как сам Сталин, а не Соловьев с Шишмаревым, портрет убрали, и куда он девался, никому неизвестно!

Хотя мы жили на полном пансионе «Артека» и нам, по существу, ничего не было нужно, все же, когда у нас завелись какие-то деньги, полученные Маком за соловьевский портрет (пришли мы в «Артек» из Симферополя пешком и без копейки в кармане), мы начали совершать походы на Гурзуфский базар, то за фруктами — абрикосами, персиками, виноградом, то за чем нибудь из «канцелярских принадлежностей», то за кистями или красками.

Мак не любил отрываться от живописи, которой он посвящал львиную долю своего времени, и вообще был немного тяжел на

подъем, поэтому в закупочные экспедиции обычно отправлялась я. Нагрузив свой рюкзак фруктами, купленными в Гурзуфе, я тихо плелась по раскаленной дороге, которая вела мимо татарского кладбища к нашему «Артеку». У низкой кладбищенской ограды стоял полуголый загорелый человек в трусах и в бинокль пристально разглядывал море. Рюкзак оттягивал мне плечи, руки были заняты кульками с виноградом и грушами. Поравнявшись с человеком с биноклем, я его окликнула:

— Будьте так добры, не положите ли вы мои груши в рюкзак?

— Давайте попробую.

Он начал было засовывать груши в рюкзак, но тут же остановился:

— Куда вы идете?

— В «Артек».

— Так нам по пути, я из Суук-Су. Снимайте рюкзак!

Просить я себя не заставила. Так состоялось наше знакомство. Это был Анатолий Андреевич Ганин. Он проводил меня до самого «Артека», до нашей боярской беседочки, и просидел на крылечке, болтая со мной и с мужем до самого вечера, пропустив свои и обед и ужин. Как-то уж очень хорошо и просто нам болталось.

Он восхищался нашей бродячей беззаботной жизнью, а в нас нашел благодарных и любопытных слушателей своей и в самом деле неординарной истории — истории борца за революцию, за молодую Советскую республику.

Для нас он стал первым живым героем, которого мы видели воочию. Был он лет на 20 постарше меня, но, учитывая, что мне не исполнилось и 19, еще, конечно, не стар. Нам он был очень интересен и приятен, и, познакомившись с этим человеком ближе за два проведенные с ним дня, мы с Маком между собой в шутку нарекли его Ганичкой. Однако позже это имя как-то пристало к нему, и он безропотно отвечал на него, когда я его так называла.

За эти дни мы узнали многое о его необычной жизни. Молодость его пришлась на время революционных брожений в России. Он был сыном царского генерала и еще до революции окончил юридический факультет Томского университета, где и начал увлекаться революционными идеями, а потом и деятельностью. За это его дважды пытались исключить из университета, и только благодаря связям отца-генерала ему удалось закончить университет.

В революцию Ганичка поверил фанатично и, когда она грянула, сразу же пошел ей служить. Он прошел всю Гражданскую войну, сражаясь на фронтах от Урала до Сибири и от Волочаевки до Черного моря, и рассказывал о ее всевозможных эпизодах

увлекательно, с подъемом, но без ложного пафоса и рисовки.

Когда Гражданская война закончилась, он, член партии и кроме того, настоящий юрист с высшим образованием, которых было очень немного в первые годы существования советской власти, естественно, стал видной фигурой в юридическом мире. В то время, когда мы познакомились, он был членом ВЦИКа и занимал какой-то ответственный пост в Наркомюсте, а теперь отдыхал в доме отдыха ВЦИКа. О своих «вциковцах» Ганин отзывался достаточно иронически: «Заелись, барахлом обросли! Сами скоро в буржуев переродятся!»

В доме отдыха ему было скучно, и до встречи с нами он радовался, что срок его путевки кончается и скоро нужно уезжать. Но теперь Ганичка уже жалел, что должен ехать, и досадовал, что наше знакомство произошло так поздно, накануне отъезда.

На другой день он пришел снова и весь этот последний день провел у нас. Принес с собой бутылку чудесного вина, кажется, крымский мускат. Вино было, наверное, дорогое, мы, безденежные студенты, никогда такого и не пробовали. Было опять весело и интересно.

Потом Ганичка уехал. Был он в то время, как выяснилось, одним из заместителей Н. В. Крыленко. Так с «Артека» началась наша многолетняя дружба, хотя виделись мы за это время очень редко. В следующий раз мы встретились с ним только через пять лет, когда муж окончил архитектурный факультет Академии художеств и мы по распределению уезжали в Башкирию. Но все эти годы между нами не прекращалась переписка.

Письма приходили нечасто, но они были огромными, по 10–15 страниц, интересными по содержанию и наполненными не столько описанием событий, сколько раздумьями по поводу виденного, читанного, пережитого. Переписывалась с ним в основном я. Может быть, потому, что всегда была склонна к эпистолярным излияниям, и у него тоже, очевидно, имелось такое же желание. Кроме того, я чувствовала простое человеческое расположение к нему и мне было интересно с ним переписываться.

За те пять лет, что мы не виделись, произошло много серьезных событий, в корне изменивших жизнь Ганина. Вскоре после нашего знакомства от него ушла жена — его боевой товарищ, прошедшая с ним фронты Гражданской войны. По-видимому, он очень любил ее и тяжело переживал разрыв. Но это больше читалось между строк. Ныть и жаловаться Ганичка не любил.

Потом он сошелся с какой-то молоденькой девушкой-комсомолкой. Его всегда тянуло к молодежи, к ребятам,

пионерам, которым он отдавал очень много времени, — был «шефом» каких-то лагерей, и ребята в нем души не чаяли. Из этой комсомолки он мечтал сделать человека содержательного, духовно развитого, дать ей образование, воспитать в своем духе…

Но не получилось. Может быть, слишком велика была разница в возрасте, может, он слишком подавлял ее своим авторитетом, принципиальностью и безапелляционностью. В общем, она родила ему дочь и ушла от него. Трехнедельную девочку Ганичка забрал к себе. Молодая мать, очевидно, решила, что ребенок будет только стеснять ее в дальнейшей жизни, и охотно отдала дочку отцу.

Ганичка влюбился в маленькую дочку, и вся его жизнь обрела единый смысл и единую цель — вырастить это крошечное теплое существо и воспитать умного, мыслящего, содержательного человека — свой образ и подобие. У Ганички были, несмотря на его высокое положение и достаток, свои «железные» принципы. Он был против всяких прислуг и домработниц. Растил девочку самостоятельно, признавая только общественные формы заботы о детях, в данном случае ясли. Дома же он сам кормил ее, сам купал и сам стирал пеленки.

Как раз вскоре после рождения Мальки — так он звал ее, от слова «маленькая», хотя настоящее имя девочки было Мая, Ганин был назначен наркомом юстиции Казахстана и увез с собой в жаркие края, где буйствовали песчаные ветры и все еще орудовали басмачи, новорожденную дочку, которую приходилось выкармливать из бутылочек.

Все это я знала из его писем. Письма из Казахстана были повестью о трудностях и ужасах насильственного становления советской власти в диком краю, о страшной и беспощадной борьбе с басмачами и о маленькой дочке, в которой постепенно пробуждалось человеческое сознание. А потом я получила письмо, где он писал, что устал от юриспруденции и она стала ему претить, и о том, что, как ему кажется, этап, когда надо было «бороться за революцию» и уничтожать ее врагов, миновал.

«Уничтожать, уничтожать и уничтожать…» — писал Ганин. Он устал уничтожать. Ему хочется заняться чем-нибудь другим. Что-нибудь «созидать». Стать рабочим у станка и вытачивать какие-нибудь детали, необходимые для советской индустрии… Словом, Ганин решил сменить профессию. Прежде всего, ушел из Наркомюста СССР. Ушел с грандиозным скандалом, его чуть было не исключили из партии, но в конце концов он на своем настоял. Дело дошло до самого Сталина, и Сталин вызвал его «пред свои очи». Но, как говорится, нашла коса на камень. Ганин подтвердил свое окончательное решение — оставить юриспруденцию.

— Можете делать со мной что хотите, но к юридической работе я не вернусь!

Очевидно, даже Сталин понял, что его не переломишь, махнул рукой и, как ни странно, велел отпустить.

Ганичку и отпустили на все четыре стороны. Из наркомов он стал простым заводским разнорабочим, так как никакой технической специальности не имел. Норм он не выполнял — не было ни навыка, ни опыта. Через некоторое время перестало хватать денег… После фешенебельного кабинета и персональной машины с шофером ему не стало хватать пяти копеек на трамвай. А на руках была маленькая дочь.

Он все делал сам: отвозил девочку в ясли, привозил, кормил, купал, стирал. Это был цельный характер, Ганичка ничему не мог отдаваться наполовину — ни революции, ни ребенку. В конце концов он поступил учиться в Военную академию механизации и моторизации Красной армии. Ганин был самым старым курсантом в академии, но учился отлично, несмотря на все свалившиеся на него заботы о ребенке. Он также был единственным курсантом в звании майора (носил два ромба), которое ему присвоили после ухода из Наркомюста. Там у него было звание гораздо более высокое.

Вот как раз в это время произошла моя вторая встреча с Ганичкой. Мак только что окончил Академию художеств по архитектуре и по распределению должен был ехать в Башкирию — в Уфу. Естественно, мы уезжали всем семейством — с мамой, с моим новорожденным сыном Славкой, с собачкой Томочкой — умницей-пуделем, с целой кучей багажа, со всякими картинами, картонками, книгами и баулами. (Дама сдавала в багаж…)

В Ленинграде нас провожала вся шумная семья Селенковых.

Мы решили остановиться на пару дней в Москве, где у нас было много друзей и знакомых, но расположились все-таки у моего брата Ники, который в то время жил в Москве и имел небольшую квартирку около Белорусского вокзала. Туда Ганичка и приехал после занятий в академии вместе со своей Малькой, которой к тому времени было чуть больше годика.

Был уже вечер, и, конечно, мы не успели наговориться, и, так как Мак еще раньше уехал к каким-то своим друзьям, с которыми он обязательно хотел встретиться, я поехала проводить Ганичку, чтобы пообщаться хотя бы в трамвае. По дороге Малька заснула, и так, спящую, он ее бережно раздел и уложил в кроватку. Мы решили поговорить еще немного, ведь кто знает, когда еще придется встретиться!

Мы виделись всего лишь второй раз в жизни, но казалось, что знаем друг друга сто лет. Мы говорили, спорили и опять

говорили без конца, и все было живо и интересно, и давно уже отзвенели последние трамваи, и уже не на чем было добираться домой… Так всю ночь и проговорили, только под самое утро, когда глаза уже начали слипаться, а Ганечке пора было уже собираться в академию (а еще завезти Мальку в ясли), я задремала на несколько минут. Макаша тоже задержался у друзей и приехал только утром. Мама с поджатыми губами молча бросала на нас осуждающие взгляды.

…Потом опять пошли годы переписки. Мы жили в Уфе и Белорецке. После Москвы и Ленинграда было скучновато — не хватало театров, музеев, библиотек, друзей, поэтому, как только кончился обязательный срок работы по «распределению», мы сразу вернулись в Ленинград. Я как раз в то время ждала второго ребенка. Потом Мак получил работу в Москве, и мы переехали туда — во «времянку» на строительной площадке будущего дома. В ней мама, дети и Мак прожили до самой войны…

После встречи проездом в Башкирию характер отношений с Ганичкой несколько изменился. В письмах его вдруг прорвались романтические ноты. Он почувствовал себя неуютно, одиноко, ему безумно захотелось иных отношений, иной ситуации… У него не осталось товарищей, все осудили его «дикий» поступок (как можно бросить юриспруденцию, в области которой он так «нужен и незаменим»?). Он был совершенно одинок. Не было любимой женщины, и ребенок, которому Ганин был беспредельно предан, все же не мог ее заменить.

Впечатлительный Ганичка влюбился в меня… С тем же пылом и с той же отдачей всей души, как и всегда и во всем. Но это было время, когда мои отношения с Маком еще ничего не омрачало и даже мысль о том, что мы можем расстаться, казалась нелепой и дикой. Мне было жаль Ганичку, но я ничем не могла ему помочь. Я только призывала его в письмах к благоразумию и старалась уверить, что рано или поздно он найдет другую женщину и полюбит ее…

Но Ганичка ничего не хотел слушать. Его письма — теперь чуть ли не ежедневные — и пылкие, и горестные, и нежные, и по-прежнему интересные, потому что он сам был человеком интересным, — меня волновали, и сама я ему писала тоже чуть не ежедневно, но мысли уйти от своей семьи у меня не возникало, и Ганичка ни на что не надеялся.

И все же мы встретились с ним в третий, последний раз, и эта встреча была самой продолжительной. Я работала в газетах, много разъезжала по стране, много видела, и «не вполне советские мысли» уже бродили в моей голове. Тут уже были и изгнание из «Артека», и другие литературные неприятности.

Дома, в отношениях с Маком, у нас появились серьезные трещины, и у меня даже возникли мысли расстаться с ним.

К тому времени мы уже довольно давно жили в Москве, я иногда виделась с Ганичкой, и настало время, когда чуть-чуть не переехала к нему… Он испокон веку жил в комнате с крошечной кухонькой, безо всяких удобств, кроме водопровода, и единственной на целый этаж уборной, в старом многоквартирном доме на Вознесенской, недалеко от Арбатского рынка.

Когда я появлялась у него, Ганичка все хотел делать сам — варил пельмени, чистил картошку, кипятил чай, топил печку, не давая мне шевельнуть пальцем, чем, не понимая этого, меня угнетал и раздражал. Угнетал он и безапелляционностью своих суждений и взглядов. И так как, конечно, Ганичка был эрудированнее и образованнее меня, то и спорить с ним мне было очень трудно.

Но я все же спорила, как могла. Я видела ужасные плоды коллективизации, я видела «Артек» с его пустой муштрой и забиванием детских голов попугайскими догмами. Я знала, как делаются газеты, — ведь я сама для них писала. И мы спорили, сидя на полу перед открытой дверцей печки-голландки, балуясь чайком, а иногда и рюмочкой дешевого вина, припрятанного Ганичкой с получки специально для меня. Но мысль остаться с ним навсегда все же была для меня большой проблемой.

На это я так и не решилась. Причин тому было много: многолетняя дружба и любовь к Маку, дети, мама. А самая главная заключалась в самом Ганичке. Его несомненное превосходство во всем, как тогда мне казалось; убежденность в правоте своих взглядов и действий, железная логика — все это казалось теоретически правильным, но все же чувствовалось, что в его железной логике не хватает чего-то самого главного — простого, человеческого, а не «политического» отношения к людям, понимания тягот их жизни и слабостей, которых он не признавал и не умел прощать…

Меня это угнетало и создавало постоянное ощущение, что с ним что-то не так… Я восхищалась им искренне и восторженно как кристально честным, целеустремленным человеком, но понимала и то, что одного этого для семейной жизни недостаточно, и побоялась связать свою жизнь с ним. Так у нас ничего и не получилось. Мы расстались…

После моего «террористического» процесса Ганина вскоре исключили из партии. Он так и не сделал никакой технической карьеры, стал страдать какими-то невероятными головными болями и ушел на инвалидность с мизерной пенсией. Я знала, что это человек, который не то что в слове, но и в мыслях не может

допустить ни малейшего компромисса с неправдой. И он знал все мои мысли и всю мою жизнь. И то, что я не стала его женой, не имело никакого значения. Я была уверена, что Ганичка скажет обо мне только правду.

Таков был мой третий и последний свидетель.

— Майор Ганин, как давно вы знаете подсудимую?

— Я знаю Евгению Николаевну Федорову давно, с 1925 года.

— Как близко вы ее знаете?

— Я знаю ее очень близко. Это единственная моя беспартийная знакомая. Больше, чем знакомая, это мой близкий друг.

Дальше Ганичка рассказывает о том, что ему отлично известны моя, как он выразился, «интеллигентская мягкотелость», колебания, недопонимание: «Из-за деревьев, бывает, и леса не видит, но в целом свой, советский, абсолютно честный человек». И если я находилась под чьим-нибудь влиянием, то именно его, Ганина.

Он достает солидную пачку писем. (Значит, перечитывал, готовился, я же знала!)

— Вот она пишет — у меня хранятся ее письма за много лет, — она пишет в одном из них: «Хотя я и не член партии, но мне кажется, что каждый честный человек в душе считает себя коммунистом».

Наконец я перевела дыхание. Не поверить ему было невозможно. «Не могло быть на свете человека, — думала я, — в душу которого закралось бы сомнение в искренности и правдивости его слов, хотя говорил он без всякого пафоса, четко и прямо».

Ганичку прерывают. И прерывает тот, с тиком:

— Майор Ганин, — медленно произносит он, глядя куда-то в пространство, — вы можете ПОРУЧИТЬСЯ, что подсудимая не совершила преступления против советской власти?

Наступает молчание, и воцаряется такая тишина, что мне кажется, будто на весь зал слышно, как бухает мое сердце. Наконец Ганичка начинает говорить. По-военному подтянутый, стройный и красивый в своей форме, которая ему так идет, он стоит на трибуне и отвечает четко и ясно, в меру громко, не торопясь.

— Товарищи судьи, вы сами понимаете, что в наше время никто ни за кого ручаться не должен.

— Ганичка, что ты говоришь? — вскрикиваю я.

— Подсудимая недопонимает… — Ганичка делает какой-то жест в мою сторону и что-то, по-видимому, объясняет, но я уже ничего не слышу и ничего не понимаю. «Как? Даже ты,

честнейший, благороднейший, принципиальный, не можешь ручаться за меня?! Или ты в самом деле можешь поверить, что я совершила преступление?»

Потом, спустя годы, я поняла, что, ответь Ганичка иначе, он все равно ничем бы мне не помог, только себе бы сильно навредил. Да, он понимал это, он был юрист и коммунист и знал, какого ответа требовала от него его партийная этика. И в тот момент руководствовался не страхом за себя, а этой самой партийной этикой, предписывавшей «ни за кого не ручаться», особенно в период «острой классовой борьбы». Но это я поняла потом, а сейчас мне вдруг стало все равно. Я поняла, что все кончено, мы будем осуждены!

Но разве это важно теперь?.. Мысли мои скакали, и я уже не могла связно думать ни о его ответе, ни о суде. Ничего ясно не воспринималось, и оставшуюся часть судебного заседания я провела словно в тумане. Ганичка был отпущен. Он вышел твердым военным шагом и на меня даже не взглянул.

Дальше все пошло совершенно так же, как шло на следствии. Инициативу взял в свои руки судья с тиком — недаром я предчувствовала, что именно он несет нам беду. Снова началось толчение воды в ступе вокруг моих «террористических» фраз.

— Вы говорите, что не думали совершать преступление, — глубокомысленно изрек человек с тиком. — Но кто-нибудь мог услышать ваши слова, вы могли кого-то натолкнуть на мысль, подать идею! Об этом вы не подумали?

Нет, об этом я не подумала. Я знала, что все кончено, и отвечала тускло и односложно. Не все ли теперь равно? Юрка сначала пытался что-то доказывать. Но все это было ни к чему, и мы это чувствовали. Нам дали последнее слово, но ни я, ни Юрка уже не знали, что говорить. Я что-то сказала о том, что мы не считаем себя виновными в политическом преступлении, но виновны в легкомысленной болтовне, которая, как оказалось, может быть истолкована как политическое преступление. Это уже от нас не зависело, и с этим мы ничего поделать не могли.

Суд удалился на совещание, и мы с Юркой остались вдвоем, не считая наших конвоиров. У Юрки на щеках горели яркие красные пятна величиной с медный пятак.

…Мы сидели подавленные, и ни о чем не хотелось ни думать, ни говорить. Но время шло, а судьи все не возвращались. Тревога росла, мы начали ожидать самого худшего…

Я, как могла, старалась приободрить Юрку:

— В конце концов, не могут же расстрелять обоих!?.. Тебя-то ведь ни в чем особенном и не обвиняли… Ведь ясно, что главная героиня — я. Ты вскоре вернешься домой, я уверена! Ну а я…

Если меня…То и с Маком тоже может что-то случиться. Ты тогда, когда вернешься, позаботься о маме и ребятах… Они же совсем маленькие… — говорила я не совсем связно.

Мы просидели на своей скамье часа два. Мы устали, как-то отупели и даже о возможном расстреле стали говорить спокойно. Мы понимали, что ни от кого больше ничего не зависит. «Мясорубка» завершает свой цикл.

Наконец на авансцену вышел секретарь и объявил:

— Приговор будет объявлен завтра!

На этот раз мы не смеялись в своем подвальчике. Мы сидели тихие, уставшие, опустошенные. Значит, это будет «плохой» приговор, если его надо с кем-то или с чем-то согласовывать. Мы уже почти не сомневались, что это будет расстрел… Ну да ладно, что будет, то будет.

И в моей камере тоже уже никто не радовался и не ждал ничего хорошего. На другой день со мной прощались уже навсегда, понимая, что в эту камеру меня больше не приведут. Я и до сих пор не могу понять, зачем надо было откладывать на сутки вынесение приговора? Что нужно было выяснять в деле, в котором и без того все было ясно как стеклышко?

Не могли же на самом деле не видеть эти убеленные сединами люди, что перед ними не политические преступники, а попавшиеся на «крючок» наивные люди, что все следствие — фарс, а обвинение — чепуха? Если же они ЗАРАНЕЕ знали, что должны нас осудить, то неужели не была уже известна и согласована мера наказания? Зачем была нужна отсрочка? Чтобы испытывать наши нервы? Что мы им? И какое им дело до наших нервов?

Я не могу поверить, что у судей могли возникнуть какие-нибудь разногласия… Вряд ли кто-нибудь из них осмелился бы противоречить другим, если бы вдруг возымел «крамольное» желание защищать меня… Вот эта отсрочка, пожалуй, и осталась единственной загадкой из всего моего процесса. «Тайное», которое никогда не стало «явным».

Итак, на другой день утром нас в третий раз привезли на Арбат. Опять, в том же подвальчике, в томительном ожидании мы просидели чуть ли не до самого вечера. Когда уже подкрались ранние зимние сумерки и воздух за окном посинел, нас наконец повели в зал. На этот раз судьи не уселись за стол, а каждый встал за своим стулом. Главный судья ровным голосом, безо всякого выражения, прочел приговор:

— Федорова Евгения Николаевна, 1906 года рождения, ранее не судимая, происходящая из дворян, в прошлом близкая семье князей Щербатовых, расстрелянных по Савинковскому делу…

Я старалась слушать внимательно, но мысли разбегались, и я не могла сосредоточиться.

— Следствием установлено террористическое высказывание, направленное против вождей партии и правительства, имевшее место в Ленинграде, позже повторенное в Москве…

(«Как — повторенное? Что я повторяла?»)

— На основании изложенного и учитывая социальную опасность подсудимой, суд квалифицирует ее преступление по статье уголовного кодекса 58-8 через 19 как намерение совершить преступление и приговаривает к восьми годам исправительно-трудовых лагерей без конфискации имущества ввиду отсутствия такового у подсудимой.

— Подсудимый Соловьев Юрий Александрович, 1912 года рождения, ранее не судимый, приговаривается по статье 58–14 за недонос к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Обвинение по статье 58–10 за недоказанностью снимается. Кассационная жалоба может быть подана в течение 24 часов.

Ну что же вы, идиоты? Радуйтесь, танцуйте! Не расстрел же! И даже не десять лет, а только восемь! И имущества, слава Богу, нет, конфисковывать нечего! Тут бы и улыбнуться!.. Но ВОСЕМЬ лет лагерей! А как же дети? А у Юрки и вообще смехота — всего три года! Радуйтесь, дураки!

Так нет же, не так устроен человек. Только что ждали расстрела, а теперь восемь лет вдруг хлещут нестерпимой обидой. Да даже и не восемь лет, это еще нереально, нематериально, это еще вообразить невозможно — восемь лет! Нет, другое возмутительно обидно и непереносимо: что это такое — «намерение совершить преступление»?

— Какое «намерение»? — кричу я на весь зал. — Меня никто не обвинял в «намерениях»! Меня обвиняли в «высказываниях», а не в «намерениях»! Это ложь!

Судьи что-то говорят секретарю, и вся тройка удаляется за кулисы, не взглянув на нас, словно не слыша моих истерических выкриков. Юрку бьет нервная дрожь. Он получил «всего» три года за «недонос на меня», но его это не утешает. Три года лагерей!.. Вот тебе и МИИТ!.. Вот тебе и шахматы!.. Москва, театры, девушки… Три года, а потом что?..

К нам подходит секретарь:

— Успокойтесь. Если вы не согласны с приговором…

— Конечно, не согласна!

— Если вы не согласны с приговором, вы можете подать кассационную жалобу. Это ваше право. Хотите сейчас написать?

— Да, конечно, сейчас же!

Мне дают бумагу, и я пишу — криво, косо, без точек и

запятых, одним духом. Я требую, требую (!) пересмотра дела. Как могут приговорить за то, в чем меня даже и не обвиняли? И пока я пишу, мне кажется, что из всего написанного совершенно ясно, что приговор мой — чудовищное недоразумение, и я опять вопреки всему начинаю верить в то, что эта таинственная и могучая «кассация» отменит приговор, мы окажемся на свободе, и все станет только кошмарным воспоминанием, как дурной сон…

Маму на допрос не вызывали. О моем аресте ей сообщил Юра Ефимов, который привез в Москву моего сына Славку. Мама в панике и отчаянии ломала голову: «Как, что могло случиться? За что могли арестовать Женечку?» Строила самые невероятные догадки:

— Женя провожала людей в горы, давала им карты, кроки. А что, если среди них оказались шпионы?.. Нет, она не могла быть замешана в какое-то дело, в какую-то организацию, Женя была далека от политики, работала всегда честно и добросовестно… Вот только вздор всякий болтали, особенно с Юркой. Как сойдутся, так и начинается! Анекдоты без конца! И такую чушь несут, что уши вянут, ведь у Юрки язык без костей! «За сколько Николаева наняли Кирова убить? За 100 тысяч они бы нанялись». Ведь надо же такую чушь городить!»

— Неужели так и говорили? — ужаснулся Юра Ефимов.

— Ну, может быть, и не так, я уж не помню, только что-то про Кирова и 100 тысяч болтали. Да ведь это же — с Юркой! Говорила я им — доболтаетесь!

— Неужели она еще с кем-то болтала? Вы говорите, нет?

— Ах, этот Юрка! Без хохмы минуты прожить не может, ну вот, и она за ним следом. Но что же все-таки случилось, что?

— Стараюсь узнать, но пока безуспешно…

В другой раз, когда он снова появился у мамы и спросил о письмах, она ответила:

— Вы спрашиваете, есть ли у меня ее письма? Да, все письма из Красной Поляны, к счастью, у меня остались. «Они» приехали и спросили, где Женины вещи. А какие у Жени вещи? Только рукописи в письменном столе. Ну их и забрали, обыска никакого не делали и о письмах у меня не спрашивали.

На другой день после разговора с Юрой Ефимовым «они» приехали опять и очень деликатно спросили, нет ли у мамы еще каких-нибудь рукописей или, может быть, писем от дочери? Пораженная мама отдала письма. А Юра Ефимов, который до этого приходил ежедневно, исчез, как в воду канул… Странное совпадение!

Маме стало не по себе: «Господи, уж не арестован ли тоже?

Или… Да нет, что я! Так ведь и помешаться можно!»

Наконец Юра Ефимов появился. У него был вид сумасшедшего. Осунулся. Взгляд дикий, волосы растрепаны, говорит бессвязно, хватает маму за руки:

— Вы понимаете, что ей грозит расстрел! Я узнал… Послушайте, я знаю, она мне рассказывала, Ганин — близкий ее друг. Съездите к нему, умоляю, съездите! Он что-то может сделать, у него связи. Пусть вмешается Крыленко, Ганин может его попросить. Умоляю!

Юра убегает, не простясь, а мама медленно стынет в ужасе…

Глава 6
Пересылка

Пересыльные камеры Бутырской тюрьмы помещались в бывшей церкви. Каждая из них представляла собой сектор круга, а «центр» — общий «холл», куда выходили все двери. Таким образом, любая камера представляла собой длинную комнату, расширявшуюся от двери к окнам.

У двери стояла громадная, величиной с 20-ведерную бочку, деревянная параша. На «оправку» выводили только два раза в сутки — утром и вечером, и при «населении» камеры примерно в 200 человек она — параша — всегда была занята.

По стенам с каждой стороны шли широкие сплошные нары, на которых вплотную друг к другу лежали и сидели люди. Посредине камеры стояли длинный некрашеный стол и вдоль него — такие же скамейки. В конце стола к нему было приставлено несколько столов поперек, на которых тоже лежали люди — нар на всех не хватало… Очевидно, камера предназначалась человек на 40–50, но уже в то время она была «перенаселена» до отказа.

Люди «жили» на нарах, под нарами, на столах и просто на полу в проходах. Два узких, но высоких, состоящих из маленьких стекол окна были забраны густой решеткой. Стекла от времени так потемнели и покрылись таким плотным налетом пыли, что свет едва проходил в камеру. Электрические лампы горели днем и ночью. В окнах открывались фрамуги, и это было главным «камнем преткновения», причиной грандиозных ссор и истерик, которые вспыхивали то тут, то там по несколько раз в день.

Несмотря на высокий потолок, кислорода не хватало для 200 легких. Люди в дальнем краю, возле параши, задыхались от вони и духоты и требовали открыть фрамугу. Лежащим под окном было холодно, и они ее закрывали. Ведь никаких матрасов и одеял не выдавали — все пользовались только собственными вещами, которые передавали родные, — теми, что разрешалось взять с собой в камеру.

Когда я переступила порог «пересылки», меня охватил ужас. Мне почудилось, что меня втолкнули в камеру для умалишенных. Стоял невообразимый гвалт, казалось, все 200 человек вопят разом. В одном месте на нарах, в бледно-голубой шелковой рубашке, с газовым шарфом в руках, танцевала стройная девушка, поднимавшаяся на пальчиках, как настоящая балерина. Потом я узнала, что она действительно настоящая балерина, приехавшая

из Харбина и схваченная по «делу КВЖД», — Леля Дэле.

В другом углу группа женщин, сидевших по-турецки на нарах, покачиваясь, тянула заунывную песню. Кто-то вычесывал частым гребнем длинные волосы, расстелив полотенце на коленях. У окна происходила свалка. Кто-то карабкался на решетки с намерением открыть фрамугу, но другие с отчаянной бранью стаскивали влезающего на окно человека за ноги. Как потом я узнала, в нашей камере не было «урок» — только «политические», но из очень разных социальных прослоек. Сочный женский мат, услышанный впервые, неприятно оглушил меня.

Кто-то за кем-то гонялся вокруг столов и злобно выкрикивал:

— Погоди, сука! Я тебя достану!

Конвой не вмешивался ни во что, и даже глазок в двери почти никогда не приоткрывался.

Еще в «собачник», куда меня запихнули по приезде из суда, принесли мои вещи из старой камеры. Теперь втолкнули в новую, и дверь за мной со скрежетом захлопнулась. Я стояла у двери, обхватив свой узел двумя руками, не зная, куда приткнуться.

Большинство не проявляло интереса к «новенькой», но несколько человек все же окружили меня, посыпались вопросы:

— По «особому»?

— Три?.. Пятерка?..

— По какой статье?

Когда же я ответила, что меня судил военный трибунал, интерес ко мне сразу возрос.

— Тише вы, девчонки! — крикнула какая-то женщина, пробиваясь ко мне, — дайте с человеком поговорить!

Но «девчонки» не унимались, и камера шумела, как потревоженный улей.

— Террористка?.. Ого!

— Эй, вы, в углу! Еще одна террористка! Идите сюда!

— Только восемь?.. Тут что-то не так! А лишения? Лишения есть? — надрывалась женщина с нар, стараясь перекричать других.

Я чувствовала, что еще немного — и упаду. Все плыло и кружилось перед глазами. Сказывался день, проведенный в непрерывном напряжении, пока мы ожидали приговора, оглушал непривычный шум; запах параши перехватывал горло. Но тут чья-то рука мягко и дружески легла мне на плечо и мелодичный голос произнес:

— Женщины, вы же видите, девочка едва держится на ногах, потом поговорите. Дайте человеку прийти в себя, — и добавила, обращаясь ко мне: — Пойдемте, у нас под нарами найдется

местечко и для вас, там уютно…

Ада Святославовна — так звали мою избавительницу — взяла у меня из рук узел и кивком головы пригласила следовать за собой. Мы пересекли камеру, стараясь не наступать на лежащих на полу людей, и недалеко от окна нырнули под нары, приподняв какую-то юбку или платье, свешивавшееся до пола и изображавшее «дверь» в «нору».

Под нарами было темно, так как все старались чем-нибудь завеситься, но зато сравнительно тихо и действительно «уютно» или вроде этого… Каким-то чудом прикрепленные к «потолку», то есть к нижней поверхности нар платки или юбки, а иногда даже одеяла создавали под нарами что-то вроде отдельных «кабинок» для компаний в несколько человек, которые подбирались по характерам, склонностям, одинаковому уровню развития.

Кроме Ады Святославовны в нашей компании было еще несколько человек, которых я почти не помню, и совсем еще девочка — 18-летняя Танечка Коккинаки. Она была студенткой МЭИТа и училась на одном курсе с сыном Сталина. Танечка имела неосторожность назвать его дураком и получила три года за «дискредитацию семьи вождя»! Это был милый и шаловливый ребенок. Позже я слышала, будто ее отпустили по кассации — за нее хлопотал знаменитый летчик В. Коккинаки, ее дядя. Если это правда, то случай с Танечкой — ЕДИНСТВЕННЫЙ, который я знаю, когда кого-то оправдали по кассации. Но было только начало 1936 года.

Ада Святославовна — тихая, грустная и нежная, совершенно «нездешняя», вся какая-то прозрачная, пленила меня, как когда-то пленяли кумиры детства. Я совершенно по-настоящему влюбилась в нее, ее голос звучал мне музыкой, а шепот заставлял сладко сжиматься сердце. Мы шептались с ней целыми ночами, едва слышно, чтобы не мешать соседям.

Через несколько дней я знала не только «дело», но и всю жизнь Ады Святославовны — незадавшуюся, с большой трагической и неудачной любовью, в конечном счете приведшей ее сюда. Когда был арестован человек, которого она любила самозабвенно, хотя и безответно, Ада Святославовна начала обивать все пороги, доказывала, умоляла, уверяла, что он не может быть преступником, ручалась за него, клялась. В конце концов ее посадили тоже. Следователь сказал ей с издевкой, что не стоит ручаться за любовников и всякую сволочь:

— Мы присоединим вас к делу — вот и увидите своих «невинных агнцев»!

И она увидела. Это был суд над «террористической» группой. На скамье подсудимых сидели люди, которые до этого никогда не

знали и даже не видели друг друга. Люди, которые с изумлением выслушивали оглашение показаний одних на других или обвиняли самих себя в чудовищных и невероятных преступлениях: намерении взорвать поезд со Сталиным или в театре бросить бомбу в ложу «вождя народов», причем подкупленными и втянутыми в «заговор» оказывались чуть не все сотрудники театра, начиная от рабочих в раздевалках до капельдинеров и главного администратора, и т. д. и т. п.

Все это значилось в протоколах допросов, под которыми стояли их собственные подписи. Ада Святославовна не узнала своего любимого — до того он был худ и бледен, с остановившимися, совершенно лишенными сознательной мысли глазами. Он тоже «во всем признался» и вместе с другими «главарями заговора» был приговорен к высшей мере наказания, расстрелу. Остальным дали по десять лет. «За компанию» столько же получила и Ада Святославовна.

Этот первый рассказ я слушала, холодея от ужаса, и зуб на зуб не попадал от нервной дрожи. Значит, не я одна? Значит, произошедшее со мной — не вопиющее и уникальное событие? Как же так? Что это? Опять голова шла кругом! Что происходит в этой стране?.. Потом за восемь лет, обернувшихся десятью, путешествуя этапами от пересылки до пересылки, где все время было «свободным» (от изнуряющей работы в лагерях), я поняла по рассказам других осужденных весь ужас того, что происходило в стране!

Боже мой! Сколько таких рассказов было выслушано, сколько нашептано в длинные бессонные ночи, сколько историй совершенно фантастических, жутких и неправдоподобных, как карикатуры. Но так, как та, первая, больше уже не потрясла ни одна. Некоторые истории выглядели бы даже комично, если бы за ними не стояли живые люди — матери, у которых отняли детей, жены, у которых расстреляли мужей… В 1937 году почти каждое «политическое» дело заканчивалось расстрелом. Невольно возникала мысль: зачем? Кому все это нужно? И почему люди безропотно и с готовностью делают такую ужасную работу?

…Я провела с Адой Святославовной две недели, наполненные таким глубоким проникновением в жизнь друг друга, таким тесным сплочением душ, таким взаимопониманием и доверием, что до сих пор, спустя 30 с лишним лет, мне эти две недели под нарами пересыльной камеры Бутырской тюрьмы представляются счастьем, какого после этого мне испытать, пожалуй, и не привелось…

Вот тогда-то я постигла смысл фразы «Состражду вам я всей душой». Мы не замечали бедлама вокруг — истерического хохота

или рыданий, ссор и виртуозного мата, вони и духоты, отгороженные от всего мира старой юбкой и сообществом двух душ. Эта внезапно вспыхнувшая дружба, эта любовь были мне как бы наградой за все предыдущее. Вспыхнула она ярким факелом, но длилась недолго. Через две недели Ада Святославовна получила ответ на кассацию с обычной формулировкой: «Вина доказана, преступление квалифицировано правильно»… На другой день ее взяли на этап. Больше мы с ней не встретились никогда в жизни.

В пересылке сидели подолгу, потому что заключенные ждали ответов на прошения об обжаловании приговора. Все их подавали и надеялись, что уйдут по «кассации». В глубине души все-таки каждый был уверен, что у всех остальных что нибудь да есть, какой-то пусть случайный, но все же «повод» для ареста, для осуждения, и только ЕГО дело — плод невероятной нелепости, вопиющей несправедливости…

Одна за другой приходили кассации с отрицательным ответом, и людей забирали на этап. И хотя за все два месяца, что я провела в пересылке, не было ни одной кассации, которая отменила бы приговор суда или Особого совещания, я, как и все, была твердо убеждена — тайно, про себя! — что уж по моему-то делу приговор ОБЯЗАТЕЛЬНО будет отменен.

После ухода Ады Святославовны стало томительно и скучно. Книг не давали, разговоры, новые истории ложились на душу, как камни, тяжелым грузом. Одни люди уходили на этап, на смену им приходили «новенькие». Приходили прямо из зала суда или получив постановление Особого совещания, ошарашенные, обалдевшие, еще не верящие в реальность всего содеянного с ними.

Помню одну журналистку, которая пришла поздно вечером. Кто-то потеснился и дал ей место на столе посредине камеры. Она лежала ничком на согнутых руках, тихо, как будто спала, но время от времени вдруг поднимала голову, обводила всю камеру диким мутным взглядом и громко говорила, ни к кому не обращаясь:

— Какой кошмар! Я пропала!

А потом опять опускала голову на руки. И так — всю ночь.

Однажды дверь в камеру открылась и впустила маленькую, изящную, как статуэтка, фигурку. Девушка трепетала от рыданий — таких горьких, каких я еще, пожалуй, не слышала никогда. Казалось, хрупкая статуэтка вот-вот разлетится на тысячу осколков. На все вопросы девушка, рыдая, отвечала:

— Я умру… Я умру… Все равно… Я умру…

Это была Раечка Тэн, кореянка. Позже мы с ней встретились в

лагере и подружились. Нежный цвет лица, коралловые, словно нарисованные, губки, великолепные перламутровые зубы, высокая японская прическа из прямых, словно лакированных, волос — все было восхитительно в этой юной кореяночке, еще почти девочке.

Много позже я узнала ее историю. Она казалась подростком, но на самом деле в то время уже оканчивала рыбный институт. Окончив его, она собиралась вернуться в свою родную Корею, работать, защищать. диссертацию. На родине у нее был друг, которого она любила. И вот — как снег на голову — арест!.. Она получила всего-навсего три года по решению Особого совещания, но тогда ей казалось, что это чудовищно и рушится вся ее жизнь, что, в конце концов, так и было! И она твердо решила умереть.

Девушка объявила голодовку. Ее увели из камеры — это было время, когда тюремное или лагерное начальство еще реагировало на такие акты протеста. Через несколько дней Раечка вернулась, осунувшаяся и увядшая. Что с ней делали, рассказывать не хотела, только, отвернувшись, всхлипывала…

Теперь кореяночка уже не плакала, а сидела и смотрела на нас пустыми, совсем пустыми глазами. Потом привыкла и она…

Попадали в камеру и люди другого склада: энергичные женщины, «активистки», пытавшиеся даже здесь, в камере, что-то организовать, разумно заполнить «досуг». Они выясняли, люди каких профессий населяют камеру, кто о чем может рассказать, пытались организовать чтение лекций и даже «художественную самодеятельность».

Помню, как одна женщина-врач, стоя во весь рост на нарах, читала нам лекцию о гипертонической болезни. К сожалению, хоровое пение в тюрьме запрещалось, но тем не менее наш самодеятельный хор изредка вечерами нарушал тюремные запреты. Иногда посреди «концерта» распахивалась дверь и раздавался окрик:

— А ну, прекратить, бабы!

Тут охранники не звали нас «барышнями», а «гражданками» мы не считались. Обычное обращение было «женщины» или «бабы». Но все же «активистки» умудрялись устраивать целые «вечера» — кто читал стихи, кто пел, а Леля Дэле в своей шелковой комбинации кружилась на пальчиках не хуже, чем в Большом театре.

Один такой концерт «художественной самодеятельности» устроили 8 марта по поводу женского дня. Окончился он трагично. Пожилая врачиха, та самая, которая читала лекцию о гипертонии, вдруг вскочила и неистово закричала:

— Довольно! Довольно! Замолчите! Это же чудовищно!! — и

захохотала диким, истерическим смехом. Потом рухнула на нары и забилась в истерике, какой никогда в жизни мне видеть не приходилось ни до этого, ни после.

Это было как сигнал. Тут же по всей камере — здесь и там — раздались рыдания и крики, кто-то начал рвать на себе волосы, а кто-то надрывно кричал:

— Воды! Воды!

Окрик охранника: «А ну, перестать!»— на этот раз не произвел никакого эффекта. Казалось, прорвалась какая-то гигантская плотина, через которую хлынули неистовой силы потоки, просто волны отчаяния.

Через несколько минут в камеру влетел корпусной.

— Молчать!!! — заорал он бешено. — Из брандспойта окачу!

И это как будто отрезвило женщин, все утихли… Бедная врачиха так и не пришла в себя. Ее увезли в лазарет, и больше я никогда ее не видела. Однако, строго говоря, все же лучше было заниматься «самодеятельностью», хотя бы и в тюрьме, чем заполнять время мелкими ссорами и перебранками, возникавшими из-за томительного безделья.

Молодежь развлекалась по-своему. Рядом с нами была мужская камера. Сначала мы занялись перестукиванием. Здесь, среди общего гвалта, охранники не обращали на это никакого внимания, стучи хоть двумя кулаками! Некоторые хотели выяснить, не сядят ли рядом их однодельцы, которые были у многих, другие — просто завести знакомство или узнать что-либо новое с «воли».

Я скоро узнала, что мой брат Юрка там, за стеной, рядом со мной! Мы стучали кулаками, ложками и ботинками изо всей силы, но так как в этом участвовали сразу несколько человек, то разобрать в конце концов ничего не удавалось, хотя теперь мы уже хорошо знали азбуку.

Потом кто-то из предприимчивых мужчин, а может быть, и женщин умудрился в самом низу стены, под нарами, проделать маленькую дырочку. Через нее довольно хорошо слышался голос, и можно было разговаривать. К дырочке образовывалась длинная очередь. Если бы у нас были бумага и карандаши, мы, несомненно, стали бы в нее записываться! Регламент разговоров пришлось ограничить, хотя и не было часов, чтобы точно отмерить время. Раз или два мне удалось услышать Юркин голос.

Но… аппетит приходит во время еды! Дырку стали расширять. Вскоре через нее проходили папиросы, а потом даже целые апельсины! Мы продолжали получать передачи, так что было чем угостить соседей. Но тут кто-то «стукнул». В один прекрасный день нам с утра скомандовали:

— Соберитесь с вещами!

Когда мы были готовы, нас перевели в другую камеру, этажом пониже.

Камера, видно, долго стояла пустой. Она буквально вся заросла паутиной и грязью. Окна были совершенно черные и не пропускали никакого света. Пришлось попросить воды и тряпок и взяться за уборку. Конвоиры добродушно посмеивались:

— Так, так, бабоньки, старайтесь!

Только к вечеру мы отмыли и оттерли стены, пол и нары. С ссорами и бранью были захвачены «лучшие места». И когда все наконец разместились, снова загремел замок:

— А ну, собраться с вещами!

— Как с вещами?!

— Так, с вещами! А ну, поживей! — торопили охранники. — Пошевеливайся!

Так вот оно что! Нас вернули в прежнюю камеру. Выводили только для того, чтобы заделать дыру под нарами, проделанную с таким усердием, с такими стараниями! А мы-то, дуры, отскребали и намывали новую камеру! Впрочем, всякая работа расценивалась тут как вознаграждение, как радость.

Когда утром открывалась дверь и конвоир спрашивал: «А ну, кто полы мыть?», половина камеры, все, кроме больных и старых, бросалась к дверям, поднимался невообразимый гвалт, все женщины кричали и доказывали, что «очередь» именно ее! А ведь нужно было всего человек 10–12. Но и это казалось счастьем — попасть в их число! Провести время до обеда, по крайней мере, вне камеры, бегать с ведрами за водой в баню, мыть полы в бесконечных коридорах, а иногда и на «вокзале» — в огромном помещении, откуда уходили этапы.

Тут, в пересыльной тюрьме, уже не было такой строгой изоляции — можно было повстречать мужчин, идущих на кухню за завтраком или обедом. Их тоже брали из камер на разные работы. Можно было встретить даже знакомых: я, например, могла случайно столкнуться с Юркой, хотя мы с ним не увиделись ни разу!

После окончания уборки нас водили в баню — можно было лишний раз помыться, да еще как! Не в тесноте, когда приходилось зорко стеречь свою шайку, чтобы ее не увели у тебя из-под носа, а на свободе — вылить на себя хоть десять шаек теплой воды! А главное — время, которое в камере тащилось едва-едва, вдруг стремительно пролетало: не успеешь оглянуться — уже и обед!

К сожалению, попасть на работу было очень трудно — всегда находились более настырные и бойкие, настоящие трудовые

женщины, которые оттирали нас — «интеллигенцию», награждая образными и красочными эпитетами, и пролезали без всякой очереди. Надо отдать справедливость — и с работой они, конечно, управлялись гораздо лучше нас. Но раза два-три и мне все же удалось помыть полы в Бутырской тюрьме.

Несмотря на то что в камере постоянно устраивали обыски — «шмоны», как их называли на жаргоне, просочившемся в тюремный быт из лагерей, все равно каким-то чудом появлялись у нас в камере занесенные кем-нибудь в подкладках пальто, или в волосах, или еще где нибудь огрызки карандашей, иголки и даже осколочки зеркала. При очередном «шмоне» их отбирали, но потом они заводились снова. То же самое было и у мужчин.

Уборная была почтовым отделением. Ежедневно все ее стены покрывались надписями — карандашными или нацарапанными на штукатурке: здесь ли тот-то и тот-то? Передайте тому-то, что такой-то здесь… Приветы, прощания — даже стихи! — все принимали каменные сии скрижали. Время от времени тюремная обслуга их отскабливала и замазывала, но надписи появлялись снова. За трубу, под унитаз засовывались крохотные записочки (бумага ведь тоже была в дефиците), и они всегда находили своих адресатов.

Впрочем, письмо можно было еще получить во время обеда — в каше, ведь мужчин заставляли разносить пищу, и они вносили в камеру огромные баки с супом и кашей. Дежурные раскладывали еду по мискам, и частенько вместе с кашей в них попадали аккуратно свернутые записочки.

— Сидорова, Верка! Опять тебе «твой» пишет! Держи!

Хотя и отправители, и адресаты были «политическими», все эти записочки и сношения были настолько далеки от какой бы то ни было политики, что охранники смотрели на них сквозь пальцы, ничуть не беспокоясь. И во всех пересылках, где бы ни довелось мне побывать потом, а в скольких — и не перечесть, везде на стенах в камерах и главным образом в уборных красовались надписи, которые не успевала соскабливать тюремная обслуга.

…Я страшно устала от вечного шума, духоты и безделья, а кассация все не приходила. Я, как и другие, писала заявления, просила отправить меня в лагерь, на какую угодно работу — ведь «кассацию» могут прислать и туда! Но до получения ответа на кассацию никого на этап не брали.

В один прекрасный день дверь камеры отворилась, и на пороге нашей пересылки появилась… Раиса Осиповна!

— Раиса Осиповна! Дорогая! Родная моя! — Я чуть не задушила ее в объятиях.

Она стала как будто еще меньше ростом, еще больше похудела, побледнела — совсем крошечная белая старушечка. Держалась за сердце и жаловалась, что все время задыхается. Мне удалось устроить ее на столе, недалеко от фрамуги. И все же в первый же вечер с ней случился глубокий обморок. Вызвали медсестру. Она сделала укол камфары, дала Раисе Осиповне валериановых капель, когда та пришла в себя.

— Надо же женщину в лазарет взять, она совсем слабая, — говорили я и еще несколько человек.

Сестра молча посмотрела на нас и вышла. На другой день Раису Осиповну водили к врачу, но в лазарет так и не положили. Несколько раз, пока она сидела с нами в пересылке, с ней случались обмороки, но в остальное время наша старушечка была по-прежнему бодра и жизнерадостна. Когда Раиса Осиповна чувствовала себя лучше, то по-прежнему много и интересно рассказывала о своей юности, об эмиграции, о Швейцарии и Франции, о жизни в Париже. У нас от ее рассказов кружилась голова. Хотелось улететь, увидеть весь этот сказочный мир…

Вокруг нее образовался кружок, и мы заботились о ней, как могли. Ночью, когда все засыпали, я потихоньку залезала по решеткам окна и открывала фрамугу, чтобы дать ей хоть немного свежего воздуха. На этот раз ее приговорили к трем годам ссылки — «очередной», как она грустно шутила. Но, к сожалению, это была ссылка в Енисейск, и Раиса Осиповна боялась этапа — такой путь, столько пересыльных тюрем, а сил так мало. Ей разрешили написать сыну, чтобы он похлопотал о «спецконвое» и перевозке за собственный счет.

И вот однажды Раису Осиповну вызвали на свидание. Она вернулась в камеру вся посветлевшая, разрумянившаяся, словно помолодевшая на десять лет.

— Дэ-дэ! Мой маленький Дэ-дэ! Он все сделал!

Андрей (Дэ-дэ) был у Пешковой сам, лично.

— Успокойте свою мать, — сказала она ему, — она поедет со спецконвоем за счет Красного Креста.

Андрей только что передал это Раисе Осиповне.

— Ах, если бы вы только могли его видеть! Какой мальчик! Какой мальчик!

В эту же ночь Раису Осиповну взяли на этап вместе с другими. Решили, должно быть, что «спецконвой» — слишком большая роскошь для старой революционерки и неуместный либерализм. Когда я спустя 15 лет попала в Енисейск, то, как ни искала, никаких следов ссыльной Губергриц там не нашла…

…Два раза за время сидения в Бутырках у меня тоже были свидания, правда очень странные. Почему-то их делали

«массовыми» — для удобства конвоиров, что ли? Чтобы скорее отделаться от толпы людей, с нетерпением ожидающих этого, может быть, последнего в их жизни свидания? Или просто для того, чтобы мы ничего не смогли сказать родным?

Огромная зала была разделена не решеткой даже, а скорее сеткой, такой, как на вольерах в зоопарках. Она была протянута вдоль всей залы в два ряда, расстояние между которыми составляло метра в два — два с половиной. За сетками стояли люди. С одной стороны — заключенные, с другой — родственники. Между рядами по «свободной зоне» прогуливались охранники.

Зала была очень большая, но и людей накопилась масса. Все равно все не помещались у сеток, и первое, что оглушало, — брань. Каждый старался оттолкнуть другого, пробраться к самой сетке, каждый искал своих родных и перебегал с места на место. Все спешили — ведь на свидание отпускалось всего лишь несколько минут. Шум, гвалт, вопли стояли невообразимые.

Наконец я вижу ее, вижу эту маленькую сгорбленную фигурку в темном пальто и черной шапочке, натянутой до самых бровей. Испуганное, растерянное лицо.

— Мама, мама, — кричу я изо всех сил, стараясь перекричать моих соседей справа и слева. — Да мама же!.. Я здесь! Мама!

Наконец она меня тоже замечает. Протискивается к сетке и… начинает плакать. Что-то говорит, но я ее не слышу, ни одного слова.

— Мамочка, не плачь, — кричу я. — Еще во всем разберутся, все будет хорошо!.. Как ребята?

Опять мама что-то говорит, и опять я не слышу ни одного слова. И тут раздаются свистки: свидание окончено.

— Камера семьдесят восьмая, — кричит конвоир, — по четыре разберись!

И тогда, в каком-то секундном затишье, до меня доносится отчаянный голос мамы:

— Ведь это же все Юра! Ефимов Юра! Это он!

Господи! Мама сошла с ума! Только этого еще недоставало! Я хочу броситься к решетке, крикнуть ей, что это не так, что она ошибается, что этого не может быть, что… Но конвоир сердито кричит:

— Не задерживаться! Марш вперед! — А потом, глядя на меня в упор, добавляет: — А ну, подтянись к своей четверке!

И грозится, что в следующий раз вся наша камера останется без свиданий. Соседи меня подталкивают и тащат… Но и в «следующий раз» свидание состоялось — последнее, перед отправкой на этап, уже после получения мной долгожданного

ответа, изложенного предельно коротко и ясно. В нем было сказано, что военная коллегия Верховного суда рассмотрела мою кассационную жалобу и определила, что военный трибунал Московской области принял правильное решение, что преступление мое тоже квалифицировано правильно и срок наказания установлен в соответствии с тяжестью преступления. Мое дело было закончено и пересмотру не подлежало.

На последнее свидание пришли все — мама, муж и ребята. К счастью, народу было меньше и такого адского шума не было. К счастью ли? Старший сын, шестилетний Славик, как-то жалобно улыбаясь одним уголком губ, спросил:

— Мамочка, за что они тебя взяли?

— Это недоразумение, милый мой! Я скоро вернусь. Когда ты подрастешь, я все тебе расскажу…

Младший, сидя на руках у отца, чтобы хоть что-то видеть за головами стоящих впереди, с веселым любопытством смотрел широко открытыми темными глазами.

— Посмотри, Женя, как он читает, — сказала мама и сунула ему какую-то книжку.

— Илья Ейенбуйг. Не пейеводя дыхания, — одним духом быстро прочел малыш. Он совершенно не выговаривал буквы «р»…

Я писала маме, чтобы она не приводила ребят в тюрьму, но, видно, она не могла удержаться. Ведь, может быть, они больше НИКОГДА меня не увидят… И хотя я писала, чтобы мама их не брала, но в душе надеялась, что она все равно не послушается. Поэтому, уходя из камеры, я захватила две шоколадки — на всякий случай — и теперь попросила одного из стражей передать их моим детям.

— Не положено, — сухо ответил он, но мама торопливо закивала мне: — Передадим, передадим!

Потом много лет подряд ребята получали подарки «от мамы».

…Но вот наконец настал и мой черед прощаться с Бутырками. Меня вместе с несколькими другими женщинами из нашей камеры взяли на этап. Нас выстроили по четыре человека в ряд, «с вещами», под сводами просторного бутырского «вокзала», и двери, величиной в целую стену, раздвинулись перед нами бесшумно, словно по волшебству, прямо как в сказке: «Сезам, откройся!»

— Вперед! Ша-гом… аррш! — скомандовал начальник конвоя, и мы нестройно, спотыкаясь от волнения, волоча свои рюкзаки и сумки, непомерно разросшиеся от передач, вышли за «волшебную» стену.

«Сезам» бесшумно закрылся за нашими спинами… Мое дело

было закончено. С ним кончилась и моя молодость. И повесть о годах моей молодости тоже подходит к завершению. Начались мои бесконечные скитания по лагерям, пересыльным тюрьмам и местам «не столь (и весьма) отдаленным», растянувшиеся более чем на 20 лет…

Об этом я расскажу в другой книге, если Бог отпустит мне на это еще немного времени.

Сейчас же осталось досказать немногое — то, что все еще продолжает тревожить мой ум и мою память и теперь, много лет спустя.

Глава 7
Хранить вечно

…Я часто прохожу по Арбату мимо этого неприметного грязно-желтого двухэтажного дома со старинными узкими, высокими окнами. Сам дом производит впечатление не старинного, а просто старого, давно не подновлявшегося. И странно, у двери на высоком крыльце можно прочесть тоже неприметную черную вывесочку: военный трибунал Московского военного округа. Такое страшное учреждение в таком ничем не примечательном доме, среди других — больших и новых; его даже домишком можно назвать…

И еще страннее представить себе, что внизу, в комнате с зарешеченными окнами, со стенами, сплошь заставленными шкафами-ячейками, в какой-то одной из них лежит толстая папка с моим «делом». С делом Федоровой Е.Н., и в правом углу этой ничем не примечательной папки жирным шрифтом напечатано: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

Я иду себе по Арбату, а эта папка, листы которой пестрят моей фамилией, именем и отчеством, лежит тут, рядом, за железными замками, за дубовыми дверями… А может быть, уже и не лежит. Теперь, после того как трибунал взорвался (в буквальном, а не переносном смысле), может, она уже находится в каком-нибудь в ином месте, хотя окна архива все так же смотрят на Арбат своими зарешеченными проемами. Повреждения после взрыва видны только со двора, и там сделали срочный ремонт.

Взорвалось здание трибунала ночью — где-то в подвале вспыхнул газ. Грохот и столб пламени были, говорят, грандиозными. Все окрестные арбатские жители проснулись, обливаясь холодным потом, — началось! Первая бомба! Случись это в каких-нибудь 30-х годах, можно себе представить, какое бы вспыхнуло и раздулось дело и сколько людей сложили бы головы.

Так вот, лежит ли, хранится ли мое дело там сейчас, не знаю, но где-нибудь оно обязательно есть, ведь вечность еще не кончилась! Но еще в 1956-м, знаю точно, что лежало, знаю, потому что в один момент его тут же разыскали, когда мне понадобилась справка из моего дела и я пришла за ней. Тогда-то и увидала этот жирный оттиск: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

…Я иду по Арбату, а рядом, за грязно-желтой стеной, лежит повесть о моей жизни. Наверное, важная повесть, раз ее необходимо хранить вечно! Я тоже храню ее без всяких замков и

запоров в моей памяти. Храню вечно, ибо для меня моя жизнь — это вечность. Это все, что отпущено мне Богом, — моя жизнь.

Через 22 года, вскоре после моей реабилитации, мы снова встретились с Юрием Ефимовым. Он сам нашел меня и начал «искренне» мне сочувствовать. Я напомнила ему о «голубой молодежи» и сказала, что теперь знаю, кто он из этой «голубой» четверки. С замешательством, но все же вызывающе Юрий ответил:

— Ну что ж. Бей меня по морде…

Ждал ли он, что я ударю? Я не ударила и была вознаграждена потоком трагических признаний или, вернее, полупризнаний, ибо есть слова, которые ни написать, ни произнести невозможно. То, что я услышала тогда, не было для меня неожиданностью. К тому времени я уже и так знала все.

Он клялся, что любил меня. Говорил, что был уверен, что мне не навредил. Клялся, что мой арест был для него неожиданностью. А «страшную фразу» моей мамы о «ста тысячах» услышал впервые там, от них, в дни, когда сам был раздавлен, деморализован, далек от человеческого облика.

Мне стало противно его слушать, ведь я знала, что это опять ложь. Но было и немного жаль его, так как я понимала, что должно было происходить с его совестью.

— Разговоры со мной в НКВД, — говорил он мне, — велись все время в тоне ультимативных обещаний «воссоединить» нас в тюрьме, а по набору ругательств в твой адрес я мог судить, что тебя ждет. Меня громили за слепоту, близорукость, за то, что я не разглядел в тебе подлинное исчадие ада…

…А время идет и идет. И вот прошли еще 20 лет. Теперь Ефимов — видный деятель науки. Член Союза писателей. У него географические труды. Издан сборничек стихов. Он ездит в заграничные командировки. Читает лекции и делает доклады. Поклонник Рериха, Цветаевой и Пастернака. У него жена, дети и внуки уже. Кооперативная квартира и дача. Дома его все обожают. Друзья любят. К своему 60-летию Ефимов получил с полсотни поздравительных телеграмм со всех концов страны. Было и чествование, был и банкет.

Мы встретились с ним еще несколько раз. Мне хотелось до конца понять его и, может быть, все-таки попытаться найти какие-то мотивы для оправдания… Я понимала, что о прошлом Юрий говорит только полуправду, но этого прошлого мы уже почти не касались — что толку?

Я жалела его и понимала, какой ценой он заплатил за свою «комфортную» жизнь. Ефимов показывал мне стихи, которые продолжал писать. С нетерпением ждал моего отзыва. Стихи (не

все!) мне нравились. Были они, в большинстве, лирическими, но встречались и «гражданственные». Вот одно из них, написанное в 1963 году во время хрущевской «оттепели».

Суд

Не исповедь позера и фразера —
Сквозной озноб студящего стыда.
Я — поколенье горьких лет позора.
Я подлежу расстрелу без суда.
Виновны все: и тот, кто выждал, выжил,
Недоупрямив в сделке непрямой;
И тот, кто свыкся, выжилив и выжав
Все тяготы, смиряясь с рабской тьмой.
Герои книг? Историков уроки? —
Нет, лишь бы скрыться, в кротости святой
По очереди подставляя щеки
С похлебкинско-христовой простотой.
С интеллигентской ловлей индульгенций,
С готовностью застраховать свой страх,
Непротивленцы и приспособленцы,
Не мы сгорали молча на кострах!
Мы подтверждали, кляли, запрещали,
Всерьез пеклись о чистоте анкет.
Мы столькое себе и им прощали,
Что нам самим давно прощенья нет.
Но суд даст срок доползать блудным людям
Червями в свете брызнувших лучей,
Чтоб не позволить нашим новым судьям
Стать поколеньем новых палачей.

Но вот что произошло незадолго до моего отъезда из Союза. Случайно я рассказала Ефимову о судьбе дочери моего двоюродного брата Юры Соловьева, отсидевшего по моему делу три года и заболевшего в тюрьме туберкулезом. Ее вырастил отчим (Юра умер, когда дочке был всего год), довольно видный партиец. Он дал ей хорошее образование — она окончила Институт иностранных языков в Москве, после чего получила работу в одном из советских консульств за рубежом. Там же вышла замуж за работника этого же консульства.

Как раз в то время, когда я рассказала это Ефимову, дочь Юры с мужем были в отпуске в Москве.

И тотчас же он спросил меня:

— Она тоже Соловьева?

Боже мой, зачем ему было знать, кто она?

— Букарева, — ответила я деревянным голосом, выхватив из памяти первую попавшуюся фамилию, ничего уже не соображая и ничего не видя перед собой…

Потом ночи не спала, мучилась от страха за них из-за своей беспредельной глупости. После нашего разговора их отъезд почему-то задержался, хотя срок отпуска кончился. Я твердо решила, что если их не выпустят — Юрину дочку и ее мужа, я покончу счеты с жизнью. Слава Богу, в конце концов их выпустили. С чем была связана эта задержка, они так и не узнали.

Но больше я Ефимова видеть не хотела…

* * *

Спросите у моего Времени — кто более всех виновен в рассказанной мною истории?

Талантливый юноша, интеллектуал, завербованный органами и предавший свою любимую, потому что его воля была сломлена, а страх самому оказаться за решеткой велик?

Бдительный пионервожатый «Артека», вовремя сигнализировавший о писательнице с «классово чуждым духом», дабы обезопасить себя от литературной конкурентки?

Следовательница НКВД, сфабриковавшая «дело» и заставлявшая подписывать то, чего не говорилось или говорилось совсем не так?

Молоденькая студентка, моя родственница и подруга, «вспомнившая» то, чего на самом деле не было?

Безупречно честный друг — коммунист, не посмевший сказать «ручаюсь», дабы не нарушить правила «великой» партии?

Я сама, подписавшая лживый, из пальца высосанный протокол и потянувшая в пропасть двоюродного брата?

Заранее все предрешившие судьи, всерьез игравшие комедию суда?

Или, наконец, «великий кормчий», до смерти запугавший огромную страну и превративший людей в бессловесных рабов режима?

А может быть, просто само время, заставлявшее людей быть нелюдьми?

И Время ответит: «Виновны все!»
Ибо Время было — сатанинское.

1953–1975 гг. Е. Федорова

Книга II
На островах ГУЛАГа

Глава 1
Прелюдия

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Ф. Тютчев

Нас выстроили по команде с вещами по четыре человека в ряд под сводами «вокзала» Бутырской тюрьмы, и двери величиной в целую стену бесшумно раздвинулись перед нами.

— Вперед! Шагом… аррш! — скомандовал начальник конвоя, и мы нестройно, спотыкаясь от волнения, волоча за собой свои рюкзаки и сумки, вышли за тюремную стену…

I. Пиндуши

Когда я сидела в Бутырской пересылке, мне, как и многим другим, казалось, что в лагере можно будет что-то доказать, кого-то переубедить, заставить понять себя; не только словами, но и всеми своими личными качествами заставить поверить, что меня ошибочно сочли преступником, что это не так и чуждо моей сущности.

А лагерь, в моем представлении, был тем, что я видела, когда работала одно лето экскурсоводом на Беломорско-Балтийском канале (ББК). Я встречалась там с заключенными, занятыми на инженерных и хозяйственных работах. Они пользовались относительной свободой передвижения в пределах ограниченной территории, ведь тогда шел еще только 1934 год…

Я получила восемь лет лагерей за «террористические высказывания» по доносу моего близкого и любимого друга. Сидя в Бутырской тюрьме в ожидании ответа на кассацию и уже не веря в то, что она поможет, я писала заявление за заявлением, умоляя поскорей отправить меня на работу — пусть самую трудную, самую черную, лишь бы работу, и при этом просилась на ББК, который я «знаю», где уже была экскурсоводом и, может быть, пригожусь и теперь, хотя и в качестве «зека» (так для краткости именовали заключенных).

Тогда этапы шли главным образом в двух направлениях: в Среднюю Азию — в Джезказган и Караганду, а также на Кольский

полуостров — на Беломорско-Балтийский канал. Думаю, это только дело случая, а не результат моих эпистолярных упражнений, что я все-таки попала на ББК.

Моим первым лагпунктом стали Пиндуши — судоверфь недалеко от Медвежьей горы, обслуживающая ББК и Онежское озеро, куда в 1934 году я возила туристов на экскурсии. Лагпункт был обнесен с трех сторон колючей проволокой, с четвертой синело Онежское озеро. Колючая проволока ограничивала «зону», выход за которую запрещался и по краям которой стояли вышки с часовыми.

Но территория лагпункта оказалась довольно обширной. Проволока и вышки остались где-то за деревьями, и их не было видно — они не довлели ни над бараками, ни над самой судоверфью. Легко было представить себе, что тут живут просто люди, собранные сюда на работу, может быть временную; здесь все носило отпечаток какой-то временности в основном из-за построек барачного типа.

«Сердцем» лагпункта было конструкторское бюро — КБ, где работали заключенные инженеры-кораблестроители, многие из них, как мне говорили, с «именами». Там же находились чертежное бюро и копировальная группа. Сама верфь со стапелями, с огромными сараями-ангарами, где на полу раскладывались гигантские лекала, находилась на берегу, против небольшого зеленого островка с трогательным названием Заяц. На островок вел мост, и хотя заключенным вроде бы и не разрешалось туда ходить, но стражи на мосту не наблюдалось, и мы нарушали запрет. Купались, собирали цветы — это было еще «вольготное» время, лето 1936 года.

В бараках мы жили вместе с урками, но их было меньшинство, и вели они себя в общем мирно и прилично. Сначала только «раскурочивали» «новеньких» по общепринятому в лагерях неписаному закону, а затем принимали в «свои» и уже не обижали. Помню, на верхних нарах — у нас была «вагонная система» — наискосок от меня жила молодая веселая толстая и вечно разлохмаченная хохотунья. Она мне сразу заявила, без всякой злобы, сверкая всеми своими отличными белыми зубами:

— А часики-то все равно уведу!

Часы, отобранные у меня при аресте, следовали за мной этапом и в лагере были мне отданы. Это были большие серебряные мужские часы, которые я носила на цепочке. Так случилось, что в таком виде мне их подарили, и так я их и носила, хотя это было не особенно удобно. Я думала: куда же девать их на ночь, чтобы моя милая соседушка их не «увела»? Со мной была мочалка в виде рукавички. Я положила часы в эту

мыльную рукавичку потихонечку, чтобы никто не видел, а потом засунула ее под подушку.

Наутро рукавичка оказалась без часов, а соседка-уркаганка заливалась хохотом на весь барак:

— Смотрите, люди добрые, никак часики-то увели?!

Мы, арестованные по 58-й статье, возмущались, урезонивали, просили отдать, грозили пожаловаться. Урки стонали от хохота, валясь на нары и дрыгая ногами в воздухе. Я и впрямь заявила о воровстве и назвала воровку.

— А вы видели? — спросили меня в «третьей части» (так назывался наш отдел по «политическим» и сыскным делам).

— Не видела, но знаю.

— Не пойман — не вор, — резонно ответил уполномоченный третьей части.

Так и не вернули, так и не видела я больше своих часов, наверное спущенных за пол-литра, что всегда можно было «обстряпать» с нашими конвоирами. Раз уж начала про урок, расскажу о пиндушских знакомствах в этой среде. Было там два барака, которые почему-то назывались «колоннами» для малолеток. Это были преступники до 17 лет. В Пиндушах были только мальчики. Позже, в Кеми, мне пришлось столкнуться и с девочками: ничего более распущенного, развращенного и циничного я не видела. Мальчики были немного лучше. К виртуозному и изощренному мату я уже мало-помалу привыкла в нашем собственном бараке, и он мне не так уже резал уши, когда я стала вхожа в колонну малолеток. А я стала туда вхожа.

Уже не помню, кому пришло в голову — нам или нашему начальству — попробовать поручить нам, осужденным по 58-й статье, воспитание «неподдающихся» малолеток. Они отлично знали, что раз отбывают срок, то больше им уже ничто не грозит. С них взятки гладки, потому что они — малолетки. Взрослых за невыход на работу сажают в КУР (колонна усиленного режима), а малолеток — нет. Взрослым за невыполнение нормы урезают хлебную «пайку» до 300 и даже до 200 граммов. Малолетки свои 500 получают при любых обстоятельствах. Взрослых за кражу могут судить, а их не судят.

Они не ходили на работу, слонялись в томительном безделье целый день по лагерю и «промышляли» чем попало. То устраивали налет на ларек, то выбивали ночью окна в амбулатории и выпивали спирт, то громили погреб или кухню. В колонну к малолеткам избегало захаживать и лагерное начальство. Убить не убьют, но избить до полусмерти могут запросто. Напрасно надрывались по утрам нарядчики, уговаривая малолеток выйти хоть на какую-нибудь работу. Вот их-то и

решено было начать с нашей помощью перевоспитывать, учить читать, писать и вообще — хоть чему-нибудь учить.

В то время я была копировщицей в конструкторском бюро. На «общих работах» я проработала в Пиндушах всего дня три: расчищала снег на строящихся лихтерах, вила веревки вместе с какими-то женщинами и перебирала гнилую картошку. Потом меня перевели в КБ. «Общих работ» в Пиндушах, по существу, вообще не было — ни лесоповала, ни сельского хозяйства. Предусматривались только подсобные хозяйственные работы.

В основном же нуждались в плотниках и более или менее квалифицированных рабочих, чтобы использовать их в деревянном судостроении. Строили большие самоходные баржи — лихтеры, гидрографические исследовательские суда и маленькие речные трамвайчики с корпусами типа японских «кавасаки».

Итак, я работала в копировальной группе, и мне предложили обучать копированию шестерых мальчишек из малолеток, изъявивших желание учиться. Я взялась за них с энтузиазмом — тогда я за все бралась с энтузиазмом, даже за гнилую картошку. Кстати, она была бичом и сказочным «белым бычком» для лагерей. Весь год, начиная с осени, гоняли женщин в овощехранилища перебирать картошку: гнилая отдавалась на кухню, хорошая ссыпалась обратно в закрома. Назавтра — то же самое. На третий день — то же. И так — изо дня в день, пока не наступала весна и картошка не кончалась. Ее всегда перебирали и всегда ели гнилую. Неужели хорошей хватало только для лагерного начальства?! Ведь ее было больше, чем гнилой!..

Ну а теперь о моих малолетних урках-«чертежниках». Работа копировщика требует, прежде всего, аккуратности и терпения при всех обстоятельствах. При наших же — особенно. Надо было не только аккуратно проводить линии и штрихи нужной толщины, но и ни на минуту не забывать о мухах. Дело в том, что у нас не было настоящей туши на спирту. Мы терли тушь в палочках и разводили ее в сахарной воде. Как только на кальке проводилась линия, на нее устремлялись мухи. Если вы вовремя их не отгоняли, они погружали свои хоботки в тушь, оставляя на месте линии ряд аккуратных светленьких кружочков. Однажды, уходя с работы, я забыла накрыть уже почти готовый чертеж величиной в два листа ватмана. Наутро я нашла бледный призрак своей копии, начисто съеденной мухами!

Сначала мальчишкам нравилось держать в руках новенькие блестящие рейсфедеры и циркули. Они были польщены обществом арестованных по 58-й статье, хотя продолжали за глаза и в глаза величать нас «придурками» и «заср…

интеллигенцией». Впрочем, в нашей копировалке — длинной, светлой комнате, сплошь заставленной чертежными досками, они старались «не выражаться». Но когда дело дошло до самых несложных, но все же настоящих копировок, все пошло вкривь и вкось. То на почти готовый чертеж капала жирная клякса, то рейсшина или треугольник размазывал невысохшую линию, то нахальная муха прямо из-под пальцев пожирала тушь…

Теперь тут и там трехэтажный мат оглашал комнату, и злосчастная копировка посылалась по всем мыслимым и немыслимым адресам, и в хвост и в гриву. Малолетки выходили из себя, рвали кальки на мелкие кусочки, едва удавалось спасти сами чертежи. Однажды один из них в раже раздражения запустил флаконом туши из одного конца комнаты в другой, и тушь, описывая свою воздушную траекторию, окропила по дороге целую вереницу чертежных досок с приколотыми на них ватманами!

Мы были с ними терпеливы, урезонивали и успокаивали, подбадривали и хвалили мало-мальски сносные работы. И все же — один за другим — наши малолетки исчезали из чертежного бюро, и к концу моего пребывания в Пиндушах остался только один, который в конце концов стал хорошим копировщиком. Стараясь хоть чем-то быть полезной нашим подшефным, я надумала пойти к ним в «колонну» и дать им урок русского языка. Ведь теперь, как я думала, у меня были «свои» чертежники, которые не дадут меня в обиду. И точно, не дали. Когда во время урока кто-то, подкравшись сзади, опрокинул классную доску (не знаю, где ее раздобыли и откуда притащили в барак малолеток), «мои» как ястребы кинулись на забавника, выволокли его за дверь, и оттуда послышались звонкие затрещины и прочие красноречивые звуки доброй потасовки.

Но все равно из занятий русским языком ничего не получалось. Ученики не сидели на местах. Слонялись по комнате, курили, переругивались вслух и почти не обращали внимания на падежные формы имен существительных, о которых я им с жаром толковала. Тетради, которые им выдали, они тут же использовали на «козьи ножки» и самодельные карты. И только когда я, отчаявшись привлечь их внимание существительными и глаголами, начала читать вслух:

У лукоморья дуб зеленый,
златая цепь на дубе том,

ко мне сразу придвинулось несколько человек, в глазах которых промелькнули удивление и интерес.

— Ну, ну! Давай, давай! — подгоняли они, когда в горле у меня пересыхало и я останавливалась, чтобы перевести дух.

Так мы и отхватили всего «Руслана» за один присест. Потом я читала им и «Цыган», и «Бахчисарайский фонтан», и «Полтаву», но ничто такого потрясающего успеха, как «Руслан и Людмила», не имело. Много раз мои нетерпеливые ученики требовали снова и снова:

— Даешь «Руслана»!

Однажды я забыла в колонне малолеток свою меховую безрукавку, которую сняла из-за жары и оставила на спинке стула. Потом, уже выйдя из барака, вспомнила и вернулась за ней. Ее уже не было.

— Не беспокойся, сейчас доставим, иди! — пообещал кто-то даже не из чертежников моих, а просто из поклонников «Руслана». Через полчаса безрукавку «доставили», а вора исколотили так, что его пришлось отправить в лазарет. Общий уркаганский закон «своих не трогать» действовал и у малолеток. Благодаря «Руслану» и я у них стала как бы «своей». Потом, за годы кочевий по лагерным «командировкам», по этапам вместе с урками мне не раз случалось быть «раскуроченной» (обобранной) моими соседками или соэтапницами. Но всегда это было сначала, пока я была еще «чужая». А потом, когда становилась «своей», они уже никогда меня не «обижали» и добродушно подтрунивали над совершенным ранее налетом.

Среди урок встречались люди незаурядные, одаренные, наделенные пылкой фантазией или необычайной памятью. Так, например, на «Водоразделе» летом 1937 года, когда мы были лишены книг, радио, газет и других мало-мальских крупиц культуры, утешением нашей небольшой, человек в шесть, компании был урка Сережа, влюбленный в Есенина и чуть ли не все стихи поэта знавший наизусть. На животе его было вытатуировано крупными буквами: СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. Когда Сережа читал «Письмо к женщине», то в конце, после слов «Знакомый ваш…», неизменно трагическим жестом оголял живот и демонстрировал татуировку: Сергей Есенин.

Читал он хорошо, с выражением, со слезами на глазах. Другой урка — одноглазый Степа — задушевно и проникновенно пел под гитару старинные русские романсы и арии из оперетт. Почти все отлично танцевали, а чечетку любили отбивать до самозабвения и хорошего чечеточника чуть ли не на руках носили. Недаром каждый вожак и коновод у них был первоклассным чечеточником. Впрочем, вожаки, конечно, были талантливыми организаторами и могли заставить «массу» делать что угодно. Их боялись и слушались беспрекословно все по тем

же неписаным законам уголовного мира.

Но сказать, что вся масса урок отличалась какой-то особой восприимчивостью, одаренностью, большей, чем остальные люди, я не могу. Ближе я столкнулась с ними в лето жуткого «Водораздела» 1937 года, а также в Кеми — на «Швейпроме», где прожила целых три года. Об этом я расскажу дальше.

Итак, мой первый лагерь, Пиндуши, мало походил на концлагерь, которым он, в сущности, был. Если не считать урок и малолетних преступников, с которыми мне пришлось здесь близко познакомиться, это был лагерь, где колючей проволоки не было видно за густыми деревьями, с берега открывалась нежная гладь Онежского озера, а на берегу возвышались стапеля судостроительных площадок.

Наше конструкторское бюро было обычным учреждением, только с несколько «продленным днем». Мы собирались на работу к девяти утра, а заканчивали ее в восемь вечера. Но все же это было обычное учреждение, с разными отделами, их начальниками и специалистами. Все были заняты работой, имели свои производственные планы и старались выполнить их досрочно.

Имелся даже свой БРИЗ (бюро рационализации и изобретений), и за удачные рационализаторские предложения выдавали небольшие премии. В общем, все было, как на воле, только без зарплаты, а в бараке дневальная выдавала «пайку» и талоны на завтрак, обед и ужин. Наша «придурковская» пайка была неизменна — 500 граммов черного хлеба, а обед состоял из двух блюд — супа и второго (обычно трески); на завтрак и ужин бывали каши — пшенная или овсяная, всегда размазни.

Конечно, голодноватый рацион, в особенности для мужчин. Но в это время посылки еще можно было получать в неограниченном количестве, и нам всем их посылали родные. Получали мы и деньги, хотя много на руки не давали, но в ларьке всегда можно было купить и сахар, и конфеты, и мыло.

В общем, никто не голодал, и эта сторона жизни особых неприятностей не доставляла. Для меня же и для таких, как я, кто только что пришел из тюрьмы и пересылки, после убийственного безделья Бутырок, когда так бешено хотелось деятельности, — все равно какой, лишь бы деятельности! — жизнь в таком лагере, как Пиндуши, казалась чуть ли не верхом счастья, тем «раем», по которому мы так истосковались там, в тюремных камерах.

И «дело», которое, казалось, навсегда останется самым главным событием, все затмившим в нашей эмоциональной жизни, навсегда занявшим мозг и душу, — и оно, как я с удивлением начала замечать, стало бледнеть, стушевываться, превращаться в какой-то болезненный туман, оседавший

постепенно на дно души… Вечера у нас были свободны до одиннадцати, до «отбоя», и мы могли бродить по лагерю, найти какой-нибудь укромный уголок и разговаривать сколько душе угодно. Вечера были теплые и совсем светлые — наступало карельское лето.

Сначала я могла говорить только о своем «деле». Моя история продолжала казаться мне необыкновенной и все еще вызывала изумление у меня самой. Впрочем, все лагерные знакомства начинались неизбежно с расспросов и рассказов о «деле». И я не только рассказывала, но и выслушивала истории не менее фантастические, чем моя.

На работе же было приятно погрузиться в совсем другой, деловой мир, совершенно забыть о том, что ты — «зек» и что вольнонаемного начальника нужно называть «гражданин начальник». Впрочем, довольно скоро и «свободное время» у меня заполнилось заботами и интересами, ничего общего с моим «делом» не имеющими.

У нас на лагпункте был клуб, а в клубе — своя лагерная самодеятельность. Когда я появилась в Пиндушах, человек пять-шесть составляли костяк этой артистической самодеятельности. Бухгалтер нашего КБ недурно пел баритоном. Дневальная нашего барака, бывшая баронесса с какой-то двойной аристократической фамилией, которую я уже не помню, несмотря на свой преклонный возраст и горбинку в плечах, имела орлиный профиль, а в голосе ее проскальзывали кокетливые нотки…

Так как дневальство много времени не занимало, а за «пайку» всегда можно было нанять охотника подтереть за нее полы, баронесса объединяла в своем лице заведующую клубом, режиссера, автора частушек на «злободневные» темы, а также артистку на любую роль. Был в этой «труппе» совсем молоденький мальчик — художник Мишенька Потапов, египтолог, влюбленный до самозабвения в свою, как он считал, «прародину» — Египет. Историю его жизни, трагическую и необыкновенную, я узнала спустя много лет, но к этому я вернусь позже, если успею…

Еще в «труппу» входили наши чертежники — неразлучные Коля и Дима, о которых было известно, что они сидели за гомосексуализм, хотя друзья это нехотя отрицали. У Коли было какое-то театральное прошлое, связанное с Мариинским театром, где он когда-то служил статистом, Дима же просто от природы был талантлив и быстро входил в любую роль.

Среди «урок» обнаружилось немало любителей попеть под гитару и отбить неплохую чечетку. В общем, был хоть и маленький, но полный энтузиазма артистический коллектив, в

который, конечно же, включилась и я.

Урки с завидной лихостью исполняли концертные номера, но репетировать в пьесах им быстро надоедало, они начинали и бросали. И все же мы одолели «Без вины виноватые» Александра Островского — спектакль, который потом сыграл такую значительную роль в моей лагерной судьбе. Но это было уже осенью, в конце моего пребывания в Пиндушах. А пока что однажды меня вызвал начальник лагпункта и объявил, что назначает заведующей ИТРовской столовой!

Для инженерно-технических работников (ИТР) существовала особая столовая, в отличие от другой — общей. Хотя питание и тут и там было примерно одинаковым, но в первой было почище и не было мата. Сначала я наотрез отказалась: никогда я не занималась никаким хозяйством, ничего в этом не понимаю и не смыслю.

Начальник посмотрел на меня с подозрением и удивлением.

— В лагере профессий себе не выбирают, — сказал он.

— Да поймите же, товарищ начальник…

— Я вам не товарищ. Можете идти.

Я вышла ошеломленная, как с допроса. Ночью меня вызвали в третью часть.

— Вы что, от работы отказываться? В КУР захотели? (КУР — колонна усиленного режима). Общий режим не нравится? Или на лесоповальчик предпочитаете?

Короче говоря, я стала заведовать столовой. В то время я еще не предполагала, сколько профессий освою в лагере! Обычно хозяйственные должности, да еще такие «хлебные», как столовая, ларек, хлеборезка, раздавались «соцблизким» — «бытовикам», сидевшим не по 58-й статье, а за расхищение, растрату и тому подобное, но все же не прямым воришкам из уголовников.

«Социально близкими» были у нас и «воспитатели»: в лагерях имелись культурно-воспитательные части — КВЧ. Помню, в Пиндушах мой первый воспитатель сидел за убийство жены из ревности. Был он довольно симпатичный инертный мужчина, ни во что особенно не вмешивался и не стремился нас «воспитывать», предоставляя полную свободу в клубно-артистической деятельности. Вполне довольствовался привилегиями своей небольшой должности, дававшей ему отдельную кабиночку при КВЧ, которая позволяла иметь лагерную «жену» и пользоваться прочими преимуществами лагерного начальства.

Вероятно, в Пиндушах не хватало «соцблизких», а может быть, они проворовывались без конца, — в общем, почему-то придумали назначить в «завы» столовой меня. При ней была

крохотная комнатушка, в которой мне полагалось жить, она же была и кладовой для получаемых на день продуктов. Считалось, что я, живя там, в кладовке, охраняю съестные припасы от расхищения.

В первую же ночь напившийся вдребезги повар-армянин, тоже какой-то «соцблизкий», ломился ко мне в окно, просовывая сквозь ставни свой мясницкий нож.

— Все равно зарэжу… Жива нэ будэшь… — хрипел он за окном, а я дрожала на железной коечке, запихав под нее подальше самое ценное — куль с соленым мясом.

Впрочем, все обошлось благополучно, армянин-повар к утру протрезвел, меня не зарезал, и вскоре мы нашли с ним нечто вроде «общего языка»: он оставил меня в покое в обмен на мое невмешательство в его махинации с продуктами.

Я не думаю, что при мне он воровал меньше, чем до меня, но кое-как мы концы с концами сводили и людей кормили. А так как я старательно стирала салфетки и на столы ставила в банках букеты ромашек, собранных на острове, все находили, что я отличная «завша» и вполне справляюсь со своими обязанностями.

Ах, эта комнатка-кладовушка в моей столовой! За весь лагерный срок это была моя единственная индивидуальная «кабинка», как называли в лагере такие закутки. В то время я еще не была способна оценить это наивысшее счастье — иметь свой собственный угол. Я еще не знала и не понимала, что такое лагерь. А после мне уже никогда не довелось обладать такой «кабинкой». Правда, много лет спустя, когда я жила и работала в больнице Усольлага, мы с моей дорогой подругой Катей Оболенской устроили себе кабинку на чердаке терапевтического корпуса, но нас очень скоро оттуда «вытурили», не дав насладиться свободой и отдохнуть от общего барака…

Иногда на верфи бывали настоящие праздники, которые и мы искренне воспринимали как торжество. Это случалось, когда спускали на воду лихтеры или другие суда, построенные на верфи. Правда, мы не разбивали бутылки шампанского вслед соскальзывающему в воду судну, но в любом случае все происходило очень торжественно.

Все население лагеря высыпало на берег, приезжало обычно из Медвежки какое-нибудь начальство, и бывала даже музыка — самодеятельный оркестр из нескольких музыкантов. Распорядитель спуска отдавал команду: «Руби ряжи!» — и желтая, сверкающая новизной и солнечным блеском огромная деревянная посудина начинала боком тихонько скользить со стапелей. Потом все быстрее и быстрее по смазанным жиром слегам — и вот уже лихтер ухает в воду, подняв крыло искрящихся брызг.

— Урра! — гремит на берегу.

Все радостно взволнованны, все горды — ведь это наше судно! Наше! (Я вычерчивала его шпангоуты! А я рассчитывал его осадку! А я строгал килевую балку!) Как будто мы не были кучкой несчастных людей, незнамо-неведомо почему, по каким законам оторванных от своих близких, от своих других дел, которые мы и знали, и умели, и любили, и прекрасно делали «там», на воле! Нет, об этом не думалось в ту минуту, когда красавец-лихтер — плод нашего «здешнего» труда — плавно покачивался в поднятой им же самим волне…

Но однажды судьба решила напомнить нам, кто мы такие со своей «производственной» гордостью. Отмечался вот такой же торжественный спуск лихтера. Было синее небо и солнце. Приехало начальство, звучала музыка и оркестр заиграл туш, когда лихтер, плавно скользящий по косым слегам, вдруг встал на полдороге. Остановился — и все тут! Может быть, смазочное масло оказалось плохим, а может, что-нибудь недорассчитали. Одним словом, лихтер замер и не двигался с места.

Нестройно, не в лад замолк смущенный оркестр. Забегало наше лагерное начальство, засуетились сотрудники КБ. На главного инженера (судостроителя с «именем») жалко было смотреть. Он краснел и бледнел, руки у него тряслись, как, вероятно, тряслись бы на допросе. Ведь тут были «сами» из Медвежки, из управления!

…Пронеси, господи, что-то будет?! Господь не пронес. Пробовали двинуть лихтер «плечом», но посудина сидела прочно и не двигалась. Заново смазали слеги — никакого эффекта. Тогда подвезли толстенные тросы, закрепили и начали тянуть — ничего. Высокое начальство, недовольно пожевав губами, уселось в машины и уехало в Медвежку. Наше начальство почувствовало себя вольготней и, яростно оскорбляя наших родительниц, понукало нас к действию.

Тросы перекинули на островок (лихтер спускали в протоку между ним и берегом), завели за сосну и стали тянуть. Сосна жалобно крякнула и нехотя стала выворачиваться из земли. Солнце зашло, и яркая северная заря окрасила залив и лихтер в розовые тона. Даже без понуканий и окриков начальства никто не думал расходиться. Каждый что-то советовал, ждал, тащил тросы.

Наконец на островке соорудили первобытный ворот, и на его рогатки налегло сразу человек по пять. Ворот заскрипел, трос натянулся. Казалось, вот-вот дрогнет и тронется судно.

— Еще-о-о-о!.. Взяли!.. Вместе!..

Люди грудью навалились на рогатки:

— Еще-о-о-о!.. Взяли!..

З-з-з-з-з-ыг! — свистнуло в воздухе, и лопнувший трос серебряной змеей прыгнул в небо, а затем захлестнул вокруг ворота. Двоих убило на месте. Нескольким поломало ноги и руки. Пострадавших увезли в лазарет. Работы по спуску лихтера продолжались. Завели новые тросы, поставили других людей. В конце концов лихтер стащили. Погибших «сактировали», и скоро о происшествии перестали даже вспоминать. Такие случаи в лагерях случались нередко, и это никого особенно не волновало.

Когда были готовы наши гидрографические суда — их было четыре, совершенно одинаковых, — к нам прибыл «сдаточный» капитан. Он ходил в белоснежном кителе и с белоснежным чехлом на морской фуражке. У него было длинное аристократическое лицо, а пальцы рук — тонкие и холеные. Ботинки всегда блестели, как зеркало.

— Вольнонаемный? Заключенный? — всполошились наши девушки.

Капитан оказался заключенным и поселился в ИТРовском бараке. Ему предстояло испытывать на ходу и сдавать гидрографические суда. Это был бывший капитан первого ранга военно-морского флота, внук контр-адмирала из потомственной морской семьи.

— Мы, гардемарины, — говорил он, слегка грассируя, но в меру, чуть заметно, — обожали государыню-императрицу. Это было традицией на флоте…

Вскоре Евгений Андреевич — так звали капитана — начал искать встреч со мной. И когда мы вечерами бродили по берегу Онежского озера, он много и интересно рассказывал о жизни военного флота — царского и советского.

— Я никогда не занимался политикой, дорогая моя, — говорил капитан, — но ведь мы присягали государю-императору… А присяга обязывает!

Советских морских специалистов еще почти не было; а Евгений Андреевич, будучи командиром высокого класса, любил матросов, был всегда справедлив к ним, и матросы его тоже любили. Вот почему он удержался и остался капитаном и при советской власти.

Море Евгений Андреевич любил до страсти.

— Эту любовь, — говорил он, — я впитал вместе с молоком матери.

Капитан не понимал, за что его «взяли» и что он «им» сделал.

— Политика — это не моя сфера, дорогая!

В лагере до сих пор Евгений Андреевич жил неплохо. Из дома получал великолепные посылки, на общих работах никогда не был. Дома у него остались старики-родители и жена, перед

которой он преклонялся и называл ее «моя маленькая маркиза». Курил капитан какие-то особые, длинные и тонкие душистые сигареты, тоже из посылок, конечно, изящно доставая их кончиками пальцев с отполированными ногтями из золотого портсигара, на котором были выгравированы все ноты октавы, кроме «ми». Это, как говорил Евгений Андреевич, был «шикарный морской ребус, соленый, как само море»… Но далее не объяснял.

После всего, что со мной случилось, после того невероятного разъединения с человеком, который был мне дорог и близок, после странных маминых слов там, в Бутырках, с еще неясными страхами и смутными, гонимыми из души подозрениями, мне казалось, что сердце мое — как сплошная кровавая рана, до которой как ни дотронься — больно. И я старалась не дотрагиваться. Захлопнула дверь в эту странную, смутную, зыбкую неясность. Не думала и не вспоминала…

И вдруг я заметила, что Евгений Андреевич мне нравится… Что я жду этих тихих вечеров с полуночными зорями… Что сердце бьется быстрее, когда он входит в столовую — элегантный, сверкающий — и издали поднимает руку в знак приветствия.

— Сегодня я ухожу в залив, дорогая… Слушайте мой прощальный привет — три длинных и один короткий. Специально для вас.

И когда из-за острова, из лона голубого марева доносились низкие басовитые гудки — три длинных и один короткий, — они невольно ласкали мой слух и заставляли вздрагивать сердце… Оказывается, оно не было такой уж сплошной кровавой раной, мое сердце… А когда капитан возвращался, гудки звучали особенно громко и радостно — они приветствовали меня… Но все же, когда в уединенном уголке острова он взял меня за руки и, глядя затуманенным взглядом, чуть притянул к себе и едва слышно произнес: «Ну же, не терзай меня до бесконечности, дорогая… Ты же видишь, что со мной делаешь…», я оттолкнула его в ужасе:

— Как, здесь? В лагере? Вот так, прямо в кустах? Боже мой, что вы выдумываете…

Он на секунду прикрыл глаза и снова их открыл. Потом тихо, очень грустно, но совсем спокойно сказал:

— Дорогая, но ведь это же теперь наша жизнь.

Да, тогда я не хотела понимать еще, что это не «эпизод» — это теперь моя жизнь. Так и не был перейден Рубикон. Так и остались эти светлые вечера с рассказами о море, о далеких плаваниях, о традициях гардемаринов и стихи о влюбленной королеве, которая где-то далеко у моря «в башне замка играла Шопена». От него в первый раз я услышала гумилевских

«капитанов» и запомнила их на всю жизнь:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Средь базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…

Ах, капитан, капитан!.. Если бы знать, что это лето — последнее, когда вы носите свой белоснежный китель и ослепительную фуражку, когда ваша элегантная рука касается кольца тифона и вы бросаете небрежно-властным тоном: «Самый малый вперед!», что это последние трапы, по которым взбираются ваши безукоризненно начищенные ботинки. Ах, если бы…

Я встретилась с Евгением Андреевичем еще раз, вернее, с тенью его, даже не узнав в первое мгновение. Встретилась на «Водоразделе» ровно через год, в 1937-м, перед самой его смертью. В этот раз он был без кителя, без капитанской фуражки, в коротких, не по росту, лагерных опорках, в безобразных бутсах на одну ногу (в лагере их называли «шанхаями») — такие уж ему достались в каптерке.

В тот момент я не могла приблизиться к нему, чтобы спросить, что с ним, потому что его вели под конвоем в лазарет, и это был уже 37-й! Сердце у меня болезненно сжалось от страха за Евгения Александровича и от нахлынувших воспоминаний о недавнем прошлом… Но надо было стараться жить дальше. Позже мы опять оказались с ним в общей компании, пока его не отправили в госпиталь в другой лагпункт, где он и умер.

…Коля и Дима были «возлюбленной парой», как «поэтически» выражались наши урки. Они действительно были «парой», и, что самое удивительное, не только в лагере, но и на воле, там, в Ленинграде, где их арестовали и осудили за гомосексуализм. Осудили и…отправили в один и тот же лагерь!

Коля получил пять лет как «совратитель», а Дима — только три как «жертва»… Я попала в Пиндуши в момент для Коли самый трагический, в кульминационный момент его трагедии. Димин срок кончался, и он уезжал, но для Коли это была действительно трагедия — он Диму любил, обожал, боготворил. Редко даже на долю женщины выпадает такая полная, беззаветная, рабская, готовая на любой подвиг, на любое унижение любовь… А ведь если и выпадает, то ее обычно не ценят, а часто и тяготятся ею…

Для Димы Коля готов был воровать (и воровал, за что не раз бывал избит!), исполнить любое его желание, любую прихоть, часто глупую, издевательского характера, пускался на любые

авантюры, лишь бы достать для своего «божества» какую-нибудь вещь или лакомство. Он готов был целовать его ботинки и все время с выражением вины и обожания ловил его взгляд.

Не знаю, продолжались ли их сексуальные отношения в лагере… Дима, во всяком случае, говорил, что их нет, да скорее всего, и не было, но не мог устоять, чтобы не похвастаться своей «властью» над Колей. Он третировал его постоянно, зло высмеивая, требуя вещей самых невероятных и несуразных, и принимал раболепное преклонение как должное…

Когда Дима наконец уехал, Коля несколько дней, небритый и немытый, неподвижно сидел в углу барака, не выходил на работу и чуть не угодил в КУР. Мы, как могли, покрывали его отсутствие в чертежной. Но время лечит. Постепенно Коля снова втянулся в однообразную лагерную жизнь. Помню, как, получив первое и единственное письмо от Димы, он смеялся от радости, сиял, весь исходил лучами счастья…

Во всем остальном, кроме этой «роковой» любви к Диме, Коля был вполне нормальным человеком — хорошим чертежником и художником-оформителем интерьеров наших гидрографических судов, любил поэзию, считался неплохим чтецом и актером. Коля в роли Незнамова трогал меня больше, чем Незнамовы, которых мне случалось видеть на сценах профессиональных театров. Был он хорошим и честным товарищем, если только не ущемлялись интересы его обожаемого Димы.

Итак, после долгих репетиций в конце концов нам удалось поставить — почти по-настоящему — знаменитую пьесу Островского «Без вины виноватые». Спектакль наш произвел сенсацию. Мы повторяли его несколько раз, и каждый раз он проходил с неизменным успехом. Кроме наших стараний, надо еще учитывать тему, такую трагично близкую нам в наших условиях — ведь у многих из нас остались где-то «там» малыши, которые протягивали к нам ручонки и лепетали: «Мама! Мама!»

Неизменные рыдания сопровождали знаменитый монолог Кручининой, и сама я, игравшая Кручинину, всегда обливалась настоящими, не театральными слезами. Вероятно, «сценически» это было не очень-то профессионально, но чувство до зрителя доносило. Коля играл Незнамова. Старая баронесса, хотя и ходила, чуточку сгорбясь и скособочившись, как-то плечом вперед, играла кокетливую Коринкину. Она всякий раз безумно волновалась, по два часа накладывала грим и без конца спрашивала:

— Ну как, я не выгляжу старой?

Более молодой Коринкиной мы просто не смогли найти. Зато у нас был великолепный Дудукин — истинный аристократ,

снисходительный меценат и тонкий ценитель истинного искусства (к сожалению, не помню имени актера). Шмага, да и все остальные, к сожалению, оставались незначительными и бледными персонажами. Однако в целом спектакль производил впечатление…

О нем прослышали в Медвежке, где находилось Управление северных лагерей и был известный «крепостной» театр, в котором играли профессиональные актеры, так или иначе попавшие в заключение, и из этого Медвежьегорского театра к нам командировали режиссера на просмотр.

В результате на двоих из «труппы» — меня и «Дудукина» пришли «наряды» — нас забирали в театр! Сначала это были неясные слухи — лагерная «параша», затем — достоверные заверения нашего нарядчика из учетно-распределительной части и, наконец, о Боже!! — реальность, живая реальность!

Нам завидовал весь лагпункт. Еще бы, Медвежка! Центр! Столица. Между Пиндушами и Медвежкой была разница не меньшая, чем, скажем, между какими-нибудь Спас-Клепиками и Москвой. А самое главное — театр… Театр, о котором в Пиндушах ходили невероятные, фантастические рассказы. Профессиональный театр, который ставил «Платона Кречета» и «Славу», пьесы Арбузова и «Шкварки», на сцене которого шли Островский и Шиллер. Театр, который ставил не только драму, но и оперу: «Евгений Онегин», «Кармен» и «Пиковая дама» входили в его репертуар.

И я еду работать в этот театр! Голова шла кругом; такого счастья я не испытывала, наверное, за всю свою 28-летнюю жизнь на воле. Ну вот! А еще лагерями пугали! Может быть, тут суждено мне найти свою судьбу. То, что не удалось в жизни, о чем мечталось как о самом высоком счастье, то, что было нелепо упущено в жизни из-за сложностей, выпавших на самые первые юношеские годы, — театральная карьера, театральная работа, театр — любовь моя! — вот оно, само идет мне в руки, и где?! В лагере!

И видно, меня считают не такой уж страшной контрреволюционеркой и преступницей, если забирают в лагерную столицу, где, как рассказывают, жизнь и вовсе вольготная! А там, конечно, не за горами и пересмотр моего дела, и нелепые, чудовищные обвинения отпадут, как шелуха, и я буду опять — я. Но театра уже не брошу никогда в жизни…

А Лубянка, Бутырки, военный трибунал на Арбате — все это останется далеким призрачным кошмаром, случайным эпизодом, о котором я когда-нибудь буду рассказывать своим внукам… Так размечталась я, собираясь ехать работать в театр. В настоящий,

профессиональный театр!

Я раздарила свои ненужные мне теперь вещи, которыми заботливо снабдила меня в этап мама: лыжный костюм из «чертовой кожи» на случай работы на лесоповале, так ни разу мной и не использованный, я подарила Раечке Тэн — у нее не было ничего теплого, мало ли куда могла забросить ее судьба? Кожаное пальто — зачем оно мне в городе? — я оставила чертежнику Борьке. Старой баронессе подарила свои теплые шерстяные чулки и меховые рукавицы. К чему мне все это теперь? Я еду в Медвежку для работы в театре — почти что «на волю»! Я прощаюсь с лагерем навсегда!

Прощайте, мои малолетки, почитатели «Руслана!». Прощай, моя столовая! В последний раз я украшаю тебя букетами из осенних листьев… Прощайте, Евгений Андреевич! А может быть, только до свидания? Может, мы еще увидимся в Медвежке? Ведь вы бываете в управлении по вашим капитанским делам? Вы зайдете к нам в театр? До свидания!

II. «Крепостной театр»

Мои представления о жизни в Медвежке не были такой наивной фантазией, как могло показаться с первого взгляда. Условия существования заключенных в Медвежьегорском лагере в то время были, действительно, «почти как на воле».

Мужчины — актеры, певцы, музыканты жили в общежитии при театре, без всякой охраны и вахты. Женщин же этой привилегии почему-то лишили и поселили в общих бараках, в лагпункте, который помещался чуть ли не в центре города, но был обнесен колючей проволокой, имел вышки и охранную вахту. Однако у нас, театральных работников, были пропуска на «свободное хождение» от нуля до двадцати четырех часов — то есть круглосуточно.

Мы могли ночевать у себя в бараке, но могли и не ночевать, это никого не интересовало. Время от времени, по воскресеньям обычно, устраивались «шмоны» (обыски) и проверки по документам и спискам. В остальное время мы были свободны и без всякого конвоя могли бродить по городу и вокруг него по гористым лесным тропкам, открывая тихие и грустные лесные озерца. Впрочем, тихие они были потому, что уже наступила поздняя осень и птицы улетели. Рубиновые гроздья рябины гляделись в воду, и темные ели опрокидывались в глубину острыми пирамидами…

Не знаю, сколько всего человек работало в театре. В оркестре было восемьдесят музыкантов. Дирижировал Пан. Он был сыном

писателя Пшибышевского — породистый, пожилой поляк, грузный, широкоплечий и величественный. Его седовласая голова с классическим пробором, гордо посаженная на короткую могучую шею, была всегда чуть откинута назад. Он не шел — шествовал. Ему недоставало только высоких котурнов и развевающегося плаща. Пана все уважали, относились к нему почтительно и побаивались, так как от него в театре зависело многое. Говорили, что дирижирует он талантливо.

А иногда оркестром дирижировал не Пан, а Раечка Ж. Это была немножко вялая, слегка бледноватая и анемичная девушка с совершенно детским овалом нежных, в пушке, щечек. Было странно слышать, как про Раечку говорили, что она — требовательный дирижер, что с ней «трудно». Еще странней было видеть ее тоненькую фигурку со скрипкой в руках, казалось, таких слабеньких и беспомощных… И вдруг из-под этих тонких бледных пальцев льются звуки — полные, уверенные, певучие и страстные. На рояле Раечка тоже играла прекрасно. Помню концерт Грига, который она исполняла вместе с оркестром. Я сидела, очарованная и силой, и мощью ее вдохновенной игры. А потом — снова вялое детское личико с капельками пота, выступившими на лбу…

Раечка была воспитанницей Ленинградской капеллы, где занималась с семи лет. Говорили, что была она исключительно музыкальна, училась одновременно по классу скрипки и рояля, а с 13 лет начала дирижировать. Раечке прочили блестящее будущее, и может быть, если бы не заграничная поездка, не помню даже куда, ее карьера не оборвалась бы так внезапно и так трагично. Ей не было даже двадцати, когда она попала в лагерь.

К счастью, Раечка получила только три года, и это было еще задолго до 37-го, и к счастью же, она сразу попала в Медвежьегорский театр. Пан был с нею ласков и не только не «затирал» ее, но и всячески поощрял работать… Кроме музыки, Раечка обожала Володьку Ц. — разбитного смазливого уркаганчика, где-то выкопанного нашим директором и художественным руководителем — Алексеем Алексеевичем.

Все свободное время Раечка проводила с Володькой. Они молча гуляли обнявшись, по пустынному полутемному фойе театра или сидели в уголке, вдвоем на одном широком кресле. При этом незаметно было, чтобы они о чем-нибудь говорили. Про Володьку судачили, что он глуп, как пробка, и удивлялись: что Раечка в нем нашла?!

Алексей Алексеевич, наш директор, был человеком большой культуры, знатоком театра, несомненно одаренным и тонким человеком. Он великолепно вел театр, проявил себя прекрасным

художественным руководителем, несмотря на то что «в прошлой жизни» был всего лишь конферансье, правда очень известным и талантливым. Сидел Алексей Алексеевич по 58-й статье, но поговаривали, что это так, приличия ради. На самом же деле был он охотник до молоденьких мальчиков, которые, впрочем, становились под его руководством настоящими актерами и хорошими певцами. Некоторым из них впоследствии суждено было сделать карьеру и приобрести известность.

Театр наш со всей его не очень приглядной закулисной жизнью, с завистью и подхалимажем, с интригами и заискиванием перед режиссерами, с «затиранием» более робких и продвижением не столько талантливых, сколько самоуверенных и нахальных, ничем не отличался от других театров. И все же, когда удачно проходила премьера, какое огромное, возвышенное, братское и солидарное чувство объединяло всю эту разношерстную публику! Всех охватывал восторг, все были счастливы, искренне обнимались и целовались, и в этой атмосфере вдруг таяли все низменные чувствишки, исчезали зависть и досада, недоверие и злость, пусть и ненадолго. Это была великая власть Искусства.

Так, вероятно, крепостные актеры, переживая весь ужас своего подневольного положения и на хребте своем испытывая порою самодурство помещиков-меценатов, парили в высших сферах искусства и жили жизнью театра — во сто крат интереснее и глубже, чем их господа. Во всяком случае, после хорошего спектакля мы бывали счастливы и совершенно забывали о том, что мы — заключенные. Наши театральные «кадры» действительно были весьма разношерстными. Тут попадались и люди «с именами», квалифицированные и талантливые режиссеры, актеры, певцы — как шутили, «вольнопойманные», в отличие от вольнонаемных, которых было всего несколько человек. Встречались люди необыкновенно глубокой музыкальной культуры и эрудиции, вроде баритона Егорушки Тартакова — сына известного певца Императорского театра. Были и едва грамотные урки, которых природа наделила сценическими способностями, а нередко и талантом, а также актеры и певцы из любителей.

Я так и не успела стать актрисой в Медвежьегорском театре, не успела отрепетировать первую полученную роль, не успела поставить специально мной инсценированную «Сказку о царе Салтане», не успела показать «Бармалея» в теневом театре для детей, который не только выдумала сама, но и технически его оформила вместе с актрисой Лидией Скаловской.

Слишком кратковременным оказалось мое пребывание там,

где я надеялась провести весь свой лагерный срок! Но и в этом коротком промежутке было так много счастливых мгновений, запомнившихся на всю жизнь и не ставших тусклее от того, что были пережиты они в лагерном театре и в заключении, что время это вспоминается и сейчас как подарок судьбы. Это время было как последний прощальный луч солнца перед темной ночью, перед тем, что было лагерями на самом деле.

Я еще не получила никакой роли и все же сразу не только вошла — с головой окунулась — в ту особую театральную атмосферу, которой живет и дышит каждый театр. Все текущие новости обычно узнавались по утрам, во время завтрака. Завтракали мы в мужском общежитии при театре. Там была наша «театральная кухня», и туда выписывался наш лагерный паек. Обеденные столы — длинные доски на козлах — стояли прямо в коридоре, и утренняя актерская жизнь начиналась у нас на глазах.

Вот из одной двери выплывает молодой актер Миша Н., уже потерявший надежду когда-нибудь продвинуться с третьих ролей, но глубоко верящий в силу покровительства преуспевших. Он в шелковой пижаме, некогда блиставшей нежной голубизной, а ныне грязновато-серой; изящно виляя задом, Миша несется на кухню с кастрюлечкой какого-то варева домашне-посылочного происхождения. Он спешит приготовить завтрак для своего «шефа» — артиста Ю., который с оттенком легкого пренебрежения, но все же благосклонно принимает знаки Мишиной беспредельной преданности.

С полотенцем на плече, рассматривая себя на ходу в карманное зеркальце и ощупывая подбородок — стоит бриться или нет? — грузно шагает наш первый тенор Л., и зычно тянет: «Ми-и — а-а-а — ма-а — ма-а — пу-у — па-а…» Звучит! Сегодня он в голосе. А из-за дальнего поворота коридора, совсем как из-за кулис, доносится: «Кто идет? Кто идет? Драгун из Алкала…»

Это его соперник и смертельный враг — второй тенор, дублер дона Хосе в «Кармен». «Мальчишка», воспитанник Алексея Алексеевича, от презрения и лютой ненависти к которому чуть не лопается столичный маэстро, но… прекрасный голос, тонкая юношеская фигура и темперамент — все на стороне молодого дебютанта. Стареющему маэстро с отличной школой только приходится скрежетать зубами да чертыхаться, «обкладывая» вся и всех в тесной компании «заслуженных».

Под руку с сухопарым «Падре», наголо выбритым, с римским профилем, словно высеченным из желтого мрамора, появляется молодой баритон Т., сын известного и даже знаменитого в свое время баритона Мариинского оперного театра. Он что-то сгоряча

доказывает безмолвствующему «Падре», а из двери комнаты, разметнувшись ласточкой над их головами, вылетает пара скомканных брюк, и чья-то свирепая физиономия, высунувшись в щель, орет:

— Ты, «Коварство и любовь», мать твою за ногу! Получай свои серопердриковые! Опять на мою койку бросил, гад! Погоди, я тебя достану!

Миша Г., который уже приготовил свое варево и, ловко придерживая свою кастрюлечку тряпкой, летит по коридору в комнату «шефа».

— Пардон, пардон, — лавирует он между столами, скамьями и людьми.

А навстречу, дирижируя себе двумя пальцами, кругленький и улыбающийся, краснощекий и хорошенький, как вербный херувимчик, совсем еще мальчик, Петя П. — не успел даже закончить девятый класс в школе — горланит на весь коридор:

Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм!

В кухне уже начинается баталия вокруг плиты, где каждый хочет приготовить что-то «свое» и непременно выпихнуть сковороду соседа. Все прочие шумы перекрывает страстный грудной голос Сонечки Т. — нашей прелестной молодой «Кармен» — она всего лишь с третьего курса консерватории…

— Боже мой! Опять этот рыбий жир! Я этого не перенесу!

Действительно, интенсивный аромат рыбьего жира густой волной выползает из кухонного окна, откуда выдают «казенную» кашу, и распространяется по всему помещению.

…В театре шла подготовка к премьере «Пиковой дамы». Мы с Лидией Михайловной Скаловской целыми днями ползали по полу, пришивая черный тюлевый силуэт Медного всадника на марлевый занавес. Таков был замысел нашего театрального художника Вани В. — всю увертюру дать при едва подсвеченном рампой, призрачном, туманном занавесе с Медным всадником — олицетворением Санкт-Петербурга, с чуть просвечивающими сквозь туман очертаниями решетки Летнего сада. Эффект превзошел все ожидания. Едва под первые звуки оркестра пошел тяжелый основной занавес, как раздались бурные и долгие аплодисменты.

Вообще, молодой «хохол», как он всегда себя называл, бывший студент Академии художеств Ваня В. был художником талантливым, смелым, с оригинальными задумками. Так, в четвертом акте «Кармен» он перед зданием арены установил на

площади какие-то необыкновенные колонны из мятой жести. Они были театральны и смотрелись хорошо. Когда же Ваню спросили, почему колонны из мятой жести, он невозмутимо ответил:

— Це ж поломатэ жыття Кармен… Хиба ж це нэ яснэнько?

Кстати, Ваня просидел на Лубянке два года, отказываясь подписать хотя бы один протокол. Так и не подписал ничего и благополучно прибыл наконец в лагерь сроком на десять лет, опровергая своим появлением довольно распространенную здесь теорию: «Не надо было ничего подписывать! Вот если бы мы не подписали…»

Но довольно отступлений. Итак, мы спешно заканчивали шить занавес, в классах звучали хоры, в которые был подключен весь состав театра и даже вовсе безголосые, вроде меня, и старичок-хормейстер, добрейший Николай Николаевич, с бесконечным терпением заставлял повторять по сотне раз, в одиночку и хором: «Очаровательно, прелестно, еще, мадам, еще!»

Хорошенькая армяночка Лида Т., впервые выступавшая на настоящей сцене (на «воле» она была только любительницей), с красными пятнами на щеках от волнения, без конца приставала ко всем с вопросом, как у нее звучит:

Девушкам вашего круга
надо приличия знать!

Герман — все-таки его пел «маститый» — пускал на весь театр свое: «Ми-ама-ма-а…», а сквозь стены соседнего класса проникали победные куплеты Тореадора:

То-рре-адорр, сме-ле-е-е в бой,
То-рре-адорр, То-рре-адорр…

Баритон Т., снедаемый завистью к «признанному» баритону А., который «отнял» у него его «законную» партию, репетировал Маралеса и безумно волновался, что не вытянет верхнее «фа» в проклятой фразе:

Поверьте, что средь нас найдете
Одних ли-и-ишь (фа!) доблестных солдат!

А юная Микаэла, венгерка Ежи И., «шпионка», перешедшая границу в обожаемое ею коммунистическое государство, за что и поплатилась, то и дело прибегала проконсультироваться, как

надо ставить ударение: пи́сьмо или письмо́, мат *е́*ри или м *а́*тери?

И только вольнонаемные Лиза и Полина хранили на репетициях «гордое спокойствие» — так, по крайней мере, мне казалось.

В сцене с графиней мы с Лидией Михайловной изображали приживалок, и так как обе не блистали голосами, нас заставили драматически «обыгрывать» эту сцену, пока за кулисами начинал хор: «Благодетельница наша, как изволили гулять».

Мы наспех прибирали спальню, устраивали кресло у камина, вырывая друг у друга подушки и потихоньку переругиваясь. Но вот графиня в кресле, приживалки прогнаны грозным окриком: «Что стоите?! Прочь ступайте!», а за кулисами чуть приглушенный голос выводит слова старинного французского романса… Я стою, не смея шевельнуться, не смея вздохнуть, и слезы подступают к горлу от счастья.

Во втором акте мы изображали подруг Лизы и пели: «Очаровательно, чудесно, еще, мадам, еще!»

Труды Николая Николаевича не пропали даром! В третьем акте мы танцевали плавный и величественный менуэт. Помню, как когда-то, в дни моей далекой юности, читал нараспев стихи студент ВЛХИ [2]Гроссман:

> Менуэт, менуэт,
> Два шага… и поклон!

На всю жизнь «Пиковая дама» осталась моей самой любимой оперой. Шли у нас в театре и «Евгений Онегин», и «Кармен». В «Онегине» я танцевала на балу у Лариных в каком-то красном кринолине и с седыми буклями, за неимением других париков. Но оказалось, что эти букли мне очень к лицу, и я краснела от удовольствия, когда мне говорили: «У Лариных ты была самая хорошенькая!» Зато на «греминском» балу — как мы называли тот бал в третьем акте, на который с «корабля» попал Онегин, — первенство всегда было за Лидией Михайловной с ее гордой и величественной осанкой и умением лучше всех танцевать, если, конечно, не считать нашей «настоящей» балерины — Аси К., под руководством которой и ставились все танцы.

В сцене дуэли я залезала под самый потолок и оттуда, стараясь не грохнуться вниз, среди сложной системы задников и полузадников сыпала «снег» на великолепную меховую доху Ленского и на милый заветный пень…

> Куда, куда, куда вы удалились,

Весны моей златые дни?

И сердце, и руки у меня дрожали от волнения, я боялась, что ненароком выверну разом всю корзину со снегом на голову Ленскому… В «Кармен» я пела в хоре девушек с табачной фабрики в сцене ссоры и впервые узнала, какую чушь тараторят «фабричные работницы» с аккуратностью счетной машины, чтобы не сбиться с такта:

Микаэла для начала
Очень весело сказала,
Что охотно бы осла
Для прогулки припасла.
Тут вскочила Карменсита,
Закричала так сердито:
«Ты сама осла не стоишь,
На метелке поезжай!»

А «капитан Цунига», и в жизни отчаянный бабник, не пропустивший ни одной смазливой девчонки, поглядывал на нас масляными глазками, покручивая свои залихватские усики. В четвертом акте на площади перед ареной, где шумит разноголосая толпа, продают программы, апельсины и сигареты — «первый сорт», между музыкой и пением актеры вполголоса вставляли свои реплики, изощряясь в остроумии, отчего сцена оживала, раздавались вспышки неподдельного хохота.

Предлагая воды, Падре — здесь он изображал разносчика холодной воды — приговаривал:

— Ну, не дуй же всю, оставь другим глотнуть, совесть, совесть имей, все взопрели!

Кстати, и кличка Падре пристала к нему после «Кармен». В первом акте перед табачной фабрикой, где уже собрались юнцы в ожидании перерыва: «Кармен, за тобою толпой мы спешим…», молча и торжественно, ни на кого не глядя, с каменными лицами и прямыми, как палки, фигурами, с опущенными глазами, осуждая все и всех, с четками в руках проходят два монаха-иезуита.

Одного из них неизменно играл наш Падре. Ему и грима класть не требовалось — настолько аскетична и бесстрастна была физиономия этого добрейшего и талантливейшего человека. Это был тот самый «Дудукин», которого забрали вместе со мной в театр из Пиндушей. В четвертом акте есть место, где хор поет: «Место, место синьору алькальду!» — и толпа расступается перед

ним.

Режиссер решил сделать эту сцену еще более красочной и выпустить алькальда с алькальдессой! Вот как я превратилась в знатную испанку с высоким гребнем в волосах, с двумя «испанскими» завитками на висках — «завлекалочками», как их именовали современные девицы, в красных туфельках на высоченных каблуках, вся в шелку и кружевах. Я важно шествовала под руку со своим высокопоставленным «супругом», тоже непоющим актером. Гордо помахивая огромным черным веером, я милостиво кивала раболепной толпе:

— Место, место синьору алькальду!

Что и говорить — лестно, но на одевание и гримировку уходило все время второго и третьего актов. Особенно мне было жаль пропускать второй, где пел «дон Кайро», мой большой друг и приятель Ваня Ч. Мне было безумно жаль пропускать любимый мною квинтет контрабандистов, но в первом акте я была занята в «работницах» и поэтому заранее переодеться в алькальдессу было невозможно.

О Ване Ч. мне хочется рассказать немного подробнее. Не потому, что его история была более необыкновенна, чем другие, а потому, что судьба его в лагере сложилась необыкновенно и необычайно сильно проявилась глубокая и странная любовь.

Ваня Ч. происходил, как и мой знакомый капитан, из старинной военно-морской династии, но был он значительно моложе Евгения Андреевича и, конечно, гораздо современнее. Ваня, человек высококультурный и талантливый, прекрасно играл на рояле, знал и тонко ценил музыку, любил литературу. И ко всему прочему обладал чудесным сильным голосом — бас-баритоном прекрасного, теплого оттенка.

В ранней юности встал вопрос — кем быть? Моряком или певцом? Семейные традиции победили, Ваня пошел в морское училище. Были в его поведении черточки лихачества и удальства, бесшабашной отваги. В детстве он прыгал со второго этажа, чтобы поразить товарищей. Уже в советское время, будучи капитаном, рискнул провести корабль где-то в северных морях не по обычной трассе, а обогнуть какой-то остров с другой стороны, чтобы сократить путь и время.

Что-то он не рассчитал, корабль наскочил на подводные скалы и затонул. Хотя никто из команды не погиб, Ваню Ч. посадили и дали политическую статью — «диверсия». Когда я попала в Медвежьегорский театр, Ваня Ч. переживал глубокую человеческую драму — любовную, и как-то случилось так, что я стала его другом, с которым он делился своим горем…

Героиней драмы стала заключенная артистка — Маша Т.

Была она вывезена с Соловков, где отбывала наказание по какой-то уголовной статье — что-то вроде бандитизма или кражи. И вот эта едва грамотная девчонка еще в Соловках, где тоже организовали «крепостной театр», обратила на себя внимание необыкновенными сценическими способностями.

Внешне она была очень хороша собой: высокий рост, стройная фигура, какая-то прирожденная плавность, даже можно сказать, величавость жестов, красивая, легкая походка. Ко всему этому — прекрасное русское лицо, серые, чуть широко расставленные глаза, русые толстые косы, короной уложенные на голове. И редкая, удивительная способность «брать с голоса».

Режиссеру не нужно было разъяснять суть роли, говорить об эпохе, о мыслях автора, о качествах, заложенных в образ героини, — не нужно, потому что всего этого Маша просто не понимала да и не старалась понять.

Она и пьесу-то целиком никогда не читала. Но стоило ей показать, как надо играть, как говорить, что делать и… — то, что представало перед внутренним взором режиссера, оказывалось воплощенным в роль именно так, как он того хотел.

Я видела Машу в спектакле «Шестеро любимых» Арбузова — шуструю, энергичную и в то же время наивно-мечтательную Ленку.

Видела в роли Луизы в «Коварстве и любви» — сколько нежности, смирения, обреченности! Я видела ее в «Стакане воды» — глупенькая бедная королева, которой так скучно, так не хочется быть королевой, и она так бездумно-покорна среди интриг, плетущихся вокруг нее… И все это — Маша Т., которая не знала, ни кто такой Шиллер, ни кто такой Скриб [3], и не прочла ни одной их пьесы.

И вот в эту Машу влюбился Ваня Ч. Не только влюбился, а полюбил — преданно, самозабвенно, всей своей поэтической и тонкой душой. Вдохновленный любовью, он решил, что сделает из нее настоящую актрису, что пробудит ее спящий ум и приобщит к тому, что есть искусство, и с вдохновением принялся за дело.

Но… по темпераменту и своим интересам Маша была современным воплощением Кармен в постоянных поисках своего «тореадора». Она легко и просто меняла возлюбленных, частенько просто из меркантильных соображений. Однако в перерывах между своими «увлечениями» неизменно возвращалась к Ване и считала его основным своим возлюбленным, хотя надолго ее не хватало, и вскоре у нее появлялся новый фаворит.

Так было, пока Маша Т. была «зека́», то есть заключенной. Но как раз в это время она освободилась — отсидела свои восемь лет

и… осталась вольнонаемной в театре, где была «примой». Это понятно — вряд ли Маша нашла бы где-нибудь лучшее положение. Став вольнонаемной, она тут же стала заводить «романы» с лагерным начальством, у которого, по нашим представлениям, были все блага жизни и которое хорошо знало, чем завоевать Машину благосклонность.

Все это видел и знал бедный Ваня Ч., как видели и знали все остальные. Да Маша и не считала нужным что-то скрывать и «корчить из себя даму». Наоборот: она была уркой, и, несмотря на долгое, со времен театра в Соловках, достаточно тесное общение с культурными людьми — «самостоятельными», на языке блатных, во взглядах на жизнь оставалась уркой и даже гордилась этим.

В те времена, как я уже говорила, заключенные в Медвежке жили сравнительно вольготно. Вольнонаемная Маша имела свою комнату, как-то обставленную, с пианино, которое водрузил туда кто-то из начальства. И Ваня ходил к ней, когда у нее было «настроение» его видеть. Несмотря на все, он продолжал ее любить и надеялся понемногу своей любовью разбудить в ней настоящее чувство и развить интерес к искусству и культуре.

Ваня играл ей на пианино, читал стихи. Увы! Ни музыка, ни литература Машу не интересовали. Когда он пытался завлечь ее рассказами о своей прежней жизни, она предлагала: «Давай лучше заведем патефон и потанцуем?» — и ставила пластинку «У самовара я и моя Маша», начинавший тогда входить в моду фокстротик, или что-нибудь еще… А Ваня терял голову от ее движений. И так продолжалось месяц за месяцем. Изменить эту женщину было невозможно. Но не любить ее он тоже не мог, и потому все продолжалось и продолжалось…

Когда Ваня был у нее не в фаворе и она не хотела его видеть, у него начиналась депрессия и он начинал пить, причем по-страшному — дважды стоял на грани «общих работ». Они были жупелом для театрального люда — конец вольготной жизни, физический труд, в особенности лесоповал. К нему никто из нас не был приспособлен, и он навсегда мог искалечить голос, руки или ноги — все, без чего не может существовать актер, певец или музыкант; и главное, лесоповал в итоге, как правило, доводил до истощения и гибели. Достаточно было одного движения пера, и человек мог оказаться «зачеркнутым» на всю жизнь.

Однажды, во время очередной «отставки», Ваня Ч., вконец пьяный, но крепко державшийся на ногах, с помутневшими звериными глазами, вломился перед началом спектакля в уборную Маши Т. и зверски ее избил. Маша визжала на все кулисы, а он хриплым, но громким голосом награждал ее

эпитетами достаточно правдивыми, но нецензурными, вспоминая прародителей до четвертого колена.

Наконец Машу отняли, а Ваню Ч. скрутили. Маша оказалась на высоте: наскоро замазав синяки «общим тоном», она вовремя вышла на сцену. Впоследствии Маша очень гордилась своими синяками, как гордится каждая урка наглядным доказательством обожания и успеха у мужчин. Ваню Алексей Алексеевич велел запереть в своем личном директорском кабинете.

— Я сам с ним расправлюсь, — бешено и коротко сказал он. Как он «расправлялся», нам было неизвестно, но Ваня потом под большим секретом рассказал мне, что он отлично выспался и протрезвел на директорском диване.

«Внушение» все же было.

— Даю слово тебе, сукин сын, — грозно прохрипел Алексей Алексеевич, — в последний раз! Иначе — не посмотрю на твой уникальный бас-баритон и отправлю к чертям собачьим — на лесоповал!

Ваня обещал, и… все пошло по-прежнему. Второй раз произошло вообще нечто экстраординарное. Шла «Кармен». Ваня — «дон Кайро» — явился вовремя, но разило от него за сто шагов, и на ногах он стоял не вполне твердо. Однако начал гримироваться и к концу первого акта был готов к выходу. Увы, в жаре кулис его развезло окончательно.

И вот мой любимый квинтет, который ведет за собой чудный бархатный баритон Вани Ч:

> У вас все уловки
> быстры и ловки…

Баритон начал хорошо, хотя при первой ноте Ваня явственно покачнулся на обеих ногах. Но дальше… Господи, что же происходит? Почему квинтет все замедляет и замедляет темп? По залу проносится какой-то не то шорох, не то вздох. Кулисы постепенно заполняются актерами с удивленно расширенными глазами. Все стремятся заглянуть на сцену…

Оркестр играет все медленней и медленней, чтобы не обогнать почему-то вдруг застрявшие в горле ноты певцов. Как будто замок Спящей красавицы погружается в сон. Но ведь это же не «Спящая красавица», это же «Кармен»! Как будто кончается завод в граммофоне и пластинка крутится все медленнее и медленнее, растягивая уже неузнаваемые ноты; вот-вот она остановится и замолчит совсем…

В зрительном зале все замирает — даже простым, неискушенным в музыке людям ясно: что-то случилось.

Надвигается «катастрофа», сейчас занавес пойдет вниз… За кулисами стоят замершие актеры. В суфлерской будке застыл с широко открытым ртом и ужасом в глазах наш старенький суфлер А.Н., а великолепный Пан, откинув седую голову, горящими гневом глазами впивается в сцену, словно собирается испепелить или по крайней мере загипнотизировать злосчастный квинтет, и дирижерская палочка в его руке медленно вычерчивает в воздухе какие-то каббалистические знаки…

И все-таки они допели! Занавес, готовый опуститься каждую секунду, нервно подрагивал в руках рабочих сцены, державших его уже наготове. Последний такт, последняя нота, и квинтет буквально выносит со сцены на руках своего ведущего баритона… В зале — единый вздох облегчения! Сцена оживает, опера продолжается дальше в обычном темпе.

Алексей Алексеевич врывается за кулисы; изрыгая проклятия, кроет Ваню Ч. пятиэтажным матом, хватает телефонную трубку и хрипит в нее:

— Наряд! Наряд!

Ваню уводят в КУР…

В конце акта поет уже другой, наскоро одетый и загримированный «дон Кайро». Но и на этот раз Алексей Алексеевич спасает Ваню от общих работ, долго и грозно ругает, и Ваня опять «дает слово». Через две недели он снова поет в театре. Не знаю, сколько суждено было бы продержаться этому «слову», если бы внезапно, «как гром среди ясного неба», Ваню Ч. не освободили! Его отец, занимавший какую-то важную должность в морском ведомстве, продолжал хлопотать за сына не покладая рук. И, как ни странно, добился своего — ведь это был все еще 1936 год!

Дело пересмотрели, и статью переквалифицировали. Из «диверсанта» Ваня превратился в… «бандита»! Есть такая статья — 59-в, кажется: «транспортный бандитизм». Что это такое, в точности никто из нас не знал, не знал и сам Ваня.

Но бандит, слава богу, по Уголовному кодексу — не диверсант! Срок скостили, и оказалось, что Ваня даже пересидел. Отец приехал за сыном и… не увез его.

Я пишу только воспоминания, а не роман, но сплетения событий иногда превосходят все романтические вымыслы. Ваню освобождают, но тут же вторично арестовывают Машу! Толком никто не знает, за что и почему. Ходят слухи о какой-то политической статье, догулялась, дескать, с начальством! Одним словом, Маша «сидит». И Ваня вместо того, чтобы ехать с отцом, остается в Медвежке, обивает пороги третьей части, добиваясь свидания, которого, конечно же, не дают; посылает добротные

передачи, «ручается» в невиновности Маши, над чем только смеются, но в конце концов предостерегают его вполне серьезно — прекратить свою опеку, пока сам цел! И так шло до самого моего непредвиденного и нежеланного расставания с Медвежьегорским театром.

Что было потом, я уже никогда не узнала… Начало же этой истории относится к 1936 году — году моего пребывания в Медвежьегорском театре. Бóльшую ее часть в театре знали все, а некоторые более глубокие подробности были мне поведаны самим Ваней небольшими порциями в маленькой комнатушке, называвшейся «макетной». Она находилась на втором этаже театра, напротив «балкона». Там я клеила макеты декораций по эскизам другого Вани — художника Вани В. Там же мы с Лидией Михайловной вырезали картонных персонажей для затеянного мною театра теней.

Комната запиралась на ключ, чтобы не мешали слоняющиеся без дела между репетициями актеры, и Ваня Ч. был одним из немногих, кто допускался в нашу «макетную». И вот, слушая излияния Вани, я возилась с клеем и картоном, а по ту сторону двери, в коридоре, неизменно дежурил и вздыхал мой верный поклонник Егорушка Тартаков.

Он принадлежал к типу людей, которые вызывают одновременно и жалость, и жестокое желание подшутить, посмеяться или разыграть. И все это — со стороны людей, которые прекрасно понимали, что Егорушка — человек более высокого склада, чем они, более культурен, эрудирован, музыкален. Таким, как он, обычно достается еще с детства, со школьной скамьи…

Окружающие, постоянно потешавшиеся над Егорушкой, не были жестокими людьми и вовсе не хотели ему зла. Просто им трудно было удержаться от желания поддразнить человека, который, не принимая шуток, каждое, даже самое простое слово, к нему обращенное, выворачивал наизнанку, примерял к себе на свой лад, выискивая в нем обиду и издевательство, если даже таковых и в помине не было.

Вот потому-то Егорушка и был в театре «козлом отпущения». Фоном же всему служила «главная»» обида: он, сын выдающегося оперного певца, не унаследовал отцовского великолепного голоса, хотя и обладал абсолютным слухом и очень приятным, мягким, но, увы, слишком слабеньким для сцены баритоном.

Егорушка окончил Ленинградскую консерваторию, а в оперу не попал. После ряда неудачных попыток устроиться в периферийных театрах он махнул рукой на оперу и устроился в Ленинградский театр оперетты.

Этому человеку, лишенному чувства юмора, не умевшему смеяться и дурачиться «просто так», просто потому, что весело, и признававшему только серьезную, классическую музыку, оперетта «подходила» как корове седло или того меньше. Понятно, что его все время мучили неудовлетворенность, тоска по «настоящей» музыке, по опере.

Отца своего, известного певца, он боготворил и при жизни, и после его нелепой и трагической гибели в дорожной катастрофе. Отец Егорушки — еврей из Бердичева, сделавший блестящую и небывалую карьеру в опере и ставший певцом с мировой известностью, женился на бывшей княжне, женщине очень неуравновешенной, истеричной, фанатично религиозной, в конце жизни всерьез увлекшейся мормонством.

Склонность к мистицизму и религиозную настроенность Егорушка, очевидно, унаследовал от матери. Из всех детей, а их было четверо, только он был болезненно уязвимым, обостренно нервозным, да и до истерики его ничего не стоило довести. Ко времени ареста в 1935 году ни отца, ни матери уже в живых не было.

А сидел Егорушка за… спиритизм. В Ленинграде у него образовалась небольшая компания молодежи, которая увлеклась спиритизмом. Начали с обычного — верчения блюдечка на круглом столе, которое вскоре привело к захватывающим дух беседам. Потом задвигался стол. Появился медиум… Не знаю, была ли это экзальтация мистически настроенной молодежи или что-то другое, но рассказывал Егорушка о чудесах, от которых мороз по коже продирал. Он не раз говорил:

— Может быть, арест мой был моим спасением. Еще немного, и я потерял бы рассудок.

Они вызывали духов, и духи, по его словам, материализовывались, высвечиваясь в темном углу, или на столе вдруг появлялся призрак светящейся руки. В последний же перед арестом сеанс в полутемной комнате, где он происходил, внезапно появились тяжелые бронзовые канделябры, которые начали носиться по комнате, угрожая съездить по головам испуганных «спиритов». Когда же кто-то, не выдержав, крикнул: «Свет!» и распалась цепь рук, канделябры с грохотом полетели на пол и там и остались неподвижными и неодушевленными, какими им и полагалось быть.

Позже, на следствии, выяснилось, что у хозяев квартиры — некогда барской и обширной, а теперь тесной и коммунальной, где все коридоры были заставлены сундуками и корзинками с разным барахлом, действительно имелись подобные канделябры. За ненадобностью валялись они в одном из вышеупомянутых

коридорных сундуков. Он стоял внизу, загруженный еще несколькими этажами ящиков и корзин, и, по словам хозяина, никто в него не лазил и канделябров не доставал. Как эти светильники попали в комнату, где шел спиритический сеанс и где они носились под потолком, как бешеные, по сей день осталось неразгаданной тайной…

Всю компанию арестовали и объявили контрреволюционной организацией, но ввиду отсутствия какой-нибудь более наказуемой деятельности, чем верчение столов, обвинили в контрреволюционной пропаганде и «пришили» статьи 58–10 и 58–11 — «антисоветскую пропаганду и группировку». По решению Особого совещания обвиняемые получили «всего» по пять лет и разъехались по разным лагерям.

Егорушка, к счастью, сразу попал в Медвежьегорский театр, где и отсидел вполне благополучно свой срок. В театре он чувствовал себя несчастнейшим из смертных: во-первых, ему казалось, что его совершенно несправедливо «затирают», не дают партий; он всегда был лишь «дублером», и на нем выезжали на репетициях или давали лишь незначительные роли…

Гордость этого человека страдала невыносимо. Егорушку не утешало, что его звали послушать новый голос, ибо он слышал детонацию какой-то шестнадцатой доли, которую не слышит ухо простого смертного; что к нему за консультацией и советом обращались все, кто нуждался в музыковедческой или просто исторической справке; что с его мнением считались все, начиная от самого Алексея Алексеевича.

Егорушка был глубоко несчастлив, но выражал это так патетически, хватаясь за голову и не раз обещая покончить с собой, что это невольно вызывало улыбку, неуместность которой часто обостряла обстановку. Однажды, проснувшись утром в общежитии, он увидал над своей постелью, непосредственно над головой, хорошо укрепленную на потолке петлю, даже предусмотрительно намыленную. Озорные глаза тех, кто придумал эту злую шутку, поблескивали из-за подушек с соседних коек…

Подобным проделкам не было конца — ведь известно, что шутить только тогда и интересно, когда объект шутки «зеленеет» от бессильной ярости и досады! Но больше всего Егорушке стало доставаться, когда на него свалилась новая беда — его угораздило влюбиться в меня. Сразу, как только я появилась в театре, — «любовь с первого взгляда»!

К чести моей, я скажу, что никогда не смеялась над этой любовью — ни тогда, ни сейчас. Но при этом чувствовала и угрызения совести: мне льстила его любовь, хотя я и не могла на

нее ответить. Любовь же была настоящая, глубокая, и если бы мне было дано ответить на нее, может быть, я и нашла бы в ней свое настоящее счастье.

Но… я ценила Егорушку как человека интересного, очень глубоко эрудированного, очень музыкального, щепетильно-порядочного, и чувства его ценила, но оставалась к нему равнодушной… Он же выражал свои чувства действительно смешно. Вскоре он стал ходить за мной по пятам, как собачонка, так что я не знала, как пробраться незамеченной в туалет. Он дежурил утром у двери, чтобы не пропустить меня, и заранее занимал мне место за столом рядом с собой, что, конечно, кончалось скандалом: народу было много, и многие, выражаясь в их манере, «плевать хотели» на то, что место для кого-то занято.

Егорушка смотрел на меня таким преданно-страстным взглядом, что невольно напоминал Карандышева из только что вышедшей тогда на экран «Бесприданницы». Он глупел в моем присутствии и бормотал какие-то немыслимые комплименты. Прозвал меня «императрицей Ириной-Евгенией» (я как-то сказала, что жалею, что меня не назвали Ириной — моим любимым именем), и так за мной это прозвище и сохранилось на всю бытность мою в Медвежьегорском театре.

Он мешал мне заниматься макетами, жарко дыша в затылок, и я стала бесцеремонно его выставлять из комнаты или щелкать замком входной двери перед самым его носом. Среди наших музыкантов был славный и толковый мальчик — скрипач Вася В., с которым у меня сложились хорошие, дружеские отношения. Однажды, когда мы вместе с Васей смотрели кино в одной из комнат для занятий, разыгралась бурная сцена: Егорушка кричал и клялся убить нас обоих, в щепки поломал ни в чем не повинный стул и впал в такую истерику, что его едва успокоили. С тех пор его окрестили «Коварство и любовь»…

Много лет прошло с той поры, много воды утекло. Но как сейчас вижу его бледное несчастное лицо с дрожащими губами, с безнадежно-отчаянным, страдающим взглядом, и слышу прерывистый лепет:

— Скажи… скажи только… ты можешь меня полюбить? Хоть немножечко?.. Хоть чуть-чуть?..

Нет, Егорушка, не суждено было…

Но я его не прогоняла, как надо было по-честному это сделать, а старалась перевести его ухаживания в дружбу, искренне питая к нему жалость и симпатию, и заступалась за него, где и как могла. В общем, как-то постепенно он стал «своим», и в компании с Падре, который его любил и никогда не обижал, мы в свободное время бродили вокруг Медвежки,

поднимались на горки, поросшие елями, натыкались неожиданно на маленькие озерца, срывали ветки спелой рябины. Хорошие это были прогулки, тихие и умиротворяющие.

Незаметно подошел декабрь, и ко мне приехала мама с обоими мальчиками. В те времена со свиданиями было еще вольготно: мама получила разрешение и сняла комнатку в Медвежке, а я, пользуясь своим круглосуточным пропуском, попросту вместе с ней там жила. Комнатушка была крохотная — вокруг стола впритык стояли три деревянных топчана; а с четвертой стороны была дверь. На этих топчанах мы спали и сидели, а ребята бегали за нашими спинами, кувыркались и дрались. Какое счастье было видеть их всех вот так, настоящими, живыми, а не через решетку в ревущем аду Бутырок. Трогать, тискать теплые тельца моих мальчишек… Все прошедшее казалось нереальным сном — кинокартиной, просмотренной, но не пережитой…

Каждую свободную минуту к нам прибегали Егорушка и Петя, возившийся с мальчиками и по-детски присоединявшийся к их шуму и крику. Мама хлопотала за столом, наливая чай из большого чайника в стаканы и чашечки, что нашлись у хозяйки, торопясь, развязывала баночки с привезенным вареньем.

— Вот малина, твоя любимая! Специально для тебя варила, знаю, как любишь…

Намазывались бутерброды, открывались консервы.

Господи! Не барак — дом! Все такое домашнее, родное… Совсем своими, тоже домашними, стали Петя и Егорушка, чуть не переселившиеся к нам и уходившие к себе только после того, как под наши разговоры, за нашими спинами, засыпали ребята. Было бы место, не уходили бы вовсе… Декабрь был на редкость теплый, с оттепелями и ручьями с гор, но Петя все же без конца катал ребят на санках, с восторгом ржал и прыгал, бил по-лошадиному «копытами».

Черными пушистыми шариками в своих меховых шубках катались с горы мальчишки, и младший, все еще не выговаривающий буквы «р», захлебываясь от восторга, распевал во весь голос:

А ну-ка, песню нам пйопой,
Веселый ветей, веселый ветей!

Вечером, если я была занята в спектакле, мама шла с ними в театр. Помню, как маленький Вечик потом допытывался: «А она умерла по-настоящему? А кинжал у него был настоящий?» Это после «Кармен».

Кончилось все Новым годом и елкой. Самой взаправдашней, которая стояла на нашем столике, посреди трех топчанов — елкой, украшенной игрушками и свечами, предусмотрительно захваченными мамой; елкой с подарками под ней для больших и маленьких. И какое-то легкое вино разливали по чашечкам и стаканчикам, и поднимали тост за Новый год — чтобы всем освободиться в этом году! Чтобы всем вернуться домой! «И вместе!»— добавляли сияющие глаза Егорушки.

Наступал 1937-й, и никто не знал еще, что это будет за год. Хорошо, что мы не знаем своего будущего… Мама уехала успокоенная, с облегченной душой. Оказалось, «лагерь» — не так уж страшно, не так катастрофично. И здесь жизнь, и здесь люди, и здесь работа — да такая, что о ней с восторгом рассказывают… Слава Богу, слава Богу!..

Где же было ей знать, родной моей, что это — еще не лагерь, что это — только прелюдия…

Глава 2
Год 1937-й

Памяти Андрея Быховского и всех тех, кто не выжил и не дожил, посвящаю.

Е. Федорова

I. Медвежьегорская пересылка

37-й год нагрянул в Медвежку в мае. Смутные толки об этапе, правда, ходили уже давно. Много заключенных-специалистов — инженеров, плановиков, бухгалтеров, врачей — работало в управлении Беломорлага (ББК). Оно находилось в Медвежке, точнее, в поселке, который назывался Медвежьей горой и к тому времени еще не успел стать городом — Медвежьегорском.

Хотя разговоры с заключенными строго преследовались, кое-что «зеки», работавшие в управлении, слышали от своих вольнонаемных коллег, которые, несмотря на «строгий запрет», относились к ним большей частью дружелюбно и с симпатией. Таким образом, кое-какие сведения проникали в зону лагеря и, конечно, в наш «крепостной театр», обслуживавший начальство ББК.

Но все равно, хотя и смутно ожидаемый, этап грянул неожиданно. С вечера и всю ночь людей вызывали по формулярам «с вещами» и отправляли в Медвежьегорскую «пересылку». Она оказалась переполненной — тут были заключенные из самых разных мест Беломорлага, как из ближних лагпунктов (тут оказались и мои знакомые из конструкторского бюро в Пиндушах), так и из дальних — из Надвоиц, Сегежи, Сороки, вплоть до Кеми.

В основном тут были представители интеллигенции — специалисты и научные работники. Всех объединяло одно: «страшные статьи», вернее, «пункты» 58-й статьи: самая тяжкая — 58-1а — измена родине (по ней давали десять лет, которые иногда заменяли расстрелом по приговору); 58-6 — шпионаж; моя — 58-8 — террор. Хотя большей частью перед этими пунктами стояла цифра 19, что обозначало «намерение», на нее никто не обращал внимания — все равно для местного начальства мы все были «шпионы и террористы».

Большинство лагерников этой категории относилось к

людям, приговоренным к расстрелу, с заменой меры наказания десятью годами. В то время это было «потолком». Двадцать пять стали давать значительно позже, в 40-х годах, после войны. Всю 58-ю статью в лагерях в ту пору и начальство, и «бытовики» дружно величали «контрой».

Из театральных в пересылку угодили только несколько мужчин-актеров; из женщин — я одна. Мы прожили там несколько дней, и я не назвала бы их «ужасными». Скорее, наоборот. Никто еще не знал, что нас ждет. Все были взволнованы и возбуждены ожидаемой переменой. Казалось бы, смешно было ожидать перемены к лучшему — людей сюда собрали не с «общих работ», не с лесоповала — они и так жили в лагере в наилучших условиях и работали по своей специальности. Чего же лучшего можно было ждать?!

Но встречались среди пересыльных наивные и экзальтированные люди, которые шепотом настойчиво уверяли, что это — этап на пересмотры дел, и приводили «веские» аргументы: ведь арестованных по статье 58–10 не забрали. А почему? Да потому, что их дела не признали столь вопиющими. Их обвиняли в болтовне, а поди разберись, болтали они или нет. Но вредительство, шпионаж, террор — ведь это же вещественно! Тут же факты нужны, факты! А где же они? Нет, нет — это пересмотр, вот увидите!

Правда, таких слепо верящих было мало. Ходило много слухов: это будет дальний этап в какой-то новый северный лагерь — Норильск. Новый лагерь, он только строится, нужны специалисты, потому и идет отбор специалистов.

Ну а такие, как я? Газетный работник, детская писательница, к тому же начинающая, без «имени»? В каком качестве я могла пригодиться в далеком северном лагере, хотя бы и новом?!

— Ну, какой-то процент случайности всегда может иметь место, — рассудительно отвечали желающие верить в Норильск.

Но ходили слухи и более зловещие. Их люди просто гнали от себя, до последней минуты не желая в них поверить. Это было страшное слово «Водораздел».

Как я уже упоминала, это был жупел, которым пугали в управлении, в театре, в конструкторском бюро, на любой «блатной» работенке. Это название объединяло в себе несколько штрафных лагпунктов БеломорБалтЛага, на самом верхнем участке ББК, куда заключенных отправляли за провинности. Из нас никто не бывал на «Водоразделе», но мы все знали, что там делалось: там были только лесоповал и «загибаловка» — гибель от истощения.

Загибались на «Водоразделе» все. Вместо леса — одно

мелколесье, и никаких норм выработать даже настоящим работягам было невозможно. В результате хлебная пайка срезалась до 200 граммов, а это означало голод и истощение. Сначала люди переходили в разряд «доходяг», потом попадали в лазарет на лагпункт «Северный», из которого уже никто живым не возвращался. Верить в то, что нас отправят на «Водораздел», никому не хотелось… И все же это оказался именно он. Мы ни в чем не провинились. Просто настал 1937-й год, и лагерники ощутили его на своей шкуре точно так же, как и весь народ Союза Советских Социалистических Республик… Прежде чем рассказывать о нашем этапе на «Водораздел», хочу еще немного вернуться к тем немногим дням, которые мы провели на пересылке, так как они сыграли большую роль в моей дальнейшей лагерной судьбе. Жили мы там все еще довольно вольготно. Пересыльные бараки — и мужские и женские (впрочем, такой был всего один, да и то полупустой) — стояли за одной общей загородкой, и в «зоне» можно было беспрепятственно ходить, гулять и сидеть на завалинках у бараков. Поэтому за эти дни произошло много знакомств, было выслушано множество чужих историй и рассказано своих. Ведь людей лишили свободы, книг, радио, и оставалось только одно: рассказы, воспоминания, предположения…

Здесь, на пересылке, я встретила Андрея Быховского — яркого, энергичного и интересного человека, который стал до конца своих дней моим самым дорогим и близким другом и благодаря влиянию которого я в конечном итоге не погибла на «Водоразделе». Обстоятельства его жизни были необычными даже среди пестрого калейдоскопа прочих историй.

Племянник ставшего известным в 20 — 30-е годы заслуженного артиста Юрьева [4], он рано остался сиротой и до революции воспитывался в семье дядюшки, где детей, впрочем, никак не воспитывали и они росли сами по себе, отделенные от мира взрослых, всецело переданные на попечение старой и преданной няньки — фанатично религиозной и суеверной старухи, населившей детскую чертями и домовыми, лешими и ведьмами, невероятными чудесами и ожиданием загробных адовых мук.

Но детей она любила, и они ее любили, особенно за эти таинственные, страшные и непонятные истории, которые старуха им рассказывала. А маленький Андрейка просто их обожал. К старой юрьевской няньке он сохранил самые теплые чувства. Жуткий и таинственный мир детской надолго завладел фантазией мальчика, заронил необоримую тягу ко всему неизведанному, заколдованному и опасному. На всю его жизнь!

…Ко времени революции Андрей Быховский оказался юнкером. Сражаясь за «Россию, царя и Отечество» и отступая вместе с врангелевским войском, он покинул Крым. Так волею судьбы оказался Андрей белоэмигрантом за границей, хотя политика никогда его не привлекала и он не собирался делать политическую карьеру, да и не особенно еще разбирался, что к чему в этом большом мире… Бросок за границу ощутился им как рывок в неизведанную романтику. Разлука с родиной представлялась делом временным и не слишком тяжелым, тем более что людей родных и любимых в России не осталось, а отношения с дядюшкой и двоюродными сестрами были холодными.

И вот, по существу мальчишка 19 лет, без специальности, без денег, без знакомств и покровителей, оказался Андрей в одиночестве за границей… Но не пошел обивать пороги иммигрантских комитетов, а с удовольствием стал жить «сам по себе». Ему хотелось все увидеть, все испытать. И он увидел и испытал… Прошел «огонь, воду и медные трубы».

Чем только Андрею ни приходилось зарабатывать на жизнь! В Греции он держал тараканьи бега. Из Австрии в Венгрию доставлял контрабанду, отсиживая по несколько месяцев в тюрьмах при поимках. В Бразилии бежал из легиона наемных войск, едва не погибнув от тропической лихорадки и нечеловеческих условий жизни легионеров. Был мелким разносчиком и «зазывалой» в каирских лавчонках. Едва не сделался наложником какого-то не слишком крупного эмирчика. Наконец, устав от скитаний и голода, Андрей охотно завербовался у набиравшего учеников сербского отца-иезуита в религиозный колледж, который готовил служителей церкви. Особо способные ученики могли рассчитывать в будущем даже на епископат. Андрей оказался способным учеником — одним из первых. С ним вскоре начали носиться и готовить его в помощники епископа.

Два года он жил припеваючи, катался как сыр в масле — отоспался, отъелся на иезуитских харчах, про себя посмеиваясь над церковной братией, над фанатиками и схоластами. Но все же немало было прочитано и серьезных, научных книг. Многие вопросы философии и истории увлекали. Однако приближался выпуск, и Андрей решил, что пора сматывать удочки. В епископы он не собирался. Поблагодарив братьев-иезуитов — мысленно, конечно, — Быховский удрал из колледжа. Опять настала пора бродяжничества, но за годы, проведенные среди серьезных, образованных людей, он получил разносторонние знания, которые заставили его на многое взглянуть серьезнее.

В Обер-Аммергау на ежегодные священные мистерии Андрей попал случайно. Набирали статистов для тысячных армий войска Христова. Здесь были и студенты, и школяры, и просто бродячий люд, жаждущий хоть немного подзаработать.

Главных действующих лиц — Христа, Деву Марию, апостолов — изображали местные крестьяне, у которых роли переходили из рода в род, от отца к сыну, от матери к дочери. Христово войско, крестовые походы, битвы за Гроб Господень изображали пешие и верховые статисты в костюмах, париках и гриме. Зрелище было грандиозное, и десятки тысяч зрителей собирались полюбоваться им, располагаясь на окрестных пологих склонах холмов.

Режиссеры со сверкающими на солнце рупорами носились туда и сюда на взмыленных конях и командовали армией актеров. Андрея зрелище сначала поразило, затем захватило, а потом он уже не мог оставаться только послушным исполнителем… Вскоре он стал «внештатным» помощником режиссера, а на следующий год — уже настоящим режиссером.

От священных мистерий в Обер-Аммергау Андрей пришел в кино. Ему повезло. Удалось сработаться с оператором. Успешно сняли мистерии. Потом — несколько интересных хроник. Наконец можно было не думать о куске хлеба. Но «правильная» жизнь уже не удовлетворяла… Даже такая разносторонняя, как жизнь хроникального кинорежиссера, казалась пресной. Тянуло пуститься в какую-нибудь невероятную авантюру…

В Россию тоже потянуло из любопытства. Своими глазами посмотреть — что там? Шел 1934 год, близилось 20-летие Октябрьской революции. В то время Андрей Быховский жил и работал в Чехословакии. Там тогда было немало русских эмигрантов. Там же зародилось и разрослось до значительных размеров движение «Смена вех». Четыреста сменовеховцев решили вернуться в Россию и через эмигрантский комитет выхлопотали себе визы. Специальный поезд увозил их в Россию.

Встреча оказалась грандиозной. Ее можно было сравнить, пожалуй, только со встречей папанинцев. Оркестры на платформе, кортеж машин с флагами по улицам Москвы, народ толпами вдоль тротуаров, народ в окнах, на балконах, мальчишки на деревьях, и всюду, всюду цветы — море цветов, дождь цветов!! Россия встречает заблудших сынов!.. Ура, ура!!

Всех новоприбывших обеспечили работой и жильем. Быховский снимал октябрьский парад 1934 года на Красной площади. А октябрь 1935-го встретил уже в Бутырках. Арестованы были все 400 человек, за исключением нескольких, которым удалось случайно ускользнуть из поля зрения органов. Их продолжали искать и в 1937 году!

Все сменовеховцы взамен букетов из роз получили по целому букету пунктов 58-й статьи, из которых основными были группировка в целях заговора и связь с иностранным капиталом. Все получили по десять лет.

…Истории Андрея были красочными, и рассказывал он их великолепно. Я готова была слушать его без конца, мы чувствовали все возрастающую симпатию друг к другу и не разлучались целыми днями — ведь каждое утро сулило разлуку, и скорее всего — навсегда…

Этап уходил за этапом, и никто точно не знал куда. Только потом мы узнали, что все они шли в одно место — на «Водораздел», в его разные лагпункты, разбросанные по берегам верхнего участка Беломорско-Балтийского канала. Настало и наше утро. Тревожное и… неожиданно радостное. Мужчины уже стояли с вещами по четыре в ряд, и Андрей смотрел на меня умоляющим взглядом, как будто мог «вымолить» — не разлучаться! С крыльца нашего барака донеслось:

— Женщины, сюда!

Изо всех нас «с вещами» вызвали только меня. Мы с Андреем попадали в один этап!.. А еще говорят — чудес не бывает!

II. «Водораздел» (Лагпункт «Южный»)

Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась —
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас…

Ф. Тютчев

…Всякая отправка на этап занимает уйму времени. Проверка формуляров, обыск чемоданов и мешков, причем выбрасываются все «личные» алюминиевые миски, ложки, иголки, ножницы — как будто можно в лагере прожить без этого нехитрого имущества! Лагерное начальство же, видно, убеждено, что ложкой можно перепилить проволочное заграждение, а иголкой — уложить наповал «попку» на вышке!

Должно быть, им виднее: ложки и миски выбрасывались всегда и везде, а потом неизменно заводились новые, выменянные на пайку хлеба, зачастую у тех же конвоиров.

После проверки — бесконечное пересчитывание, потому что то оказывалось, что кого-то не хватает, то вдруг появлялось двое

лишних! Этап наш был огромный, человек в 500, и погрузили нас на баржи только к вечеру, когда многих ноги уже больше не держали. К счастью, баржи были открытыми, и, когда мы кое-как улеглись на полу трюма вповалку, над нами уже алело северное ночное небо и можно было дышать полной грудью. Все устали от напряжения бесконечного стояния и быстро задремали. Разбудил утренний холодок, забравшийся за ворот несмотря на то, что и справа и слева люди боками грели друг друга. Чья-то теплая ладонь пожала мою руку. Рядом лежал Андрей.

Помню, как дивно расцветала пожаром заря над головой, как несмело и сладко замирало сердце, как все было призрачно в морозном хрустальном воздухе. Я боялась пошевельнуться или вздохнуть поглубже, чтобы не нарушить, не сломать это колдовство…

Но все имеет конец. Баржа куда-то пристала, и зычные крики конвоиров «А ну, встать!.. Шевелись!» — сломали сказку и вернули нас на землю. Новоприбывших стали «выгружать». Еще с утра тонкие льдинки затягивали лужи и жирная черная грязь неохотно расползалась под ногами, но часам к десяти она превратилась в жидкое месиво и шумно чавкала, замешанная сотнями подошв.

Наш лагпункт назывался «Южным», и говорили, что до него недалеко — километров 18–20, не больше. Но огромный этап наш, растянувшийся живой гусеницей на километр в длину, двигался очень медленно. Идти обочиной, где еще не было жидкой грязи, конвоиры не позволяли. Вещи мы тащили сами, и многие, выбившись из сил, бросали на дороге чемоданы, наспех соорудив из рубахи мешок и затолкнув в него то, что помещалось.

Я тоже хотела оставить мой маленький деревянный чемоданчик, но Андрей и еще двое мужчин из нашего ряда взялись помогать мне и тащили его поочередно. Несколько раз мы присаживались на обочине дороги, что-то жевали. Почти все прихватили с собой что-нибудь съестное, ведь даже на пересылке был ларек, где разрешалось купить печенье, конфеты, папиросы. Денег на этот раз не отбирали, очевидно считая этап недолгим.

К вечеру мы приползли к колючей ограде. Но, прежде чем нас впустили в «зону», снова начались проверка по формулярам, пересчитывание и обыск. Опять бесконечное стояние у вахты, и, когда изнеможденные люди присаживались прямо в дорожную грязь, даже конвоиры на них не кричали. Но вот наконец мы в лагере. Маленькая хатка-хибарка — единственный женский барак. На сплошных нарах здесь живут 34 человека — все женское население лагпункта. У каждой женщины не менее двух, а то и по три, и по четыре «креста» — так почему-то в лагерях обозначалась

степень заразности. Сифилитички все до единой.

На собственном опыте я убедилась, что сифилис далеко не так уж заразен, как это считает медицина. Женщины-уркаганки не считались с тем, что свое, а что чужое. Ложка, миска, котелок — что подвернулось под руку, тем и пользуются. Их не волновало, чье это полотенце, чья это подушка, а то и просто чья это постель. То ли спьяну бухнулась куда попало, то ли лень встряхнуть свою, но зачастую, придя с работы, заставала я на своей постели спящую бабу, и растолкать ее не было никакой возможности.

…В ту самую первую ночь, вернее под утро, когда в бараке стало уже совсем светло, я, проснувшись, вдруг увидела, как повешенное мною на столб платье вдруг взмыло в воздух и потихоньку начало подниматься к потолку, пока не исчезло в черной дыре. В изумлении я что-то крикнула, и дружный, даже добродушный хохот был мне ответом.

Впрочем, тем же утром я выменяла обратно свое платье на пайку хлеба, а так как свою собственную снедь, сбереженную на этапе, сама разделила между моими сожительницами (в бараке их было не так уж много — большинство околачивалось у своих «хахалей» по другим баракам), то тут же стала «своей в доску», и женщины из нашего барака никогда меня больше не обижали.

Скоро выяснилось, что спать в помещении вообще невозможно, даже тогда, когда ноги подкашиваются от усталости. Пропорционально возрастающей жаре возрастало и полчище клопов, выгоняя нас из барака, и мы устраивались где-нибудь поодаль, на свежем воздухе. Но все это пока было впереди.

А теперь несколько слов о том, что произошло с мужчинами из нашего этапа. Пока нас проверяли и пересчитывали, настала северная карельская ночь. Когда наше «стадо» наконец оказалось по другую сторону от вахты, мужчин со всеми их пожитками погнали в большой и длинный барак, с виду больше похожий на скотный двор или конюшню из-за узких с горизонтальными прорезами окон. Конечно, света сквозь них даже и светлой карельской ночью проникало мало, а освещения в бараке вовсе никакого не было.

Ощупью, натыкаясь друг на друга, на вещи и нары, живой поток втекал в барак, и наконец за последним человеком закрылись двери, загремели засовы и замки. Люди наконец могли отдохнуть. Среди ночи в запертом бараке поднялось нечто невообразимое. Дело в том, что длинный барак был перегорожен посредине сплошной досчатой стеной. В одной половине находились вновь прибывшие этапники, проходившие по 58-й статье, а в другой — жившие здесь уже давно мужчины-уркаганы.

Урки — народ энергичный и сообразительный, если еще не

успели стать доходягами. Информация у них поставлена отменно, и они всегда знают обо всем, что делается в лагере. Они не мешкая разобрали перегородку, и в темноте и давке начался невиданный грабеж. Тащили и отнимали не только чемоданы и мешки — раздевали людей догола и избивали сопротивляющихся.

Крики, вопли, призывы начальства и конвоя, грохот, мат сотрясали не только барак, а и весь небольшой клочок земли, который назывался лагпунктом. Но ни один конвоир не приблизился к бараку, ни одного выстрела, хотя бы в небо, для острастки не раздалось с вышек… Это никого не касалось.

На нашем лагпункте не было ни одного дерева или даже самого сухого и пыльного куста. Только несколько деревянных бараков, а за ними — ямы от выкорчеванных когда-то здесь росших деревьев. По вечерам, в короткое время от ужина (он же — обед) до отбоя, вокруг каждой ямы собиралась своя компания. И даже урки не занимали «чужой» ямы…

Когда мы приплетались с лесоповала (другой работы здесь вообще не было), уже пережив параксизмы голода, с привычной сосущей тупой болью под ложечкой, наша компания занимала свою яму, а я с ведром и пятью-шестью талончиками отправлялась за «обедом». Дело в том, что женщинам все же наливали погуще, а иногда вплескивали в ведро лишний черпак.

Меню не было разнообразным — почти все лето варили «затируху» на «бульоне» из толченых сухих костей, и этот порошок плавал в супе вроде нерастворимого гравия. Это было и «первое», и «второе» — да еще и без соли. Но привыкнуть, очевидно, можно ко всему. Я приносила ведро и разливала варево по мискам. Ели медленно и молча, потому что, когда начинали есть, притаившийся было голод снова оживал и начинал бушевать в наших желудках. И когда в тишине только кляцали о миски наши железные ложки, откуда-то, как из-под земли, появлялись крысы…

Они рассаживались полукругом возле ямы и, как зачарованные, не отрывали от нас своих блестящих и жадных глаз. Через короткое время, как по команде, крысы вдруг делали короткий бросок вперед и снова замирали. Еще шаг — и опять как статуи… Еще бросок… Но тут кто-нибудь из нас не выдерживал и принимался звенеть ложкой о край миски:

— Брысь вы, окаянные!

Крысы неохотно отодвигались задом, а потом начиналось медленное наступление. Чтобы прогнать их совсем, надо было встать, затопать ногами или запустить в них чем-нибудь. Удивительно, чем питались эти жирные мерзкие твари там, где

люди умирали с голоду?! В «урочьих» ямах горели маленькие костерки, и на них в жестяных манерках булькало варево — варились крысы. Говорили, что они были вкусные и нежные, вроде крольчатины.

Когда мы стали «своими» и завели знакомство с некоторыми из урок, мне не раз предлагали отведать белого и аппетитного на вид крысиного мяса — такой кругленький и аккуратный окорочок. Но стоило вспомнить, как эти пестро-рыжие тяжелые твари с омерзительными голыми длинными хвостами одна за другой шныряют в уборной, скатываясь вниз по стенам, нахально снуют по стульчаку, прямо по ногам, — и отвратительная спазма перехватывала горло… Не могу! К чертям!

В нашей компании оказался, кроме новых знакомых, и мой сдаточный капитан из Пиндушей — тот самый Евгений Андреевич, который приветствовал меня гудками с залива Онежского озера и с которым мы так недавно — всего лишь в прошлое лето — «элегантно» обедали в столовой, как отметил кто-то из инженеров конструкторского бюро Пиндушского лагпункта. Но боже мой, как же он выглядел теперь! Когда мы (наш этап) прибыли на «Водораздел» и я встретилась с ним, то в первые минуты просто его не узнала. А ведь Евгений Андреевич прибыл сюда всего лишь месяца за полтора до нас! Он исхудал до неузнаваемости. Вместо белоснежного кителя — засаленная телогрейка «двадцатого» срока; вместо капитанской фуражки — какая-то крохотная клоунская шапчонка, и огромные стоптанные «шанхаи» на босых ногах…

Единственное, что осталось по-прежнему, — он даже здесь умудрялся как-то и чем-то бриться. И красивое длинное лицо его с глубоко сидящими печальными глазами было по-прежнему аристократично. И так же почтительно и нежно капитан целовал мне руку при встрече поутру, и так же галантно говорил комплименты… С Андреем Быховским они быстро подружились, несмотря на значительную разницу лет. Ему, как говорил Евгений Андреевич, имея в виду мое увлечение Андреем, он «грустно завидовал», что ничуть не омрачало их дружбы.

На работу капитана не гоняли — отекшие ноги едва его держали, и он тормозил работу всей бригады. Конвоиры отказывались его брать. И целый жаркий, душный и голодный день Евгений Андреевич ждал нашего возвращения с работы и встречал нас недалеко от вахты. Вечерние часы — краткие, как мгновения, часы у «нашей ямки» — были единственным лучом света, озарявшим последние дни его жизни. К сожалению, недолго.

Вскоре после нашего прибытия Евгения Андреевича забрали в

лагпункт «Северный», где находилось отделение нашего «Водораздела». Там, как говорили, был большой лазарет, но оттуда никто уже не возвращался. Не вернулся и мой капитан. Остался только в моей памяти…

Кроме нас троих, в нашей компании были еще двое арестованных по 58-й, но они мне как-то не запомнились, и двое уголовников, которых я помню как сейчас. Один из них — мальчишка-уркаган с нежным девичьим лицом и большими бархатно-телячьими глазами. Я его знала еще с Пиндушей. Он был фанатически влюблен в Есенина, которого чуть ли ни всего знал наизусть и читал его проникновенно, со слезами на глазах. Кажется, его звали Николаем. Но в честь Есенина он окрестил себя «Серегой», и так все его и звали. Память у Сереги была феноменальная. Кроме Есенина он знал много из Блока и всего — с начала до конца, все восемь глав, за исключением некоторых отступлений, — «Евгения Онегина»!

Серега никогда не ломался, не заставлял себя упрашивать, и, когда, покончив с нашим обедом, мы растягивались по краям песчаной ямы, еще сохранившей дневное тепло, а солнце тонуло в оранжевом мареве за дальним лесом, он читал нам одну главу за другой, без устали и с вдохновением, изредка только спрашивая:

— Еще?

Как всякий артист, Серега ждал поощрения и получал его от нас щедро и заслуженно. Вторым, тоже из уголовного мира, был Владимир Николаевич Экк — очень интересный и остроумный человек, о котором я расскажу немного позже.

Мы лежали рядом с Андреем, смотрели на лиловеющее небо и слушали «Евгения Онегина». Было хорошо и просторно на душе; и костры с булькающими в жестянках крысами, и землистые лица урок, сидящих вокруг костров в одних кальсонах, так как все остальное было проиграно и пропито с помощью наших конвоиров, и какие-то вопли и виртуозный мат, изредка долетавшие из-за забора изолятора, и двойная проволочная изгородь с вышкой и «попкой» в углу, как раз над нами, — все это казалось кинолентой, которую мы видим, но сами в ней не участвуем…

Это были хорошие и блаженные часы, когда можно было не двигать ни одним уставшим членом, не чувствовать болящих ног, ноющей спины, и атмосфера великого дружелюбия осеняла наше «кольцо»… Блаженство кончалось громким высоким пронзительным звоном, вдруг оглушавшем весь лагерь, — это в рельсину, подвешенную на стойке, колотили «отбой».

Каждый вечер мы знали, что это будет, и каждый вечер все равно это было неожиданно и сбрасывало нас «с небес на землю».

Отбой! Хочешь не хочешь, все начинали шевелиться, все устремлялись на центральную дорожку, которая шла от самой вахты до противоположной ограды, через весь лагпункт. Никто не мешкал. Через пять минут конвоиры наводнят весь лагерь и заорут на тех, кто не успел стать в строй: «Лягай!!!», защелкают затворы ружей, и все бухнутся в пыль и грязь, куда попало, и пролежат всю долгую поверку, а потом их погонят в изолятор.

«Лягай!!» — с этим не шутят. Однажды во время отбоя из кладовки, находившейся рядом с кухней, вышел повар, нагруженный продуктами. У него были заняты обе руки, и подбородком он придерживал еще какой-то куль.

— Лягай! — заорал на него конвоир.

Повар что-то начал говорить, указывая головой и туловищем на соседнее кухонное крыльцо.

— Лягай, мать твою! — взревел конвоир, а повар все стоял с недоуменно поднятыми бровями, как бы спрашивая: как же может он лечь с этими полными руками продуктов или бросить драгоценные припасы на землю, быть может, дневное пропитание целого лагеря?

Конвоир выстрелил почти в упор, и повар вдруг, безмолвно дернув руками, как картонный плясунчик, далеко в стороны отбросил продукты, без крика согнулся, словно сложился пополам и упал на землю. Жестяная банка покатилась прямо под ноги конвоиру, расплескивая в пыль драгоценные янтарные капли растительного масла…

Нет, это не была кинолента. Это я видела наяву, своими собственными глазами!

Начальником лагерной КВЧ, т. е. культурно-воспитательной части, был поджарый, по-лагерным меркам даже щеголевато одетый, зек с тщательно прилизанной челкой и в сапогах гармошкой — конечно, тоже из «соцблизких». Чем он занимался обычно и как воспитывал урок, я не знаю, но однажды так блеснул своим «красноречием», что оно надолго вошло в лагерный фольклор в качестве политического анекдота.

В лагере ждали приезда какого-то начальства, что случалось не так уж часто. Перед отбоем начальник КВЧ собрал всех женщин в пустой барак, именовавшийся здесь «клубом», потому что там был небольшой помост, который мог изображать сцену. И вот с этого помоста начальник КВЧ произнес перед нами, женщинами, обитательницами лагпункта — 30 проститутками-уркаганками и тремя «самостоятельными», как, в отличие от первых, в лагерях называли «политических», — пылкую воспитательную речь, конечно же, на лагерном «диалекте».

Смысл ее сводился к тому, чтобы во время пребывания в

лагере начальства все вели себя тихо и скромно, чтобы женщины не появлялись в мужских бараках и не смели там ночевать.

— Мы вас что, притесняем, что ли, так и растак вашу мать?.. Заимела хахаля и трахайся с ним потихоньку, х… тебе в глотку. Но вы, бл…ди, мать вашу так, делайте все так, чтоб никого не подводить! Конституцию изучали? Шесть условий товарища Сталина знаете? Чтобы на основе Сталинской конституции все было чисто, гладко, шито-крыто и концы в воду! Ясно?!

Не знаю, как уркаганкам, а нам, «политическим», все было абсолютно ясно.

…Начальник лагеря тоже любил «блеснуть». Иногда на поверке после отбоя нас держали чуть ли не по часу. Давно уже все пересчитаны, ноют одеревеневшие ноги, болит спина. А желанной команды «Разойдись!» все нет и нет. Мы стоим двумя длинными шеренгами, протянувшимися через весь лагерь.

И наконец, как на сцене театра, распахиваются ворота, и всадник на белом коне, в бурке и папахе а-ля Чапаев вихрем проносится сквозь строй заключенных. Подняв коня на дыбы, разворачивается, снова проносится вдоль наших рядов и, наконец, окончательно осаживает, а потом, гарцуя на месте и привстав на стременах, разражается пламенной речью.

Сначала из нее ничего нельзя понять — виртуозный мат громоздится выше десятого этажа. Но если внимательно следить за тем, что он говорит, то в конце концов выясняется, что это призыв к выполнению и перевыполнению плана, чего ждет от нас Родина; а если мы в бога… в душу… в рот и нос… не выполним плана, то нас заживо сгноят в КУРе, что, впрочем, уже давно пора сделать!

— Даешь план?! — исходит энтузиазмом всадник на белом коне.

— Даешь! — вяло гудит в ответ лагерь, причем в основном и громче всех орут урки, которые никогда не выходят на работу.

«Чапаев» удовлетворен и медленно отгарцовывает в свои театральные ворота. Наконец-то звучит вожделенное «разойдись!»

…Лето 1937 года было необычайное, невероятное, как и все в этом невероятном году. Жара, говорили, доходила до 30 градусов — явление в Карелии небывалое. Впрочем, градусника у нас не было, газет и радио — тоже. Распространялись устные известия, которыми всегда полнится лагерь, — о том, о сем, а иногда совершенно невероятные лагерные «параши». То вдруг по всему лагерю идет слух:

— Вы слышали? Едет начальство из Медвежки! Теперь нашим не поздоровится! Запоют!..

То передается от одного к другому:

— Слышали? Этап на 70 человек. 58-я! Точно, в УРЧ уже списки готовы! Это — на пересмотр!

…Но синие безоблачные дни шли один за другим. Не приезжало никакое начальство, не уходило никаких этапов, за исключением небольших групп доходяг, которые уже не могли двигаться на собственных ногах и которых грузили на подводу и увозили на «Северный».

У нас, на «Южном», имелся маленький лазарет на три палаты, куда помещали только тех, у кого были легкие заболевания типа гриппа с температурой или отравления. На «Северном» находился большой лазарет, куда свозили доходяг. Там же был и большой изолятор, и в него отправляли уркаганов за внутрилагерные преступления. «Северного» все боялись, так как знали, что в 37-м живым оттуда никто уже не выходил.

Хотя мы числились закрепленными по каким-то бригадам, особого порядка при выводе на работу не соблюдалось: все равно инструментов почти не было — на бригаду в 40 человек выдавали два-три топора и столько же тупых и беззубых пил. О выполнении нормы даже в шутку никто не думал. В мелколесье, куда нас водили, тощие карельские сосенки были в руку толщиной. Вероятно, только советские «руководители» с их бесхозяйственностью и тупым равнодушием к природе могли заставлять людей губить молодой никому не нужный лес, годный разве что на дрова. Невозможно даже представить, сколько этих тоненьких сосенок надо было срубить, чтобы получилось по пять кубометров древесины на человека!

Перед сопровождающими стояла одна задача: выгнать всех за вахту и отправить на работу. Поэтому утром из беспорядочной толпы у ворот отсчитывали по 40 человек — 20 пар, и они одна за другой, с двумя конвоирами и одной собакой отправлялись в путь.

Мы с Андреем старались пристроиться к какой-нибудь одной бригаде, и иногда нам это удавалось. Если же нас замечал нарядчик, начальник УРЧ или КВЧ, то обязательно разъединяли, выдергивали меня или Андрея из колонны и мы оказывались в разных бригадах. Очевидно, это доставляло им большое удовольствие!..

День предстоял томительно-длинный, невероятно жаркий, голодный. Свои 200 граммов хлеба — ведь мы не вырабатывали никакой нормы, и больше нам не полагалось — мы делили на две части. Один кусочек оставляли для обеда, а другой, тоненький кусочек черного хлеба, бережно прятали на груди и несли с собой.

Утром завтракали одной кашей — вернее, горячей водой, в

которой плавали овсяные хлопья. Часам к одиннадцати начинало до того хотеться есть, что казалось: еще минута — и упадешь замертво, скатишься в черную бездну. Глаза заливало жаром, а если их закрыть, все ходит ходуном, как в сильную качку на море.

Только тогда мы завтракали… Доставали заветный, спрятанный на груди кусочек хлеба. Если поблизости бывала вода, ходили за ней под конвоем со своими кружками, потом начинали есть, откусывая крохотные кусочки, долго, тщательно и с наслаждением их разжевывая. Но что-то, чего нельзя было преодолеть, заставляло жевать и проглатывать все быстрее и быстрее — и уже буквально через мгновение тоненький ломтик хлеба исчезал в наших желудках.

И все же параксизм голода проходил, и желудки успокаивались часа на два, на три, потом все начиналось сначала. Но уже не было спасительного кусочка хлеба; оставалось разве что пососать янтарную слезинку застывшей смолы или пожевать какую-нибудь травку, горький, сводящий скулы мох и перетерпеть…

А когда мы уже брели по нашей бесконечной пыльной дороге «домой» и солнце светило нам в затылки, то кроме сосущей боли под ложечкой и слабой тошноты уже ничего не чувствовали. И даже «обед» в лагере, возле ямки с крысами вокруг, не вызывал такого бурного сокрушающего приступа голода… Вероятно, до того времени, когда мы превратимся в необратимых доходяг, ждать оставалось недолго. Ведь было понятно, что нас отправили сюда с одной целью — уничтожить, потому что, как мы узнали позже, всех, кого в 1937-м арестовывали по таким делам, как наши, поголовно расстреливали.

Нас, очевидно, тоже решено было уничтожить, но… «естественным путем», то есть голодом. Однако — чудеса существуют! За нас вступилась сама Природа, в милость которой не должен был верить советский народ. Помните лозунг: «Мы не можем ждать милостей от природы! Взять их у нее — наша задача!» Так вот, бедная карельская природа, а вернее, то самое мелколесье, которое не давало нам ни малейшей надежды выполнить хоть самую ничтожную долю «нормы», сама вступилась за нас и проявила-таки свою милость!

Дело в том, что перед конвоирами, сопровождавшими нас на работу, стояла задача, получив своих 40 человек (бригаду) и расписавшись за них, доставить нас на место работы. А дальше им было абсолютно наплевать, работаем мы или нет. За это отвечал бригадир или нарядчик. Дело конвоя — смотреть, как бы мы ненароком не удрали в тайгу с места работы; тогда-то им уж не поздоровится!

Но как уследить? Бригадир расставляет людей в мелколесье, да еще и поросшее кустарником, небольшими группками по три-четыре человека на довольно большом расстоянии друг от друга — так требует инструкция, иначе как же выполнять «норму»? А конвоиров-то всего двое, а собака и вовсе одна! Вот и поди уследи! И у конвоиров есть спасительное право — признать место работы «неподходящим»! Но им нельзя увести людей назад в лагерь до положенного времени, то есть до вечера. И тогда с полным правом конвоиры, собрав всю бригаду в одну кучу, укладывали ее у своих ног, предварительно выбрав для этого хорошую тенистую полянку среди самых высоких сосенок, — они ведь тоже люди, им тоже сидеть с нами до вечера!

Боже мой, какое блаженство! Лежать в благоухающем янтарем, еще прохладном поутру лесочке, вытянувшись и погрузив вечно ноющую спину в ложе из мягкой хвои, не шевелить ни одним членом своего тела… Законное «ничегонеделание»! Законный отдых длиной в целый день! Да, я еще самого главного не сказала: этот день шел «за счет охраны» — ВОХРа, и равнялся он 400-граммовой пайке хлеба! Четыреста граммов — наш обычный паек за целых два дня! Это действительно было счастьем и поддерживало наши силы на несколько дней. Спасибо вам, кривобокие, жиденькие карельские сосенки!

Если же нам удавалось попасть в одну бригаду с Андреем, да еще с нашим общим другом из «уголовного мира» В. Н. Экком, тогда это было уже не просто счастьем, а нашим «седьмым небом»! К сожалению, оно редко нам доставалось. В такие дни мы все лежали на небольшой лесной полянке. И конвоиры, и заключенные лениво дремали. Даже собака, сменив обычное озабоченное и деловое выражение морды на лениво-добродушное, дремала, положив морду на вытянутые лапы, лишь изредка вздрагивая острыми ушами.

Тени от деревьев медленно передвигались с запада на восток. В воздухе тоненько звенели комары, от которых мы лениво отмахивались ветками. Мы лежали рядом все трое и слушали бесконечные рассказы кого-нибудь из нас…

Слушать Владимира Николаевича Экка было не менее интересно, чем читать Ильфа и Петрова… Их было четыре брата в обычной интеллигентной семье. Ранняя юность братьев пришлась на начало революции, и, как и многие семьи, раскололась семья Экков — их жизнь потекла по совершенно разным руслам. Один из братьев стал известным кинорежиссером — поставил первую звуковую картину в советской России, ставшую известной всему миру, — «Путевка в жизнь». Второй стал врачом, да не простым, а

«кремлевским»! А двое младших избрали… карьеру аферистов!.. Одним из них и был наш приятель Владимир Николаевич, человек с большим чувством юмора и большим обаянием.

Мне по своей наивности казалось: ну что за аферы могут быть в Советском Союзе?! Но, оказывается, бывают и аферы, и дела почище. Были у братьев и ограбления банков при помощи всего лишь двух игрушечных пистолетов; был и угон железнодорожных вагонов с грузом каких-то ходовых товаров, были и еще всякие «занимательные» истории, когда братьям, «работавшим» вдвоем, удавалось, в стиле Остапа Бендера или героев О. Генри, без особого труда охмурять доверчивых простаков.

Конечно, не всегда все происходило гладко и блестяще, и братья уже имели не по одному аресту, и не раз «куковали» в лагерях, но каждый раз им удавалось бежать, но через какое-то время они попадались вновь. Сроки их наказаний давным-давно перевалили за десятку, так что, по существу, они больше ничем не рисковали: Расстрела ни за побег, ни за аферы по Уголовному кодексу не предусматривалось, а добавлять сверх десяти лет им не могли, потому что десятка в те времена была «потолком».

Но НКВД хорошо их знало, и они, как говорится, сидели у него «в печенках». В последний раз братьев забрали в Ялте, где они тихо и мирно проживали итоги последнего «мероприятия», но однажды в ресторане их кто-то опознал. В лагере подельников разъединили, и на «Водоразделе» в 37-м оказался один Владимир Николаевич. Был он весел, жизнерадостен, остроумен, умел ладить со всеми — и с интеллигенцией, и с урками. Слушать его рассказы было большим удовольствием.

Любил он поддразнивать конвоиров и обещал им, что непременно убежит в первый же дождик, когда собака не возьмет след. Конвоиры его ненавидели, не хотели водить на работу, но не взять не имели права. И даже когда вся бригада работала, вернее, копошилась в лесу, Экк все равно валялся в тени «за счет ВОХРа», так как конвоиры не желали рисковать. А он мирно наслаждался своими 400 граммами хлеба и даже понемножку делился с нами.

В конце концов Экк все же выполнил свое насмешливое обещание и бежал в первый осенний дождик. Впрочем, это случилось уже без меня, и я об этом узнала позже.

К сожалению, мне не довелось услышать много о приключениях братьев Экк, так как нас недолго гоняли на лесоповал. Очевидно, даже наше не шибко грамотное лагерное начальство, начальство «спецдоводиловки» — иначе наш лагерь не назовешь, обеспокоилось, как бы «чего не вышло» по поводу такой явно никчемной, никакой пользы не приносящей и не

оправдывающей себя работы.

Кстати, все наше начальство, включая и самого начальника лагеря, все они сами тоже были заключенные, но, конечно, из «соцблизких» — бытовиков и мелких уголовников, так что и они побаивались за свою шкуру. Словом, в один прекрасный день нас утром повели не на лесоповал, а на лесобиржу.

…У колеи железной дороги стояли штабеля бревен и покрытых корой «баланов», неизвестно когда и кем сюда доставленных. Иногда на рельсах появлялись товарные вагоны или платформы — как по волшебству — ночью. Паровоза перед ними не было, и никаких людей при вагонах тоже не было. Но мы грузили в них бревна и баланы.

Если же вагонов не было, то просто перетаскивали бревна с места на место или снимали кору с баланов особыми ножами, похожими на сечки с двумя ручками. Тут уж сидеть нам не давали, и бригадиры покрикивали, если кто-то останавливался. А солнце жгло немилосердно, никакой тени не было, деревья были далеко и только дразнили нас своей листвой.

На погрузку и перетаскивание бревен тоже были какие-то нормы, которые мы все равно выполнить не могли, хотя и копошились весь день понемножку. Да и где же их выполнить, когда от голода и собственное тело таскали еле-еле! Вся эта система была устроена для того, чтобы нормальный человек — не уркаган — не смог выжить. Ведь даже сильный и крепкий поначалу не мог выполнить норму, так как норма рассчитывалась на всю бригаду в 40 человек! Поэтому все мы фактически были обречены…

И все же здесь, на лесобирже, мы что-то делали, как могли, и стали получать по 300 граммов, а мужчины иногда выгоняли план и получали по 400. Но разве этого было достаточно, чтобы восстановить хоть какие-то силы? Мы все почернели и сморщились. Андрей стал похож на араба в чалме из полотенца, чтобы хоть чем-нибудь защититься от солнца, и черные жгучие глаза его горели неестественным блеском, а зубы и белки сверкали, как у негра.

Иногда нам удавалось и на биржу выскользнуть вместе. Помогали нам в этом все наши друзья и знакомые. Из женщин на работу все еще выходили только я да двое привезенных позже меня, тоже из Медвежки. Больше «самостоятельных» не было. За остальных работали их лагерные «хахали» — конторские «придурки», повара, кладовщики и прочая лагерная «аристократия».

Была у урок даже своя «королева», из-за которой в бараках шла поножовщина, а уркаган, которому она досталась,

организовал «из своих» бригаду возчиков, которая где-то как-то работала, как говорили, и за это получил негласное право жить со своей «марухой» в отдельной кабинке, которую собственноручно и соорудил в бараке. Этот уркаган был вторым страшным и всесильным человеком в лагере после Кости-бандита — начальника изолятора.

…Когда мы, три женщины, своей компанией перетаскивали баланы из одной кладки в другую, Андрей и другие знакомые всегда старались нам помочь, чтобы мы вытянули на паек хотя бы в 300 граммов. И когда мы все валились на землю от усталости, волей-неволей нам давали маленький перерыв. Андрей яростно кусал пустой мундштук — табака давным-давно уже не было и в помине — и бормотал сквозь зубы:

— Будь оно все проклято! Если бы я только мог! Господи, если бы я только мог избавить тебя от этого! Ну пусть бы я был здесь… Не могу, не могу видеть тебя в лагере… Сволочи! Сволочи!

Несмотря на малюсенькое прибавление к весу нашей мизерной пайки, мы явно ускоренными темпами приближались к состоянию доходяг… Но и тут милосердная Природа снова сжалилась над нами…

В то необычайное лето, сухое и знойное — ни одного дождя за все лето! — то здесь, то там в тайге начали вспыхивать пожары. Серые облака дыма клубились над лесами, а к вечеру красное зарево затягивало весь горизонт. Запах гари чувствовался и в лагпункте. И тут нас послали… «тушить лесные пожары»! Наивно было думать, что несколько бригад хотя бы даже и по 40 человек, вооруженные всего несколькими лопатами и двумя-тремя топорами, могут затушить лесной пожар! Но… начальству, очевидно, виднее. Пришел приказ, и бригады по 40 человек, с двумя конвоирами и собакой, стали отправлять в разные стороны, туда, откуда несло гарью и откуда поднималось дымное марево.

Нам с Андреем повезло — мы попали в одну бригаду. Стояли тихие безветренные дни. Огонь не бушевал в чаще, как это обычно описывается в книгах и теперь показывается по телевизору. Огонь горел медленно, лениво перебрасываясь с куста на куст, окружал тонкие сосенки, вспыхивал на минуту факелом и нехотя полз дальше. Можно было подойти почти к самому пожарищу.

Когда мы нашли один такой очаг возгорания, тем, у кого были лопаты, приказали рыть канаву, а остальным — нарубить или наломать веток и захлопывать огонь у канавы, не давая ему перекинуться на другую сторону. Таким образом мы притушили огонь метрах на 20, и нам велели двигаться дальше.

Началась странная и нелепая игра. Пожарище имело в окружности километров пять-шесть. Мы шли по краю, притушивали огонь и шли дальше. За нами чуть притушенный огонь к разгорался снова, без труда перекидывался через узкую канавку — в одну лопату! — и как ни в чем не бывало продолжал себе гореть и распространяться дальше. Но мы особенно не огорчались — хотя от огня и было жарковато, и гарь ела глаза, все же это было гораздо лучше, чем таскать проклятые баланы на лесобирже.

Конвоиры, убедившись в никчемности наших усилий, да и сами притомившись, особенно не нажимали, покрикивали так, для порядка, и мы двигались еле-еле или просто стояли на месте, помахивая своими ветками. Кое-когда нам разрешали и посидеть. К вечеру выяснилось, что в лагерь нас не поведут, пока мы не потушим пожар! И действительно, к вечеру сменился конвой, а из лагеря привезли «обед» — суп в больших казанах и… по 400 граммов хлеба каждому! Вот какой великолепный пикник устроила нам матушка-Природа.

…Так мы и ходили вокруг нашего пожарища, вероятно, не раз обойдя его кругом за три дня. Спали тут же, в лесу, в сторонке, вповалку, под бдительным надзором конвоиров, спускавших на ночь со сворки собаку. Тут уж не только встать на ноги, пошевелиться было страшно — натасканный пес строго следил за каждым движением, готовый кинуться и впиться в горло клыками.

А что было бы, если бы вдруг поднялся ветер и задул в нашу сторону? Но, очевидно, Природа была за нас, и мы ей спокойно вверяли наши грешные и благодарные души. В лесу не шелохнулась ни одна веточка, и огонь потрескивал вполне мирно, словно мы грелись у большого и надежного костра. Комары исчезли начисто.

Конечно, в общем мы устали, натерли ноги, перемазались в саже, как черти, и в горле все время щекотало, а из глаз текли слезы, но все равно было хорошо и даже просто чудесно — не возвращаться в лагерь, не видеть окаянных бараков и вышек с «попками», не слышать рельсины на поверку, словом, жить вне лагеря!!

И Андрей сразу воспрял духом, и голос его окреп, и в глазах снова засветилось былое мужество. И ночью так чудесно было слышать его сонное дыхание или почувствовать прикосновение его руки… Так мы и не потушили пожар, и в конце концов нас увели в лагерь. Пожары как-то затухали сами по себе, а окончательно потухли, когда пришла осень и начались дожди.

III. Вечная память

…К осени стало казаться, что жизнь в лагере мало-помалу налаживается и мы кое-как дотянем до каких-то перемен. Во-первых, притерпелись. Во-вторых, нам наконец разрешили написать по одному письму. В-третьих — открылся ларек, и там можно было купить махорку и сахар! Правда, денег у нас почти не было, но после письма можно было надеяться, что нам выдадут, если придет перевод.

В ларек — малюсенькую хибарку — набивалось народу как сельдей в бочку. Несколько покупателей и десятки «зрителей», готовых как стая коршунов ринуться на добычу. Все знали, что «свое богатство» надо крепко прижимать к себе. У Андрея, который изо всех сил держал в руке кошелек, напрочь оторвали обе крышки от него! Если кто-нибудь неосторожно протягивал бумажную купюру через прилавок, ее тут же выхватывали целиком или половину. И все-таки это был прогресс, и все наши мужчины блаженно затягивались махорочным дымом, который после мха и пакли, вытянутой из щелей стен, казался нектаром. Я тоже понемножку курила, не столько для удовольствия — от махорки сильно кружилась голова, сколько чтобы заглушить постоянное чувство голода.

…И наконец пришли первые посылки! Их выдавали в какой-то хибаре, возле изолятора. Там посылки вскрывали и «проверяли», изымая недозволенное или приглянувшееся начальничкам, а остальное надо было нести в уже раскрытом ящике мимо нашего «забарачного» поля с ямами от выкорчеванных деревьев. Первые посылки никому до своего барака донести не удалось. На владельца заветного ящичка (со съестным!) налетала свора уркаганов, сбивала человека с ног, вышибала посылку у него из рук, и драгоценное содержимое — яблоки, печенье, лук — вмиг исчезало в кишащей руками и ногами куче.

«Попка» с вышки равнодушно взирал на это зрелище (хотя, может быть, и с удовольствием — все-таки развлечение!) Потом «58-е» стали умнее и за посылками ходили с собственным эскортом, достаточно многочисленным, чтобы отбиться от урок, и поэтому их удавалось донести до барака. Получила и я посылочку с сухарями, любимой моей халвой, апельсинами и какими-то жирами. И хотя это был пир всего на один день — ведь друзей было много, да и с моими барачными соседками надо было хоть чем-нибудь поделиться, — все равно это был чудесный и сказочный пир! И вечер, полный надежд на долгожданное «чудо», которое вот-вот должно же наконец произойти по чьему-то

«велению»…

Но «чуда» не случалось. Наоборот, стали приходить какие-то «дела», зашевелилась раньше как-то незаметная «третья часть». Понаехали новые уполномоченные, и по ночам стали вызывать то одного, то другого. Начались допросы… Хотя каждый из них кончался тем, что брали подписку «о неразглашении», на другой день весь лагерь уже знал, кого вызывали и о чем спрашивали. Тут были и допросы по старым делам, за которые мы уже получили приговоры и отбывали свои сроки, были и попытки завести новые — спрашивали о знакомых и друзьях по лагерю, а то и о совсем незнакомых людях, которых заключенные никогда в глаза не видели.

Из нашей компании тоже вызывали всех по очереди, чаще других Андрея. Его держали целую ночь напролет, требуя, чтобы он назвал своих «сообщников», тех, кого не удалось арестовать в 35-м и которых, как видно, и до сих пор разыскивают, — из числа 400 вернувшихся на родину «сменовеховцев». Утром его снова гнали на работу, а он едва держался на ногах. Измученный Андрей называл им разные выдуманные фамилии, но это не было выходом — таких людей не существовало, и его обвинили в издевательстве над «органами».

Что было делать? Мы не знали… Вызывали и меня. Зная, конечно, о моих с Андреем отношениях, требовали, чтобы я «выведала» у него о его тайных «связях». Кричали, ругали, грозились, что они «повенчают» меня с моим «хахалем» перед «списанием» в расход, как давно уже следовало сделать!

— С кем из западной сволочи готовит он заговор? Если не узнаете, обоим будет плохо!

Но все же только грозились, не били — такого приказа, видно, еще не поступило. Мне и до сих пор непонятно, кому и зачем понадобилась эта комедия, когда люди так или иначе все равно были обречены. Сколько можно было выдержать такой «Водораздел»? А если хотели прикончить быстрей, то кто мешал просто всех перестрелять? Не все ли было равно, что написать в отчетах и «делах», — пиши, что угодно твоей фантазии! Однако людей продолжали вызывать, подолгу держали на допросах, давали зуботычины, хотя и не избивали, а утром, падающих от истощения и недосыпания, опять гнали на работу…

Все стали чего-то бояться, и наше начальство тоже вроде чего-то остерегалось. Даже доходяг на «Северный» стали вывозить ночами, как будто потихоньку, по-воровски… Или испугались, что людскому терпению все-таки придет конец, начнется бунт и разъяренная толпа бросится на конвой? Напрасно боялись. «Масса» была терроризирована и словно загипнотизирована

паническим страхом. Люди как будто лишились разума или вообще перестали быть людьми. Только один человек из тех, кого я знала, ясно отдавал себе отчет во всем происходящем. Видел, понимал и сознавал, что каждый день — это следующий шаг к гибели. И не только сознавал, но и не хотел безропотно подчиняться этому бессмысленному, ничего не изменяющему уничтожению.

Он не хотел медленно и молча погрузиться в клоаку, но готов был биться и кричать, драться за жизнь, цепляться, пока хоть только голова на поверхности, хоть только рот и глаза… Этим человеком был Андрей. Конечно, может быть, среди сотен гибнущих нашлись бы и другие, но люди были слишком измученны, слишком выжаты и деморализованы, чтобы довериться друг другу. И все молчали. Боялись. И Андрей тоже боялся — боялся, что нарвется на мерзавца, попытающегося спасти свою шкуру ценой доноса, или на отчаявшегося, потерявшего волю и разум человека. Только мне и еще двум-трем самым близким, самым надежным, в самое ухо, едва слышным шепотом:

— Бежать, бежать надо… Перебить конвой, захватить оружие, пробиваться сквозь тайгу к границе. Ведь нас много, чего стоит эта свора без оружия? Перерезать провода. Пока дойдут вести из этих болот, мы будем уже далеко…

Увы! Не откликался никто. У всех были близкие — жены, дети или родители. Все боялись за них. Боялись расплаты. И не осталось сил — ведь все уже были почти доходягами. И все еще надеялись на чудо и поворот истории… Только бы дожить! Только бы дожить… Дожил ли кто нибудь? Дотянул ли — до чего? Из тех, кого я знала, не выжил никто. С «Северного» ни один не вернулся…

Нет, ни о каком бунте нечего было и думать, но попытаться спастись — как угодно, с каким угодно риском, бежать вдвоем — все равно это меньший риск, чем оставаться. В этом был уверен Андрей. Так теперь думала и я. Андрей припас кое-что из одежды, тщательно починил свои и мои ботинки, надевал на работу двое брюк и телогрейку. Хотя дни были еще жаркими, но ночи начались прохладные — стоял конец августа.

На последнее белье он выменял маленький мешочек с солью и носил его, как ладанку, на груди.

— Скорей, надо скорей!

Но как «скорей»? Выбраться ночью из лагеря? Ночи стали уже темными, а электричества у нас не было, но расстояние от вышки до вышки небольшое — едва ли можно было бы незамеченными подлезть под одну колючую проволоку, миновать пустую, без

травинки, полосу и пролезть под второе заграждение. А главное — собаки, которые бегали на цепях, скользящих по длинным проволокам вокруг зоны. Нет, из лагеря уйти было почти, а вернее, совсем невозможно.

Оставалось — с работы, может быть, просто в удачный момент, когда посчастливится незаметно скрыться. Может быть, Андрею удастся угостить конвоира настоящей папиросой из посылки, расположить к себе и отпроситься на минутку вместе со мной — дело житейское, всякому понятное. И использовать эту минуту, бежать в чащу, залезть на дерево, переждать погоню… Но ведь и на бирже, где мы теперь работали, была собака. Разве она не возьмет след, не отыщет? Про наших собак рассказывали чудеса, что они и через три дня берут след. Особенно одна, какая-то знаменитая сука, которую самолетом привезли из Воркуты…

Правда, говорили и другое: если натереть подошвы махоркой, собака дуреет и теряет след. Полагаться на то, что болтают урки, не очень-то надежно, но на всякий случай Андрей натирал подошвы наших ботинок махоркой. Вернее же всего было ждать дождя. Правда, говорили, что знаменитая сука берет и мокрый след, но Владимир Николаевич Экк, наш друг из «преступного мира», этому не верил.

Но проклятого дождя все не было и не было. Жара спала, но дни стояли такие же ясные и синие. Этапы на «Северный» по ночам уходили теперь ежедневно — человек по 40–50. Доходяг увозили на телегах. За ними выстраивали тех, кто еще мог идти. Из нашей компании взяли сразу двоих, еще довольно крепких — не в лазарет.

Когда утром мы узнали об этом, сердце у меня упало. В тот день я умоляла Андрея рискнуть и бежать одному. Мне казалось, что какой-то, хоть самый ничтожный шанс все-таки есть. Я могу занять конвоира, покурить с ним, отвлечь его разными «бабьими штучками» — женщин было слишком мало, и даже злобные ингуши-конвоиры были с нами поласковее, каждый облизывался на любую «бабу». За это время Андрей мог бы скрыться, ну а там — как Бог даст…

Андрей не хотел. Не мог. Каждый раз он решал подождать еще один день, последний… Вдруг какая-нибудь случайность… Или, может быть, опять поведут на пожар… Или прольется наконец дождь… Но скоро и этим надеждам пришел конец. Почему-то стали строго следить за тем, чтобы мы с Андреем не попадали в одну бригаду. Вот уже несколько дней мы были разъединены днем и дрожали от страха вечером, не зная, увидимся ли еще завтра утром. Андрей еле доходил с работы до вахты, хотя это было недалеко. Еле передвигал отекшие ноги.

Однажды он вернулся с работы в сильном ознобе — наощупь чувствовалось, что у него сильный жар. Я уговорила его пойти в лазарет.

— Присядьте, — сказал ему лекпом.

— Я могу только прилечь, — ответил ему Андрей и упал на пол.

Его положили в лазарет, и от сердца у меня немного отлегло — не возьмут же его оттуда на этап! Не знаю, почему я была в этом уверена? Вернувшись с работы, я упросила нашего лекпома, в сущности симпатичного и доброго старика, только уж очень напуганного и дорожившего своим привилегированным медицинским положением, пустить меня к Андрею, который лежал в маленькой палате, где еще находилось еще человека четыре. Так странно было видеть его в чистой белой рубашке, на белой подушке, совсем бледного, пергаментного. А глаза его сияли мне навстречу такой радостью и счастьем, что чудо, казалось, здесь, рядом, что от одного этого взгляда все вдруг рассеется, как ночной кошмар, и мы останемся вдвоем где-то в далекой ночи… До самого отбоя я сидела возле Андрея. Мы почти не говорили. Я гладила его сухие руки и потихоньку растирала отекшие ноги.

Ночью Андрея взяли…

Он пришел на «Водораздел» еще полный сил и энергии, живой, умный, смелый, решительный. Если бы не я, Андрей не стал бы дожидаться финала. Он давно понял и предвидел, каким будет конец. Когда от шоферов с «Северного» поползли слухи о машинах, увозивших людей на расстрел в оврагах, Андрей понял, что это — не лагерная «параша». Понял и, может быть, спасся бы. А если бы не спасся, то хотя бы получил пулю вдогонку, и жизнь его оборвалась бы раньше, чем надежда…

Из-за меня он остался, из-за меня ослаб и дошел до ручки. Из-за меня теперь сидит в изоляторе, ожидая, когда его посадят на грузовик и повезут на расстрел… Мне вдруг все сделалось безразлично — жить или умереть, но только медленно не доходить, зная, что страшный, одинокий конец все равно неизбежен…

IV. Побег

На следующий день я бежала с лесобиржи… Да нет, не бежала — просто ушла, потихоньку, не спеша, без единой мысли в голове направилась в недалекий лесок. Без всяких предосторожностей пошла и пошла…

Я слышала подсознательно, как вдогонку мне кричала одна

из работавших со мной женщин:

— Женя, куда вы?!

Как ни странно, конвоиры не обратили на меня внимания, вероятно, решили, что я пошла по нужде, или вообще не заметили. Потом я побежала, подхлестнутая внезапным страхом. Бежала быстро, как только могла, в меховой моей шубейке, которую надевала по просьбе Андрея, унося на шее ладанку с солью и двумя бумажными рублями, маленький кусочек хлеба в кармане да еще старенький перочинный ножик, который он мне подарил.

Довольно быстро мне встретился ручеек, и я, помня, что собаки не берут мокрый след, побежала ручьем и пробежала так, наверное, с километр, а затем опять дальше посуху, потому что так было быстрее. Время от времени я падала и, полежав немножко, чтобы отдышаться и послушать, нет ли погони, бежала дальше. Но все было тихо.

Скоро в лесу начало смеркаться — я ведь убежала совсем в конце дня, перед тем как нас должны были вести в лагерь. Я решила, и вероятно правильно, что погони не было потому, что сначала надо было отвести людей в лагерь — ведь нас сопровождали только двое конвоиров. Теперь же, отведя бригаду в лагерь, они возьмут охранников и собак и вернутся на розыски. Ведь говорят же, что собаки берут след и трехдневной давности. Было страшно быть растерзанной собаками…

Я решила залезть на дерево — тогда либо меня застрелят не дереве, либо сдержат собак, пока я буду слезать. Так я и сделала. Выбрала сосну потолще, но с сучьями, до которых могла достать, и забралась чуть не на самую верхушку. Там я и сидела, притаясь, в ожидании своей участи. Что меня найдут, почти не сомневалась. Не могут не найти — слишком недалеко я ушла. Небо тем временем постепенно темнело, робкие звездочки замерцали там и тут, и ущербный месяц повис где-то на западе розовым лоскутком…

Я достала из кармана ножичек и вырезала на коре ветки дерева слово «Андрей». Грустные мысли одолевали меня, не давая задремать ни на минуту. И вдруг я услыхала собак. Их была, вероятно, целая свора, и они заливались на все голоса, но где-то вдалеке. Я слушала, напрягшись всеми нервами. Лай то приближался, то снова удалялся. И так было довольно долго… Но постепенно лай стих, и настала тишина, полная и какая-то густая, и ночь стала темная и тихая.

Они не взяли след — ни целая свора, ни знаменитая сука из Воркуты. Тогда я поцеловала ветку, на которой было вырезано «Андрей» (даже сквозь темноту белело его имя), и, прижавшись к

корявому сосновому стволу, горько заплакала, в первый раз за все время на «Водоразделе» и за всю мою предыдущую лагерную жизнь…

Когда сделан первый шаг, второй неизбежен, как биение сердца. Тогда я не раздумывала — зачем, для чего, что дальше? Когда я была с Андреем, было все ясно: для него, для жизни или смерти вдвоем. Без Андрея? Наверно, тоже для него. Чтобы сделать то, что хотел и не успел он. Чтобы быть с ним в этой ночи, в этом темном пространстве, которое не принадлежит никому. И если я хочу остаться и дальше вот так — один на один с собой, а не вернуться в эту клоаку, где я ненавидела одинаково и угнетателей, и угнетаемых, надо идти, бежать, и как можно дальше, пока ночь темна и собаки далеко. В данный момент мне было неважно куда — мне было важно откуда.

Я еще раз поцеловала ветку и спустилась вниз. Я решила, что единственный шанс не быть пойманной завтра же — это уйти за канал. Там вряд ли станут искать так тщательно и с собаками. Может быть, решат, что я утопилась где-нибудь в лесном озере. И я пошла на север, туда, где в ясном небе Большая Медведица опрокинула свой ковш мне навстречу.

Идти было не особенно трудно. Место оказалось сухим, а деревья росли не особенно часто. Глаза быстро привыкли к темноте и кое-как различали очертания стволов. Только иногда я проваливалась в яму или натыкалась на завалы сухих деревьев. В общем же продвигалась довольно быстро и, когда воздух только чуть начал сереть, оказалась, к собственному удивлению, на берегу канала.

Я очень смутно и приблизительно представляла себе расположение лагпункта по отношению к каналу, но оказалось, что он был действительно недалеко на севере. Канал лежал передо мной тусклой свинцовой лентой, неподвижный и мертвый. Крутые его бока были выложены булыжником, как мостовая. Это был как раз тот самый водораздел — самый верхний участок канала, от которого с обоих концов вниз шли системы шлюзов.

Вдоль канала проходила неширокая дорога. Я остановилась на опушке леса в тени, боясь выйти на открытое пространство, где было уже довольно светло — человек, во всяком случае, был бы виден издалека. Я подождала с полчаса. Никто не появлялся. Очевидно, дозорных патрулей на берегу или, во всяком случае, в этом месте не было. Но, может быть, они ходят вдоль канала и, пока я буду его переплывать, как раз подоспеют со своими собаками. На этом или на том берегу…

Ну что же. Будь что будет! Так или иначе, все равно надо переплыть канал. Я сползла по крутому откосу, чуть не

свалившись в воду, но все-таки удержалась в самом низу и стала раздеваться. Попробовала воду: господи, до чего холодная! Прямо лед! Но раздумывать уже было некогда. Я побыстрее разделась, связала все в узелок, запаковала его в шубейку и беззвучно соскользнула в воду, придерживая пожитки одной рукой на голове.

Бр-р-р! Как будто в кипяток бросилась. Ледяная вода так же обжигает, как горячая. Жжет, колет и режет тело. Впрочем, все это только в первую минуту. А дальше вроде бы ничего. Продохнула и поплыла. Плавала я хорошо — одной руки вполне достаточно, и вот через несколько минут я уже на той стороне, и пожитки мои целехоньки, и даже шубейка не намокла…

Я вылезаю из воды, и теперь воздух кажется теплым и ласково охватывает тело. Но надо торопиться, уже совсем светло. Я быстренько оделась, пересекла дорогу, которая идет вдоль канала и с другой стороны, и попала в какой-то густой и высокий кустарник. Чащоба непролазная и ведет куда-то круто вниз. Я пробираюсь сквозь кусты, падаю, качусь вниз и вниз и вдруг до пояса проваливаюсь в воду, в хлюпающую трясину!

Стоило так беречь одежду и перевезти ее на другой берег сухой! Теперь я вымокла вся до горла, и ботинки мои полны воды, и я карабкаюсь по колючим кочкам, то и дело скатываясь снова в воду. Я попала в болото, и где ему конец и край — один бог ведает, и удастся ли мне вообще из него выбраться? Я не знала, иду ли по прямой или блуждаю по кругу, потеряв всякую ориентацию в предрассветном тумане…

И когда я падаю, окончательно выбившись из сил, то вдруг чувствую под собой сухую и плоскую землю, а не зыбучую кочку! Болото кончилось… Немного погодя взошло солнце и начало творить свои добрые дела: рассеяло и подняло легким облачком туман над болотом, согрело меня, а от моей одежды, разложенной кругом на земле, пошел пар. Даже фотографии ребят, которые были в кармане шубейки и намокли, теперь, на солнце, сохли и заворачивались по краям. Тепло меня разморило, и я задремала.

…И вот я уже три дня на воле, то есть в бегах… Леса, болота, озера. Пришвинская страна непуганых птиц. Раньше, чем увидишь голубой сверкающий глазок воды, гомон и свист, гогот и уханье, клекот и кудахтание, шум крыльев возвещают: сейчас откроется лесное озерцо. В эти предотлетные дни здесь собрались тысячи пернатых, готовящихся сняться и лететь в далекий обетованный южный край. Счастливцы! У них за спиной по два крыла

Иной раз я выходила на поляну, сплошь заросшую брусничником, и тугие, блестящие, тесно посаженные на каждой

веточке ягоды окрашивали поляну в алый цвет. Брусника не давала чувствовать голод, но скоро набила оскомину — сводило скулы. Попадались и грибы. Раза два, разведя крохотный костерчик (у меня была с собой коробка спичек), я напекла на палочке грибов, но разводить настоящий костер даже днем боялась — дым и запах могли выдать меня.

Дважды я натыкалась на какие-то селения и сейчас же старалась уйти подальше, чтобы не встретить людей. Однажды вышла на картофельное поле, и, хотя было страшно, соблазн оказался слишком велик: я выдернула куст картошки и побежала что было сил. Не знаю, показалось мне или на самом деле где-то вдали залаяли собаки. К сожалению, куст оказался плохим — картофелины были мелкие, а некоторые просто чуть больше горошины. Но все же я тщательно обобрала картошку и испекла ее в золе крошечного костра. Это был самый замечательный пир во время моих скитаний и, увы, последний!

Меня спугнул какой-то шум в чаще, треск сучьев. Почудился шум шагов. Я бросилась бежать и забыла впопыхах свою самую большую драгоценность — мешочек с солью! Я старалась больше идти ночами, а днем отсыпаться — так мне казалось безопасней. Особенно когда мне попалась какая-то старая дорога с верстовыми столбами, даже полосатыми, вероятно еще дореволюционными. Дорога шла преимущественно в северном направлении — «старый Вологодский тракт», решила я и, скорее всего, ошиблась.

Ошиблась я и в другом — идти мне надо было не по дороге на север, а на запад к границе, как думал Андрей, но я не очень хорошо знала географию этих мест и убедилась в своей ошибке только много позже, когда мне привелось взглянуть на карту. Я решила идти обочиной, так как просто лесом даже днем передвигаться было трудно, а ночами — а они уже стали довольно темными — еще трудней. Ямы, коряги, завалы бурелома, болота. Я постоянно падала или натыкалась на что-нибудь, в кровь раздирая лицо и руки.

Однажды вечером я вышла к селению, и великий соблазн узнать, где я нахожусь, толкнул меня на рискованный шаг — войти в селение, довольно большую деревню, и пойти улицей. Были уже сумерки, и вряд ли фигура какой-то бабы в меховушке, похожей на телогрейку, и в платке могла привлечь чье-нибудь внимание. Вскоре я догнала шедшего неспеша мужчину, колхозника или работягу с виду, и что-то у него спросила. Кажется, где кооператив и до которого часа открыт.

Мужчина отвечал односложно и не очень охотно, но почти сразу же спросил:

— А вы сами чьи будете?

— Мы-то? — переспросила я ему в тон, чтобы протянуть время и придумать ответ, потому что раньше не подумала о том, что отвечу на такой вероятный и естественный вопрос, особенно в местности, окруженной лагерями, где все население наверняка соответственно обработано.

— Мы — пудожские, — ответила я первое, что подвернулось на язык.

Я знала, что где-то, не очень далеко от «Водораздела» есть город Пудож (впоследствии мне пришлось узнать о нем кое-что и больше). Очевидно, он был действительно недалеко, так как ответ мой не вызвал видимого недоумения или любопытства у моего угрюмого спутника. Он что-то промычал, а я остановилась, будто поправляя сапог. К счастью, мужик пошел дальше, а я с сердцем, стучащим, как барабан, повернула назад и выбралась из селения смертельно напуганная, так ничего не узнав, но решив, что никогда и ни с кем больше не заговорю…

Никогда?.. Ни с кем?.. И что вообще будет дальше? И какой смысл во всех этих блужданиях, когда Андрея нет? И сколько бы я ни бродила среди озер, сколько бы ни увязала в болотах, я не встречу его нигде и никогда. Бежать за границу — одной, без Андрея? Оставить навеки мысль снова увидеть маму и детей мне казалось равносильным вечному заключению, да я и не очень верила, что одна, без Андрея, смогу перейти границу. Я знала из разговоров с бывалыми людьми, что она хорошо охраняется, особенно с нашей стороны.

На смену прежнему возбуждению пришли безволие и отчаяние. Я увидела невдалеке чернеющий на фоне розоватого небосклона стог, направилась к нему и вырыла под ним глубокую «пещерку», залезла в нее и заснула крепко и глубоко, как ни разу не спала за все это время… Утром вернулись ясность мыслей и энергия. Андрея больше нет, но у меня двое маленьких детей, мама, которая живет одним напряжением нервов, одним страстным желанием, могучим, как инстинкт животного, — дожить до моего возвращения, сохранить моих детей, вернуть их мне. И поэтому я должна вернуться.

Только ради Андрея я могла бы оставить их, с нелепой надеждой на сверхчудесное «как-нибудь», которое рано или поздно снова соединит меня с ними! Теперь же, когда Андрея нет, а я все еще жива, только для них должна я продолжать бороться за жизнь! О себе уже думать нечего. «Свое» пусть умрет с Андреем. «Любимый мой, ласковый, возьми мою душу…» — вот такие или приблизительно такие мысли вместе с обрывками строк Цветаевой и Гумилева, которых очень любил Андрей и

много читал мне наизусть, а от него запомнила и я, бродили у меня в голове, когда я лежала, проснувшись в своей теплой душистой сенной пещерке. И так не хотелось вылезать из нее и снова приниматься «жить»…

Но снаружи было уже совсем светло, и петушиные крики доносились из селенья… Но что делать конкретно? Все-таки идти на север в надежде чудом перейти границу? Но как же дети и мама? Повернуть назад, идти потихоньку на юг и, может быть, если удастся, добраться до Вологды, где я когда-то родилась и где, прожив первые пять месяцев жизни, никогда больше не была? Там как-нибудь уехать по железной дороге в Москву и жить у мамы потихоньку, притаившись, как мышка…

А может быть, там пойти к кому-то «наверху»? К самому Сталину? Умолять его выслушать меня? Рассказать, как массы людей гибнут ни за что? Знает ли он, Сталин, что творит НКВД? (Но кто меня к нему пустит?!). Видно, даже нелепость страданий не рождает в людях ненависти, когда они не понимают: кого ненавидеть? С кем бороться? Я все еще витала в облаках наивности и веры в справедливость наверху. Хотя где-то в подсознании уже понимала весь ужас моего нынешнего положения и что все это ни к чему…

Я убежала из лагеря — вот единственное преступление, которое я совершила. Пусть за него я отсижу сколько надо, если таков ваш закон. Но разве против меня не совершено еще худшее преступление — ведь меня посадили в лагерь без всякой вины с моей стороны! Так преступно ли бежать из лагеря, спасаясь от голодной смерти? Вот такие, на теперешний мой взгляд глупые и наивные, мысли проносились в моей голове, пока я вдыхала аромат и ощущала блаженное тепло укрывавшего меня сена.

И почему-то наперекор логике я снова пошла на… север. Помню, как однажды, откуда ни возьмись, налетела короткая, но сильная гроза, с молнией и ливнем, небывалая для этого времени — первых дней сентября! Как сидела я на каком-то пригорке, под большой сосной, немного укрывавшей меня от ливня, и впереди было какое-то довольно большое пустое пространство, большая котловина, по которой косил дождь. Как раскалывалось надо мной темно-лиловое небо, и грохотали басовые перекаты грома…

Но мне было ни капельки не страшно — наоборот, весело и радостно. В такую грозу уж, наверное, не ходят дозорные патрули, и можно ничего не бояться, а после дождя и собаки не берут след. Однажды ночью я устроилась недалеко от шоссе и заснула, поджав колени под свою короткую шубейку, которую мама принесла мне еще в Бутырки и в которой я была похожа на Катюшу Маслову из романа Толстого, по мнению Раисы Осиповны

Губергриц.

Господи, как давно все это было — Бутырки… Театр… Но поджатые ноги затекали, коленки высовывались, холод проникал всюду и будил. Просыпаясь и дрожа от холода, снова натягивала я на себя шубейку. Уже засерела предрассветная муть, когда я вдруг ясно увидела наши лагерные деревянные, опутанные колючей проволокой ворота вахты, увидела, как медленно и со скрипом они закрываются, и… Андрей, отступая шаг за шагом задом, спиной, уходит и уходит из лагеря туда, за ворота, и смотрит на меня — прямо в лицо, глаза в глаза, и зовет, и приказывает глазами… И все уходит и уходит, как в кино, становясь все меньше и меньше. Слезы бежали у меня, как горячие ручьи, и все было мокро от этих слез…

И когда глаза мои наконец открылись, лицо мое все было мокро от слез на самом деле — слезы продолжали бежать сами собой. И вдруг на фоне светлеющего неба я увидела рогатую голову с отвисшей нижней губой. Голова чуть наклонилась набок, как бы с любопытством, а может быть, с участием разглядывая меня. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга — я и высунувший из чащобы голову лось. Он даже низко нагнул голову и вытянул шею, чтобы лучше меня рассмотреть. Хотя я не шевельнулась, вдруг он чего-то испугался, фыркнул на меня (я тоже испугалась), затем шумно повернулся всей своей громадной тушей и сиганул в лес. Кругом только стон пошел — казалось, по лесу мчится паровоз, ломая и круша все на своем пути!

Помню еще такую картинку. Тоже утро или, вернее, под утро. Я бреду какой-то проселочной дорогой, которая показалась мне «подходящей» — как и все, что вело на север. (Почему?) Если тропка или дорога сворачивали от севера, я их бросала и шла лесом напрямик, пока не натыкалась на «подходящую» дорогу. Впрочем, «напрямик» — понятие относительное. Часто я выходила к болоту, и, чтобы обойти его, мне приходилось идти вокруг него не один километр. Итак, я брела в предутренней дымке по дороге, и пыль на ней, вся в ковре росинок, блестела, как серебряная. Дорога вела все вниз, и внизу смутно зачернели силуэты строений — селение! Я уже хотела свернуть с этой дороги, как вдруг увидела лежащую поперек нее мертвую лошадь. Она преграждала мне путь. Этот труп лошади, и серебряная пыль на дороге, и полная, глубокая тишина — ни петухов, ни собак — все было как заколдованное…

Может быть, чума посетила деревню, подумала я, и все бежали, бросив неубранную лошадь? Или все вымерли и лежат такими же трупами у себя в избах? Вероятно, не было ни того ни другого, но воображение мое разыгралось. А дорога стороной

обогнула деревню и спустилась к озеру, точно вошла в него, и это было странно и чудесно, как в рассказах Грина. У берега стояла лодка, ни к чему не привязанная, с двумя веслами, брошенными на дно… Я села в лодку и оттолкнулась. Озеро было небольшое, километра два в длину. Я плыла в лодке, и туман клубился вокруг меня и поднимался вверх легкими облачками, которые, поднявшись, начинали алеть, потому что где-то за деревьями уже вставало солнце.

И как по команде проснулись птицы, и загомонили, защебетали по всему озеру. На противоположной стороне я вышла из лодки и стала карабкаться вверх на гору, а мокрый кустарник обдавал меня дождем крупных росяных капель. С ужасом я увидела, как мои лыжные ботинки, починенные Андреем, начинают лопаться, а подошва на одном, сбоку, совсем отстала. Что же будет, когда она вовсе оторвется? Конечно, подумала я, если бы я и пошла на юг, все равно никогда бы мне не дойти до Вологды, а даже если бы и дошла, то наверняка меня «забрали» бы на железной дороге. Значит, пусть будет что будет, лучше не думать…

Но и так все кончилось плохо, и гораздо раньше, чем я предполагала. К сожалению, я слишком часто что-нибудь делаю импульсивно, а потом уж обдумываю случившееся. Дело в том, что у меня никогда не было четкого плана — что делать и куда идти в случае удачного побега. Я целиком полагалась в этом на Андрея. А теперь, когда оказалась в «бегах» одна, я не представляла, что мне дальше делать. Я почувствовала, что снова впадаю в депрессию…

Вероятно, постоянное чувство голода и убывающие силы (ведь на одной бруснике да изредка попадающейся смородине все-таки долго не продержишься!) были тому причиной. Да еще к неприятностям добавилась неизвестно почему обильно пошедшая из носа кровь. В общем, на пятый день моей бродяжьей жизни я неожиданно вышла на какой-то лагпункт, чуть не на самую вахту — так тесно обступила тайга этот маленький лагерь. И вместо того, чтобы повернуть тотчас назад и бежать в лес, я замешкалась и сделала еще несколько шагов по направлению к воротам. Тут я опомнилась, повернулась и бросилась к лесу. Но было уже поздно…

Страж на вышке заметил меня и поднял тревогу. Безумные мысли вихрем промчались в голове, и, не успев даже толком их осознать и сообразить, что мне делать, я вбежала в лес.

— Стой! — раздалось сзади, и грохнул выстрел.

Но полсекундой ранее я зацепилась за корягу и грохнулась на землю. Пуля просвистела где-то над головой и шмякнулась в

ствол сосны. Часовой, вроде лося шумно ломая ветки и сучья, подбежал ко мне:

— Кто такая?

Я слегка замешкалась с ответом, потом ответила первое, что пришло в голову:

— Была на свидании в Повенецком лагпункте. Оттуда в Пудож шла, да вот какие-то хулиганы напали, отняли деньги, документы, избили — видите, кровь. Подвезите меня до Пудожа!

— А почему убегала?

— Да испугалась я…

Часовой явно подозрительно посмотрел на меня и тут же спросил:

— А к кому на свиданье ездила?

Я наугад назвала фамилию одного из наших актеров, тоже забранного в пересылку в мае, но тут наконец до меня дошло, и я поняла всю глупость и непоправимость ситуации!

— Полковников? — переспросил часовой — Федор? Сейчас проверим. Пошли на вахту.

Держа винтовку наперевес, он отконвоировал меня к вахте, закрыл за мной ворота и велел подождать. Часовой вошел в будку, и я услышала, как он крутит ручку старого допотопного телефона, а потом что-то кричит в трубку…

Я поняла, что для меня все кончено…

Часовой вышел.

— Ах ты, стерва, мать твою… Бежать решила!

Так я снова оказалась в лагере. Начальник лагпункта, к которому меня привели, ни за что не хотел верить мне, что у меня — 58-я. Орал на меня, чтобы я сознавалась, что я — Катька Шилобокова, уркаганка, смывшаяся с какого-то лагпункта и объявленная в розыск уже неделю назад. Я-то думала, что о моем побеге знает уже вся Карелия и патрули разосланы по всем дорогам, чтобы искать и схватить меня.

Глава 3
Пудожстрой

I. Центральный изолятор

Итак, год 1937-й, осень, центральный изолятор БелБалтЛага, куда меня водворили после моего импульсивного, отчаянного и жизненно непрактичного побега.

Камера изолятора — деревянного одноэтажного барака — большая светлая комната, с окнами, без всяких решеток и козырьков, выходившими во двор. В камере вдоль стены сплошные нары, по которым можно было прогуливаться, как по полу.

Сначала в этой обширной камере я была одна, с книжкой, каким-то образом завалявшейся здесь. Правда, книжка была без начала и конца, без обложки, но читать все же можно. Это были рассказы — кажется, Пантелеева, хорошо сейчас не помню… Конечно, для одиночной камеры книжка — настоящий клад. Однако в то время даже и этой книжки читать не хотелось… Вообще ничего не хотелось… Просто лежала, отдыхала душой и телом от всего бурного лета «Водораздела», от драматического конца его…

Уверена была, что расстреляют, — ведь побег же!.. Но страха не было — просто усталость, и жить совсем не хотелось. И «Водораздел», и Андрей вспоминались как неясный сон, как просмотренный кинофильм…

На допросы не вызывали, и время снова остановилось, как когда-то на Лубянке. Только на этот раз это не было томительно, наоборот, умиротворяюще и успокоительно…

Вот, может быть, и смерть, которой мы так боимся, тоже приходит к больному, измученному человеку с успокоением и умиротворением… Даже и думать ни о чем не хотелось, не хотелось больше страдать…

Но в конце концов из состояния этого странного покоя меня вывело нечто увиденное из окна изолятора: а увидела я, как во дворе гуляют две женщины — обе бывшие со мной на «Водоразделе»: теософка, пытавшаяся заинтересовать меня своими идеями, и еще одна, которая кричала мне вслед, когда я уходила в бега. Но ведь на «Водоразделе» нас и было всего трое «политических»… Значит, взяли их в изолятор из-за меня? Подозревают в сообщничестве, в пособничестве…

Вот тогда мне стало страшно в первый раз: ведь их могут

тоже расстрелять — ни в чем не повинных людей — только из-за меня, из-за моего самоубийственного настроения, из-за моего «моря по колено»… Но они-то ведь жили, терпели, надеялись…

Ох, как стало нехорошо!.. Я не знала, что же делать. Попросила вызвать меня на допрос, но вряд ли единственный часовой, охранявший изолятор, мог передать мою просьбу, даже если бы и хотел.

Впоследствии я узнала от теософки, с которой снова оказалась вместе в лагере в Кеми, что с ними ничего не случилось, но страху хлебнули и они.

Ведь они были со мной в одной бригаде в тот день, когда я бежала, и их сразу же отправили в изолятор — сначала на «Водоразделе», а затем перевезли в центральный.

Однако, очевидно, дело было слишком ясно для наших деятелей 3-го отдела, как, вероятно, и все наши дела для НКВД! Да и не было нужды затевать новое дело для того, чтобы расстрелять нас всех вместе или поодиночке. Найти предлог для этого для них не составляло труда.

Возможно, уже начал спадать «девятый вал» 37-го года; возможно, что в планы НКВД входили не только расстрелы, но и вербовка новых осведомителей… Трудно сказать. Во всяком случае, «сообщников» мне не пришили и никаких допросов о них не было. Как я узнала позже, их допрашивали только в первый день на «Водоразделе», а в центральном изоляторе даже на допрос не вызывали и отправили почти сразу в Кемь, на «Швейпром», куда потом попала и я. Ирония момента, если можно так выразиться, была в том, что, вероятно, благодаря моему побегу им даже повезло, так как если бы они остались на «Водоразделе», то наверняка «дошли» бы там и погибли, как и другие в «северном» лазарете.

Вскоре без всяких официальных допросов разные чины Управления БелБалтЛага стали меня расспрашивать о моих четырех днях «свободы» в карельских лесах, расспрашивали подробно и с интересом, не скрывая удивления и даже с какой-то долей уважения: «Ишь ты какая, не побоялась!» И без обиняков предложили: «Если хотите жить и добиться пересмотра дела — работайте с нами и для нас. Тогда, может быть, чего-нибудь и добьетесь».

Сначала я отказалась наотрез. Не только работать с ними, но и возвращаться в лагерь. Пусть расстреливают или отправляют в тюрьму, настоящую, — на Соловки или куда хотят… В противном случае я объявлю голодовку, но на «Водораздел» я больше не вернусь!..

Не помню фамилии тогдашнего начальника 3-го отдела

БелБалтЛага — кажется, Аристов. Меня водили и к нему. Культурный, изысканно-вежливый, интеллигентный на вид, он тоже смотрел на меня с любопытством и общался с подчеркнутой учтивостью: «Ну что ж, подумайте! У нас производства, промышленность, вот — бумажный комбинат в Сегеже. Огромное строительство. Нам крайне важно знать, нет ли там вредительства, честно ли работают бывшие наши враги?.. Вы понимаете?.. Вы же были журналисткой, работали в газете… В промышленном секторе. Большего, чем объективного освещения дела, мы от вас не потребуем. Подумайте, ведь вы еще молоды, у вас еще вся жизнь впереди…»

Чтобы мне не скучно было думать, в мою камеру поместили еще одну женщину…

Казалось бы, мы недолго пробыли вместе, никогда не пересеклись снова наши пути, а как отчетливо помню я ее милое, усталое, немолодое уже лицо, седеющие волосы, подобранные сзади в маленький пучок.

Сначала мы, конечно, боялись друг друга — каждый видел в другом потенциального «стукача». Но потом подружились.

Стукачи в лагере неизбежно узнаются и становятся «париями». И редко, очень редко острое лагерное чутье обманывает…

Моя сокамерница оказалась «бывшей» Рябушинской — одной из двух дочерей известного дореволюционного фабриканта и финансового магната Рябушинского.

Она была старше меня лет на 10–15, но на вид казалась много старше.

Как интересно рассказывала она о раннем своем детстве, об изолированной детской, совсем особом мире, где они росли вдвоем с обожаемой ею сестрой в обществе mademoiselles, иногда приятных и ласковых, иногда строгих, требовательных и холодных. Рассказывала о поездках за границу, о Венеции и Неаполе в своих детских воспоминаниях; о юности и революционных брожениях, проникавших даже в эту среду — самых крупных капиталистов, в ее культурную, интеллигентскую прослойку…

И вот — ее встреча с Алексеем Сергеевичем Алексеевым — родным братом Константина Сергеевича Станиславского — «того самого!». Того, с кем были поставлены первые домашние спектакли, с кем были выношены мечты о новом театре, о Художественном театре для народа, о театре, которым стал МХАТ…

Рябушинская (к сожалению, не помню ее имени), горячая поклонница обоих братьев, вскоре стала женой младшего. Теперь

ее фамилия стала Алексеева. Но — увы! — для советских властей она не перестала быть Рябушинской.

В 36-м году обе сестры Рябушинские были арестованы. Как муж Рябушинской был взят и младший Алексеев.

Рябушинские были отправлены на Соловки отбывать свои десять лет. Алексеев с Лубянки не вышел…

Двоих его детей — мальчика 12-ти лет и девочку 14 лет — Станиславский взял на воспитание. Он даже добился свидания с женой брата и привозил детей на Соловки. Но на этом его участие и кончилось…

Эта история потрясла меня…

Станиславский тогда только что получил звание (первое в стране или одно из первых) народного артиста Союза, был награжден какой-то медалью…

И он принял ее, благодарил партию и правительство и, конечно, лично товарища Сталина! А ведь знал, как знала и жена Алексея, что тот ни в чем не виновен — ни в действиях, ни в мыслях, ибо оба они были настроены либерально и сочувственно к советской власти. Знал он и о том, что брат его замучен на Лубянке, погиб там (расстрелян?) при неизвестных обстоятельствах.

А он — Станиславский — к пиджаку медаль подвесил…

И сколько было его выступлений — и устно, и в печати, и в знаменитой «Жизни в искусстве» — нигде ни разу не обмолвился: «Мы с братом»… Как будто его и не существовало! Нигде, никогда и полусловом не обмолвился он и о кончине брата на Лубянке… Ни в те годы, ни позже.

Как не вспомнить пророческие слова Бруно Ясенского из эпиграфа к роману «Человек меняет кожу»: «…Бойся равнодушных; это только с их попустительства убивают и предают…»

Почему Алексееву вывезли из Соловков и водворили в центральный изолятор БелБалтЛага, она не знала. На допрос ее не вызывали. (Может у «народного» совесть зашевелилась и он стал для нее чего нибудь добиваться?)

Не узнала этого никогда и я. После трех недель нашего совместного житья в камере, в начале завязавшейся дружбы нашей, нас разлучили навсегда. Дожила ли она до реабилитации?..

Итак, я опять осталась одна. Я отдохнула от «Водораздела», от голода — тут ведь ежедневно давали пайку — 400 граммов, и при неподвижном образе жизни этого более или менее хватало.

Понемногу успокоились нервы. Сквозь броню равнодушия, душевной усталости и пустоты начал пробиваться новый

родничок, новый источник энергии. Сначала крошечный, робкий, чуть слышный, а затем все более крепнущий, стойкий, набирающий силу.

Нет, почему же все кончено? Почему на всем надо поставить крест? Почему не пробовать бороться еще, постоять за себя? Зачем просто и покорно идти на смерть или в тюремный склеп? Ведь это никогда не поздно.

Почему не сказать им «да» — и снова бежать при первой возможности, только теперь бежать уже не с отчаяния, когда все равно, а с серьезной подготовкой, с расчетом, если не с уверенностью, то хотя бы с надеждой на успех? Вот какие мысли занимали мою голову долгими днями и ночами в камере центрального изолятора…

И я сказала «да», в душе показывая им хорошую дулю — дождетесь от меня «информации»!..

Меня обещали послать на «промышленную точку», где я должна буду вникнуть в «важные производственные обстоятельства», а проще говоря, узнать, не занимаются ли бывшие «вредители» из высококвалифицированных специалистов новым «вредительством» в масштабе лагерного производства.

Тогда, как и сейчас, мне все это казалось дикой галиматьей: как это я стану «вникать» в суть производства, которого наверняка не знаю и не понимаю, открывать какое-то вредительство, которого наверняка нет да никогда и не было — дичь и чушь!

Но я твердо решила опять бежать и сказала: «Попробую»…

Таким образом я попала на Пудожстрой…

II. На гулаговской «шарашке»

…Это действительно не было похоже на лагерь, как мне и обещали в 3-м отделе. И даже отдаленно не напоминало «Водораздел».

Есть где-то у Онежского озера гора Пудож. Там были обнаружены ценные и редкие (тогда, по крайней мере) породы руды с содержанием титана и ванадия. Беда была только в том, что эти ценные руды были тугоплавкие и в обычных доменных печах того времени не плавились.

И вот, неподалеку от Медвежки, под боком и бдительным надзором Главного управления и 3-го отдела БелБалтЛага заключенные специалисты — металлурги, электрики, химики и другие — создали экспериментальную установку вращающихся электропечей, в которых выплавлялся титан и ванадий под сильным давлением какого-то газа. Тогда это было, по-видимому,

технической новинкой.

Опыты по добыче этих минералов и освоению электропечей проводились уже года три, и к тому времени, когда я попала на Пудожстрой, как именовалось это гулаговское предприятие, подходили к концу.

Теперь в основном решался вопрос, где строить обогатительную фабрику — непосредственно около самой горы Пудож или возить руду через озеро в Медвежку и построить ее здесь. Содержание металлов в руде было небольшое, и обогатительная фабрика была необходима.

Конечно, перевалка удорожала стоимость руды, но, с другой стороны, там, на Пудож-горе, не было электроэнергии и нужно было строить ТЭЦ.

Вот так, или примерно так, объяснили мне суть дела инженеры Пудожстроя.

Впрочем, опыты по выплавке этих металлов все еще продолжались. В производственном корпусе стояли три вращающиеся печи, где плавилась руда. Когда печи пускались в ход — на 36 или 72 часа, все приходило в волнение, никто не спал, все поминутно бегали в лабораторию, чтобы взглянуть на анализы, которые брались каждые пять минут. А два чертежника — я, которая была прислана сюда в этом качестве, и еще один, который был уже до меня, на огромных, прикрепленных к чертежным доскам листах миллиметровки выводили восемь или девять разноцветных линий, от клеточки к клеточке, от минуты к минуте, обозначая этими ломаными линиями и различными цветами выход разных химических элементов, названия которых, конечно, давным-давно улетучились у меня из головы.

…Кроме производственного в Пудожстрое был еще и жилой корпус, похожий на прибрежную виллу — несколько модерновую, из серого бетона, с большими зеркальными окнами и с плоской крышей. Все это находилось в каменистом саду, уступами спускавшемся до самого берега Онежского озера.

С трех сторон сад был окружен высоким железным забором, но без всякой колючей проволоки и вышек. Где-то в саду находился маленький флигелек вроде бани — «хитрый домик» на здешнем жаргоне. Туда вызывали заключенных, если наезжала «третья часть».

Единственный страж стоял возле проходной будки у ворот — такой, какая бывает на обычном заводе. Озеро зимой замерзало, и четвертая сторона Пудожстроя оказывалась не огороженной. Можно было надеть коньки и мчаться хоть до Повенца, хоть до самого Петрозаводска.

…Бежать!.. Бежать!.. Сколько дней, сколько ночей стучала эта

мысль в мозгу. Сколько деталей обдумывалось в бессонные ночи: если так, то потом дальше — так… Или, если это окажется иначе, как тогда?..

Но даже в самых жарких мечтах, когда я видела себя уже в Москве, я не могла предположить, что будет дальше…

Что же дальше?… Ну вот, я добилась приема у Вышинского… (Каким образом? Ведь я — беглая заключенная!) Станет ли он меня слушать?.. Пересмотрят ли мое дело?.. Знает ли он обо всем, что творится в лагерях?

Разумом я уже и тогда понимала — бесполезно!..

И все равно: бежать!.. бежать!.. — вот чем я жила дни и ночи, проведенные на Пудожстрое, и то, что я так и не попыталась бежать оттуда, до сих пор камнем лежит у меня на душе и ощущается как самый горький позор моей жизни…

Да, только видимость охраны была установлена на Пудожстрое. Да и к чему было иначе? Слишком хорошо знало наше начальство, с кем оно имеет дело…

На Пудожстрое жили и работали тридцать заключенных — крупных инженеров и ученых, несколько необходимых рабочих, лаборанты и, как я уже говорила, два чертежника (включая меня).

Женский персонал состоял из трех человек: кухарка (кстати, отличная), уборщица (она же судомойка и прачка), и одна симпатичная, к сожалению горбатенькая, лаборантка Варюша. Она сидела уже три года, но лагерей не хлебнула — сразу попала сюда, на Пудожстрой. Статья у нее была пустяковая, и сроку-то всего три года, которые уже подходили к концу. Но и сейчас каждый день она спрашивала меня с тоской и недоумением, широко открыв свои круглые, чернослив овые глаза: ну за что нас тут держат?.. За что мучают?.. И чудесные глаза ее наполнялись слезами.

Дома у нее остался трехлетний (теперь уже пятилетний) сынишка, рожденный с превеликим трудом, такой же большеглазый, как мама, мальчик, с чьей фотографией Варюша никогда не расставалась.

Четвертой женщиной стала я.

Мы жили в одной комнате, напоминающей студенческое общежитие, но никак не барак для заключенных.

Питались мы в общей столовой, т. е. не в смысле заведения — «столовой», а в комнате-столовой, которая могла бы быть таковой у воображаемого владельца нашей «виллы».

Во всю длину, правда, не слишком большой комнаты стоял стол, к каждому приему пищи накрывавшийся безупречно свежей скатертью; против каждого стула стоял столовый прибор с ножами и вилками и со свежей, треугольником сложенной

салфеткой!

На столе стояли горки (!) нарезанного хлеба — белого и черного, графины с водой, стаканы.

Каждый входящий желал другим «приятного аппетита») совсем как в кают-компании какой-нибудь фешенебельной яхты), а раскрасневшаяся Маша — наша кухарка — металась из кухни в столовую и обратно то с полными, то с пустыми тарелками, жадно ловя слова одобрения. Она была не только искусным кулинаром, но и великим честолюбцем…

Впервые после голодного «Водораздела» и изоляторской пайки с баландой в жестяной миске, съедавшейся в мгновение ока, — как ни хотелось растянуть это удовольствие, все равно не получалось, — зрелище этого сверкавшего белизной сервированного стола, хорошо, если не сказать элегантно, одетых мужчин, сидящих над своими тарелками, — все это до того поразило меня, что я вообще ничего не могла проглотить…

Потом я наверстала! Лопала за четверых, не стесняясь просить у Маши вторую и третью порцию. Но вскоре, правда, «отъелась» и стала, как и другие, лениво ковырять вилкой в тарелке…

Хотя на третье всегда было что-нибудь сладкое — компот, кисель или кусочек торта (великолепные изделия нашей Маши), после обеда отворялись буфеты, где у каждого имелась собственная полка, и оттуда доставался свой собственный десерт — яблоки, апельсины, виноград, конфеты, а иногда и бутылочка сухого вина. Это были либо присланные родными в посылках лакомства, либо приобретенные в магазинах в Медвежке. Наши стражи всегда охотно и любезно выполняли поручения по части покупок, не отказываясь от кое-какой мзды за это.

Поначалу я испытывала по отношению ко всем этим людям враждебное раздражение и презрение… Все они казались мне подхалимами и лизоблюдами, распластывающимися перед начальством за эти несчастные крохи благополучия, за сытое брюхо, за посылки и свидания, которые им предоставлялись вне всякой очереди.

Но потом, когда я познакомилась с ними поближе, я поняла, как несчастны все они, несмотря на то кажущееся благополучие, которым они пользовались в заключении. Ведь все в мире относительно!

В большинстве своем это были крайне наивные, простодушные и устремленные в себя люди — по крайней мере те из них, с которыми мне пришлось познакомиться поближе.

Существовали они как бы в стороне от жизни, замкнувшись в своей работе, в науке, к которой относились со страстью, отдавая

ей все помыслы, всю энергию. Это было смыслом их жизни.

Ну а помимо этого большинство из них имело семьи, свой надежный, обособленный и боготворимый мирок, потерю которого они переживали трагически и не менее остро, чем все другие, у кого на воле остались жены, дети, родители…

Все они были аполитичны — так, по крайней мере, мне показалось, и даже то, что стряслось с ними, что хлопнуло, как обухом по голове, ничему их не научило, не пробудило интереса к политике. Они все расценивали как плод чудовищного недоразумения, так же как вначале думала и я, и другие интеллигентные люди, попавшие в эту «мясорубку» государственного террора.

И они все ждали разрешения этого «недоразумения» и с неистовством одержимых работали здесь, где их знания и опыт могли оказать существенную пользу стране, глубоко веря и наивно полагая, что это оценится, зачтется, примется во внимание при пересмотре дела, которого они ждали со дня на день — уж какое тут вредительство!..

…Возможно, что я и ошибаюсь, называя их «аполитичными». Скорей всего, большинство из них приветствовали революцию как некий символ — идеал русской интеллигенции, и именно это — наивная вера в революцию и в конечное торжество ее великих идеалов — толкнуло их работать на советскую власть.

Когда я рассказала им о «Водоразделе» и моем бегстве оттуда, они были поражены больше, чем сотрудники 3-го отдела Белбалтлага. А потом они наперебой старались закормить меня сладостями и фруктами, оказать мне хоть маленькие знаки внимания и уважения…

А от меня ждали доносов на этих, в сущности, добрых и наивных людей! «Ну и пусть ждут, пока не убегу», — думала я…

…Самым приятным местом здесь была столовая. Помню, как я сижу рядом с Варюшей за нашим длинным обеденным столом, накрытым свежей скатертью. С другой стороны — мой сосед, старый еврей, ученый-химик по фамилии Эгиз. Он и здесь, в лагере, сохранил благообразно-патриархальный, интеллигентно-еврейский облик — неизменно в своей потертой кипе, с бородкой клинышком и длинными пейсами. Малоречивый, всегда печальный, как-то особо одинокий даже среди пудожстроевцев, ко мне он относился особенно внимательно, или, вернее, предупредительно.

Сидел он, очевидно, по тем же причинам, что и Рябушинская. Как-то однажды, когда мы разговорились и я упомянула, что мое детство прошло в Херсоне, он оживился и спросил:

— А вы знаете, как называлась Суворовская улица (это была

главная улица Херсона) до того, как она стала Суворовской?

Я не знала.

— Эгизовской, — сказал он. И повторил печально: — Вот именно — Эгизовской…

Я не стала расспрашивать, и так было понятно. Очевидно, Эгизы были уважаемыми и очень известными людьми в старом Херсоне.

…Ученый Эгиз умер у меня на руках в 42-м году, когда я была з/к-медсестрой в Центральной больнице Усольлага.

Пока он лежал в больнице (а лежал он долго — у него была дистрофия, и он постепенно угасал), он получал письма, не помню откуда — кажется, из эвакуации.

И как же он им радовался! Я любила приносить ему письма в палату (их нам выдавали в конторе больницы на всех больных сразу).

— Письмо?! — глаза его сияли, он приподнимался на локтях, а лицо его прямо светилось и казалось совсем молодым. Он никогда не рассказывал о содержании писем и только раз сказал, что они от его самого близкого друга.

Только после его смерти я узнала из письма, пришедшего слишком поздно и потому оставшегося невостребованным, что другом этим была женщина.

И в этом единственном письме, которое я прочла, было столько тепла, поэзии, нежных воспоминаний, что без слез его нельзя было и читать: такую любовь пронесла эта женщина к этому маленькому, ставшему к концу совсем сухоньким, старичку…

Мы с моей тогдашней подругой Катей Оболенской написали этой милой и, по-видимому, очень интеллигентной женщине — рассказали ей о его смерти и о той радости, которую приносили ему ее письма…

Вот так воспоминания, цепляясь одно за другое, уводят от основного рассказа.

…В противоположность молчаливому и всегда державшемуся немного обособленно Эгизу, другой человек из нашей «кают-компании» — инженер-механик М. А. Соловов — был необыкновенно общителен, подвижен и шумен. До революции был он ни много ни мало старшим механиком на «Штандарте» — яхте его величества, последнего российского императора Николая II. Рассказывал он, что на яхте он завтракал за одним столом с царем, цесаревичем Алексеем и императрицей Александрой Федоровной. Он не раз видел на яхте Распутина и даже здоровался с ним за руку.

Вся его жизнь была как феерическая история, полная

приключений и удивительных случаев. А рассказывал он очень живо и интересно.

Последние годы — лет десять — он провел в Китае, где у него был брат или еще кто-то. Но вот — ностальгия!..

Хотя ему основательно не советовали, да и сам опасался, но… все же вернулся на родину. На свою голову вернулся! Хорошо еще, что сразу не расстреляли…

Впрочем, почти все пудожстроевцы имели высшую меру — расстрел, с заменой десятью годами.

Статьи были тоже стандартные. В большинстве — 58-7 — вредительство, 58-а — измена родине или шпионаж.

Множество историй выслушала я в Пудожстрое, и были они до ужаса однообразны, похожи одна на другую и на мою собственную.

Все полагали сначала, что арестованы они по недоразумению, ожидали, что вот-вот «разберутся» и они вернутся домой. Но начинались допросы, и все теряли голову и всякое понимание действительности, впадали в панику. Все, как и я, расписались в своей «виновности» в основном под угрозами репрессий по отношению к своим близким. Кое-кто был доведен до состояния полнейшей безнадежности и равнодушия, когда все становится безразличным…

Были тут и одиночные, и групповые дела, когда их герои с ужасом и недоумением узнавали, что их лучшие друзья или коллеги — ученые, инженеры, изобретатели, имевшие прекрасную репутацию на работе, — оказались «врагами народа» и «предателями», а они сами — их пособниками и укрывателями…

Обо всем этом я уже рассказывала в главах о Бутырской пересылке в первой книге, но сейчас возвращаюсь к этому потому, что мои «хозяева» ожидали от меня каких-то «материалов» о деятельности и лояльности этих людей…

Разумеется, никаких материалов у меня не было и рассказывать мне было не о чем, и я понимала что скоро моему благополучию придет конец…

Вскоре, однако, я поняла, что, посылая меня на Пудожстрой, они преследовали в первую очередь совершенно другую цель а именно: проверить, насколько можно доверять мне и полагаться на меня как на сексота и как далеко я готова идти в сотрудничестве с ними.

Я поняла, что затеяла смертельно опасную игру.

…Мной уже упоминалось, что на Пудожстрое еще до меня был еще один чертежник. Буквально через несколько дней по прибытии я услышала несколько предупреждений, что он стукач.

В этом были убеждены все пудожстроевцы, а через некоторое время и я сама. Не потому, конечно, что он был частым посетителем «хитрого домика» — туда вызывали всех. Велись какие-то «доследования», расспросы; некоторые даже были уверены, что это для пересмотра дел. Просто он вел себя слишком глупо и неумело. Мне и раньше уже приходилось сталкиваться со стукачами — их достаточно много в лагерях и на пересылках.

Так вот, этот чертежник работал «стандартно»: старался заводить дружбу то с тем, то с другим (хотя и довольно безуспешно), начиная ее со скользких разговоров, которые трудно было не расценить как провокационные.

Вскоре он начал «обрабатывать» и меня. Мы работали в одной комнате и чаще всего только вдвоем, поэтому ему было очень удобно «поверять» мне то, что, очевидно, было велено его (и «моими») хозяевами. Сначала он поделился со мной своими «инакомысленными» воззрениями, а потом стал подробнейшим образом информировать меня обо всех пудожстроевцах: кто с кем дружит, кто кого не любит, каковы у кого семейные обстоятельства и кто о чем думает, делая акцент на общих «антисоветских» взглядах и на «антисоветских» высказываниях того или другого.

Я неоднократно пыталась остановить поток его красноречия и перевести разговор в другое русло, но безуспешно — он упорно возвращался к скользким темам.

…Был на Пудожстрое среди инженеров один более молодой, с какой-то иностранной, похожей на немецкую, фамилией, кажется начинавшейся на «Б». По имени и внешности его можно было принять за немца. Держался он как-то от всех в стороне, ни с кем не дружил, в его тоне, несмотря на молодость, сквозило какое-то высокомерие, и он не располагал к себе, хотя, помнится, внешне был довольно красив, высок, белокур.

Незадолго до меня на Пудожстрой прислали нового вольнонаемного главного инженера — женщину. Была она еще сравнительно молода и довольно интересна внешне, по общему мнению наших лагерных мужчин. Крупная, чуть располневшая блондинка, но вполне еще «в форме».

Странно было думать, что эта молодая женщина могла быть крупным специалистом по выплавке титана и ванадия. Скорее всего, она была прислана для «надзора» за деятельностью заключенных специалистов, и, вероятно, не без умысла для этого была выбрана именно женщина.

Как бы то ни было, у нее очень скоро завелся «друг» среди заключенных, и этим другом оказался этот самый инженер Б.

Вольнонаемная начальница, как ее за глаза величали

пудожстроевцы, жила тут же, на территории лагеря, в «вольнонаемном корпусе», мало чем отличавшемся по виду от нашего, разве что поменьше.

Инженер Б. единственный из всех пудожстроевцев был вхож в этот дом. Посещал он его достаточно часто, чем вызывал ехидные усмешечки и зубоскальство остальных. Но поскольку все пудожстроевцы были людьми солидными, в возрасте, многие имели не только жен и детей, но уже и внуков, то особой зависти «романтические» отношения этой пары ни у кого не вызывали. Смотрели на это довольно добродушно, хотя некоторые считали, что все это происходит не без благословения 3-й части, так как посещал инженер Б. корпус вольнонаемных совершенно открыто.

Естественно, что он был и первым поверенным нашей начальницы в делах производственных, вызывая этим некоторую ревность и неодобрение наших «маститых» ученых…

Чертежник, «поставлявший» мне «сведения» о пудожстроевцах, конечно же, не обошел вниманием и его.

Хотя это происходило еще задолго до начала Великой Отечественной войны, уже тогда он характеризовал инженера Б. как «нациста» и «фашиста» и сообщил мне, что тот хвастался своим «чисто арийским» происхождением…

Я и тогда, и сейчас думаю, что все это чепуха, выдуманная моим напарником с провокационной целью — втянуть меня в политическую полемику.

Перед кем инженер Б. мог хвастаться своим «арийским происхождением»? Уж не перед ним ли, незадачливым и всеми признанным стукачом? Да и хвастать вслух таким образом даже в те времена было бы глупо, а на глупца инженер Б. был никак не похож…

Но все это, вероятно, сообщалось моим напарником в 3-й отдел. И я хорошо понимала, что все, что он мне говорит, предположительно должно быть передано мною в 3-ю часть, если я не хочу тут же «загреметь» из Пудожстроя, не успев осмотреться и дождаться благоприятного момента для побега.

Но могла ли я быть на 100 % уверена, что все это провокация и что, передав это «хозяевам», я не подведу под монастырь глупого, но ни в чем не повинного человека?

Эта мысль терзала меня постоянно… Вдруг он не стукач… Вдруг он на самом деле слышал эти слова об арийском происхождении… Вдруг он просто по дурости все это наговорил мне… И если я передам это «хозяевам», его могут «прижать» моим материалом и заставить признать то, что он говорил, а показания двоих — основание для нового дела.

Кроме того, под ударом оказывался и инженер Б., хотя я и не

была уверена, являлось ли хвастовство арийским происхождением основанием к заведению нового «дела». Но к тому времени я уже была уверена в другом — из любой малости, из «ничего» может быть создано «дело», могущее стоить человеку жизни…

В общем, я не знала, что мне делать, и с ужасом и замиранием сердца ждала вызова в «хитрый домик»…

…В «хитром домике» мне задали сразу три вопроса: не идет ли главный инженер К. (фамилия блондинки) на поводу у заключенных? Каковы ее отношения с инженером Б.? Нельзя ли ее обвинить в потворстве «вредительской деятельности заключенных»?

По-видимому, в последней они были вполне уверены, так как не спрашивали о ней и вообще не задавали никаких общих вопросов. Как я поняла, очевидно, они не прочь были завести «дело» на вольнонаемного главного инженера К.

Ни на один из этих вопросов я вразумительно ответить не могла, даже если бы и на самом деле хотела, поскольку ни начальница-блондинка, ни инженер Б. со мной не общались и своими проблемами не делились. Поэтому я ответила как можно дипломатичнее: я еще не успела познакомиться с главным инженером — просто не было случая для этого, но, как только он представится, я постараюсь. Что касается инженера Б., то он ни с кем из других заключенных не общается, в том числе и со мной, поэтому об их отношениях я достоверно знать ничего не могу.

Как ни странно, но, очевидно, мой ответ не вызвал у них никакой отрицательной реакции, так как больше о вредительстве они не упомянули.

— Но что он бывает у главного инженера К. в квартире вам известно?

— Все об этом говорят… — ответила я уклончиво.

— А вы, оказывается, дипломат, — заметил допрашивающий.

В конце концов меня отпустили, усиленно «порекомендовав» мне «заняться» начальницей-блондинкой и инженером Б.

На этот раз, кажется, пронесло!

Как я буду выкручиваться дальше, я не знала, но и думать об этом не хотелось…

…Настала зима, и, когда замерзло Онежское озеро, кто-то раздобыл коньки.

Я уже говорила, что со стороны озера здесь не было никакой ограды и можно было выходить на лед, ни у кого не спрашивая разрешения, поэтому, пока озеро не занесло снегом, я и еще двое-трое из более молодых инженеров бегали на коньках по потрескивающему льду, замирая от страха и счастья — так

хорошо было мчаться вечером, в сумерках, вдаль, в никуда!

На небе зажигались звезды, лед темнел, ветер свистел в ушах, далеко-далеко чуть мерцали огоньки Повенца… А если дальше и дальше?… Или на лыжах?.. Пешком, наконец… По льду… А там через границу — в Финляндию…

«Бежать!.. Пора бежать!» — постоянно стучало в голове… Но, как и тогда на «Водоразделе» с Андреем, я все откладывала и откладывала побег по совершенно непростительным мотивам, пока в конце концов не стало поздно…

Почему же все-таки я не бежала из Пудожстроя? Хотя бы попытаться-то было можно?

Очевидно, потому, что «бытие определяет сознание». Уж очень не хотелось менять чистую и теплую постель обжитой клетки на голодную, холодную и неуютную жизнь в зимней тайге, в постоянном страхе поимки и полной неуверенности, удастся ли перейти границу…

Сытость и благополучие Пудожстроя ослабили восприятие дикостей и ужаса, всего нечеловеческого, что творилось в те годы и что так выпукло и обнаженно вставало там, на «Водоразделе»… Почему-то забывалось, что Пудожстрой — это только временная передышка…

Вероятно, немалую роль сыграли в этом и вновь полученные письма из дома, всколыхнувшие всю душу, и ослабевшие было струны связи с прошлым, с детьми и мамой вновь натянулись и зазвучали по-прежнему требовательно, и еще раз оборвать их просто не хватило сил…

Кончился Пудожстрой очень скоро и неожиданно.

В один прекрасный зимний день наш главный инженер К. уехала в Москву окончательно решать вопрос об обогатительной фабрике, так и не решенный здесь, на месте.

И вдруг к нам понаехала куча начальства из 3-го отдела, и на голову пудожстроевцев обрушилось незнакомое им доселе слово — «этап»!

Взяты на этап были почти все. Несколько человек оставались, очевидно, для окончательной сдачи дел. Сначала всех отправили в пересылку, в Медвежку, а оттуда — кого куда.

Тут со мной произошел небольшой эпизод, после которого я решила, что моя «проверка» кончилась решительным провалом, и в первый раз я вздохнула свободно. (Как оказалось, нити из 3-го отдела БелБалтЛага тянулись за мной долгие годы, доставив мне немало тяжелых и страшных минут.)

Итак, сначала меня отправили в Сегежский бумажный комбинат. Сердце у меня упало. Я поняла, что это — все. Проверка кончена. Я должна или приступать к «настоящей

работе», или наотрез отказаться от нее и быть готовой к самым худшим последствиям.

Ах, как меня мучило и терзало бесполезное, опоздавшее раскаяние: почему не бежала по льду — упустила реальную возможность уйти от всего этого?.. Почему?.. Почему?..

И вот меня, в единственном числе со спецконвоем, привозят в Сегежу. Сдают куда-то (в 3-ю часть, вероятно), и я сижу в какой-то комнатенке вроде проходной. Сижу и час, и два, и день сижу. Ем понемножечку свою пайку, полученную в дорогу.

А вечером меня вдруг ни с того ни с сего, без всяких допросов и расспросов, отправляют обратно в Медвежку — и прямо в пересылку!

Господи!.. Какое счастье!.. Значит, все-таки я с проверкой «провалилась», и в Сегеже меня не приняли!.. Почему это случилось на самом деле, я так никогда и не узнала. Вообще же мне пришлось еще раз убедиться в том, что пути НКВД так же неисповедимы и не доступны понятию простых смертных, как и пути Господа Бога…

Тут открывается новая страница моей лагерной жизни…

III. «Родная» моя пересылочка

Пребывание в Медвежьегорской пересылке зимой 1937–1938 года запомнилось мне по нескольким смешным и отчасти трогательным происшествиям.

Стоял конец декабря, и морозы были отчаянные. Пересыльные бараки были почти пусты. Они находились в зоне, отгороженной от общего лагеря, там же, где стояли мужской и женский бараки для з/к 58-й статьи.

Вольготное времечко для заключенных — служащих в управлении лагерей, когда они расхаживали свободно по всей Медвежке и в лагерь являлись только ночевать, давно миновало. Теперь все жили в лагере и на работу выводились под конвоем. Под конвоем же велись обратно, для чего к назначенному времени все должны были собираться в Медвежке на площади, у статуи Ягоды, которая тогда еще возвышалась там, целая и невредимая! Это было еще до его ниспровержения. И горе было опоздавшему — он считался в бегах, и мало того, что против него могли возбудить дело «о побеге», но упорно носились слухи, что нескольких «беглецов» просто пристрелили на улице, «при попытке к бегству». Во всяком случае, было известно, что некоторые люди исчезали куда-то из пересылки.

Театральные мужчины, которые раньше пребывали в своем шумном и веселом общежитии при театре, том самом, где

столовались и мы, женщины, до разгрома театра в начале 37-го года, теперь были оттуда изгнаны, а общежитие уничтожено.

Теперь артисты и режиссеры, музыканты и дирижеры — все жили в зоне и тоже выводились и приводились под конвоем с той только разницей, что в театр за ними конвой приходил к полуночи.

Итак, поскольку пересыльные бараки находились в той же зоне и не запирались, я вдруг очутилась среди знакомых и друзей. Со всех сторон протягивались руки, тискавшие меня в своих объятиях, улыбались знакомые, милые лица.

Правда, друзья уже оказались не в полном составе. Сидевшие за такие страшные статьи, как моя, или 58-6 и 58-а, были, как и я, изгнаны из театра — усланы неизвестно куда. Милая моя Лидия Михайловна Скаловская, с которой мы изображали приживалок в «Пиковой даме», тоже была отправлена куда-то, говорили — на Соловки…

И конечно же, более всех ликовал по поводу столь неожиданной встречи Егорушка Тартаков, который остался (и был единственным в то время) баритоном в театре!

Но так как приводили его с работы поздно, когда уже по зоне ходить воспрещалось, то «свидания» наши происходили по утрам, до девяти часов, то есть до развода на работу. Мы с ним обычно прогуливались вдоль бараков, и я выслушивала новости о театральной жизни вперемежку с пылкими признаниями в неугасимой любви…

Мне было жаль его, и я как могла старалась образумить его и перевести разговор в какую-нибудь другую область, но, как правило, безрезультатно…

Вскоре, однако, хотя мы не совершали ничего предосудительного, в чем можно было бы найти «состав лагерного преступления», каравшегося в административном порядке, наши неусыпные стражи и лагерные «воспитатели» торжественно «объявили» нам, что мы получили по пять суток изолятора за «связь». Очевидно, наши утренние прогулки доказывали это совершенно непреложно! Недаром наши друзья посмеивались над нами: «Смотрите, догуляетесь!»

Меня это огорчило, поскольку в изоляторе был совершенно собачий холод — вода в кружке на верхних нарах замерзала! — а на работу меня не выводили, так как я была «пересыльная».

Егорушка же ликовал! Его «камера» была рядом с моей. Проще говоря, это был один маленький барак, разделенный лежащей перегородочкой на мужскую и женскую половины. Преступников, кроме нас двоих, не имелось, и потому Егорушка, возвратясь с работы, имел возможность хоть всю ночь изливать

мне сквозь щели перегородки свои горячие чувства, не давая мне спать в обычное для этого время. Приходилось отсыпаться днем.

Сквозь щели в перегородке проходили не только «чувства», но и папиросы (тогда я еще курила), а после некоторых усилий со стороны Егорушки стали пролезать даже апельсины!

Так, перед самым Новым годом мы оказались в тесном соседстве, разделенные всего лишь рядом тоненьких досок! Егорушка боялся только одного: как бы меня не взяли ненароком на этап или не выпустили бы из изолятора по случаю Нового года.

Но судьба была к нему благосклонна, и мы сполна отсидели все свои пять суток и встретили новый, 1938 год по разные стороны нашей общей перегородки…

…В общем, все было бы ничего, если бы не холод! У меня был теплый меховой «полуперденчик», как его называли в лагере, — нечто вроде меховой куртки, которую я захватила с собой с «Водораздела», но, к сожалению, она доходила мне только до колен, и, как я ни скрючивалась ночью, колени вылезали наружу и жутко замерзали.

Кончилось это сильнейшим приступом суставного ревматизма, и вскоре после изолятора я попала в лазарет, где провалялась недели две.

В конце концов, это тоже было неплохо, так как в лазарете было тепло и, как говорят в лагере, «абы время шло». Оно и шло, конечно, но боли в коленях были такие, что я не могла встать на ноги.

…Но все проходит! Меня вернули в пересылку и вскоре взяли на этап.

На этот раз мы ехали «с комфортом» в так называемом столыпинском вагоне — пассажирском, но приспособленном для перевозки заключенных. В каждом отделении было четыре места, забранных решеткой от прохода — как вольеры для зверей.

Нас было всего три женщины — я и две уркаганки, но вполне дружелюбные и приличные.

Как выяснилось позже, мы ехали в Кемь.

Но вот приехали… По «личным делам» нас вызвали из нашей клетки и вывели на перрон… Холод, метель — бр-р-р! И сейчас в дрожь бросает, как вспомню! Стражам нашим тоже холодно. Стоят, чертыхаются, кроют матом начальство. Оказывается, привезли — а сдавать некому, никто нас не встречает… А поезд не ждет, конечно, ведь это обычный пассажирский состав — только один специальный вагон для заключенных.

Поезд постоял свои положенные 10–15 минут и отправился дальше.

Ничего не поделаешь — посадили нас обратно в наш вагон и повезли в Мурманск. Там поезд простоял сутки, потом поехал назад (в Ленинград!).

На пути назад нас в Кеми опять никто не встретил, а в Медвежке какой-то конвой оказался на перроне и забрал нас.

Так, после путешествия в Мурманск мы снова оказались в «родной» Медвежьегорской пересылке. Появление мое в бараках 58-й сначала произвело сенсацию!

…Эта история с путешествием в Мурманск и обратно повторялась (с перерывами в две-три недели) три раза! Так что при очередном отъезде я уже прощалась «до скорого свидания» и мои друзья поджидали меня через пару дней назад.

Один из таких приездов моих был отмечен чаем с какими-то вкусными вещами — не помню, то ли пирожными, то ли конфетами — в мужском бараке, где была плитка, на которой можно было вскипятить чайник.

Было это вечером, когда служащих управления привели с работы и мы, человек пять мужчин и женщин, сидя на чьих-то нарах, весело болтали, распивая чай из жестяных кружек. До отбоя было еще далеко, но наши недремлющие «воспитатели» — сами из заключенных — тут же накрыли это «противозаконное» чаепитие.

Женщины были изгнаны из мужского барака, а дня через два был оглашен приказ, карающий нарушителей дисциплины. И снова я получила (на этот раз, правда, всего трое суток изолятора) за «связь» с… инженером Красным!

Большей глупости и несуразицы они придумать не могли. Миша Красный, как все его звали, несмотря на то что по возрасту он несомненно относился к старшему поколению, был на редкость симпатичным и добродушным человеком, всеобщим любимцем, всегда старавшимся помочь товарищам, чем только мог.

Мне, например, он приносил книги, так как, работая в управлении, всегда мог достать их у вольнонаемных друзей или в библиотеке. Иногда угощал чайком, но никаких романтических отношений между нами никогда не было. Он был женат и романов в лагере не заводил. И в лагере, где все всегда известно, знали об этом.

Вот почему оглашение приговора на утренней поверке во дворе было встречено гомерическим хохотом и рукоплесканиями, тем более что сам Миша Красный был ужасно смущен и даже расстроен: за всю свою лагерную бытность он впервые подвергался взысканию, да еще таким курьезнейшим образом!..

Впрочем, отсиживать нам не пришлось — меня снова взяли

на этап, оказавшийся на этот раз последним, а Мишу, по-видимому, «простили». Слишком уж глупо было солидного инженера, чуть ли не начальника какого-то отдела, сажать в изолятор, да еще по такому идиотскому поводу!

…Когда через семь с половиной лет я освободилась в Соликамске, под Пермью, и вышла на волю, первый раз без конвоя, первым знакомым человеком, которого я встретила и который привел меня в свою служебную столовую и приютил у себя на первую мою «вольную» ночь, был Миша Красный. Он освободился немного раньше, остался работать и жить в Соликамске, где было расположено Управление Соликамскими лагерями.

Мне же после освобождения из Соликамской пересылки было предписано еще тюремными властями отправиться самостоятельно в Тимшерскую больницу трудармейцев, где началась моя «вольнонаемная» работа в качестве медсестры, продолжившаяся в Боровске до 1949 года, когда все бывшие лагерники со «страшными» статьями были арестованы вновь и отправлены в бессрочную ссылку в Сибирь.

Глава 4
«Швейпром»

I. На берегах Кеми

Наконец меня все-таки привезли в Кемь. Лагерь, в который я попала, назывался «Швейпром». Это был женский производственный лагерь — предприятие, расположенное в нескольких километрах от города, на берегу реки Кеми, у самого ее устья, при впадении в Белое море.

Берег этот не отличался живописностью. На нем не было никаких признаков растительности. Отсюда в ясную погоду (что, правда, бывало очень редко) можно было видеть слабое зарево соловецких огней. Соловецкие острова были расположены в Белом море как раз напротив нас, всего лишь километрах в 80.

В самом лагере, похожем на небольшой поселок с улицами и большими корпусами швейной фабрики, с шестью-семью двухэтажными бараками, обнесенными высоким забором, тоже не было никакой зелени.

У самой реки была небольшая, но тоже голая горка, носившая романтическое название Горка любви, ибо это было единственное более или менее укромное местечко, где в свободные часы могли встретиться и погулять парочки. Со стороны реки вышек не было — только колючая проволока тянулась между берегом и водой.

Впоследствии, когда я прижилась на «Швейпроме», я любила, если позволяла погода, бродить по горке или, присев на камень, любоваться гладью моря и белыми барашками, вдруг вскипавшими на гребне волны, готовой обрушиться на наш пустынный берег…

Улицы верхней части зоны, вдоль которых стояли бараки, были довольно широкими и выложенными камнями, иначе в период весенней и осенней распутицы по ним было бы не пройти.

По утрам и вечерам на фабрику и в обратном направлении двигались толпы женщин, похожие на колонны демонстрантов на городских улицах. Быть может, поэтому бараки с их улицами назывались «колоннами»?.. Первая колонна… вторая… третья и т. д.

Шествие женщин напоминало праздничную демонстрацию еще и потому, что у широко распахнутых ворот фабрики, куда вливалась колонна «демонстрантов» — в 6 утра или в 6 вечера, неукоснительно и во всякую погоду гремел лагерный оркестр, торжественно встречая дневную или ночную смену.

«Швейпром» работал круглосуточно, в две смены, каждая по 12 часов. Оркестр гремел и в дождь, и в пургу, и, конечно, давно никто не обращал на него никакого внимания, а возможно, просто не слышал…

Но для культурно-воспитательной части (КВЧ) лагеря это значилось важным «мероприятием» и придавало особый престиж лагерю: во-первых, бодрая, веселая и энергичная музыка взбадривала работниц; во-вторых, воспитывала ленивцев и нерадивых, опоздавших на общий развод и спешащих бегом догнать уходящую колонну; их оркестр с презрением встречал «Чижом»: «Чижик-пыжик, где ты был…»

Несомненно, укор и легкая сатира — лучший способ «перековки» преступников, для чего и существовали лагеря — так, очевидно, считали в КВЧ.

Зато если ворота фабрики запирались и к этому моменту оставались еще опоздавшие — тут уж было не до «Чижа»! Их тут же отправляли в КУР — колонну усиленного режима, где они и получали соответствующие взыскания и сроки «отсидки».

Иногда на разводе появлялся «сам» — наш «хозяин» и полновластный правитель, начальник лагеря Дудар, происходивший из венгров. Огромный, упитанный детина, с довольно добродушной физиономией. Впрочем, он действительно был достаточно добродушен и терпим: на самую виртуозную матерную брань, на которую не скупились наши уркаганки, он не обращал ни малейшего внимания и сам крыл не хуже. В общем, был бы «невредный», если бы не приступы бешеной ярости, которые вдруг нападали на него по самым пустяковым причинам. Тогда он лишался не только разума, логики и членораздельной речи, но и вообще человеческого облика.

Мне самой случилось оказаться причиной такой вспышки, позже я расскажу об этом трагикомическом происшествии, обернувшемся для меня серьезными последствиями.

Здесь же, у ворот, он хлопал в ладоши, притоптывал сапогами и ревел во всю глотку, перекрывая гром оркестра: «А ну, давай!.. Веселее!.. Шире шаг, мать твою!..»

Ко всему человек привыкает. Привыкла и я. Но, впервые увидев зрелище «развода под оркестр» — только кумачовых флагов не хватало, я пришла в ужас и мне чуть не стало плохо…

Женщины шли молча, с усталыми, невыспавшимися лицами, невидящими, казалось, глазами, шли туда, где их ждали новые 12 часов однообразной, утомительной, но требующей неотрывного внимания работы. Две-три пятиминутные передышки и одна 20-минутная — на «обед». «Обедали» тут же, за машинкой, принесенным с собой ломтем хлеба, иногда немного смазанным

повидлом или посыпанным сахаром…

«Швейпром» был женским лагерем. Работа считалась легкой, и работницами фабрики были женщины, получившие «третью категорию» при медицинском осмотре, т. е. негодные для тяжелых работ, в том числе на лесоповале. Конечно, за машинкой сидеть — не лес валить, и они справедливо считали себя «счастливыми»…

Основной контингент «Швейпрома» составляли бытовики: деревенские бабы, раскулаченные и бежавшие с мест поселений; работницы с фабрик (в те годы существовали какие-то «указы», по которым за катушку ниток, обнаруженную в кармане на проходной, давали десять лет); были и посаженные по 58-й статье, но в основном за болтовню, анекдоты и просто по глупости.

Было довольно много украинок. Эти несчастные женщины сидели за людоедство, получили по десять лет и почти все были отправлены на Соловки. Теперь их почему-то переправляли к нам на «Швейпром».

В начале 30-х годов на Украине был лютый голод, как потом говорили, специально устроенный Сталиным.

Не знаю, были ли случаи прямого людоедства, т. е. убийства с целью людоедства. Я о таких случаях не слышала, хотя со многими из украинок познакомилась довольно близко и даже подружилась. Некоторые действительно ели трупы. Рассказывали они об этом с содроганием и со слезами. Большинство имели детей и спасались от голодной смерти ради них… Ужас пережитого остался с ними на всю жизнь.

Я не понимала и сейчас не понимаю, почему за это несчастье, постигшее их, надо было еще наказывать тюрьмой?

На фабрике это были лучшие работницы, выдававшие продукцию высшего сорта, без единого огреха, и делавшие чуть ли не по две нормы за смену.

Были тут и молодые еще девчонки, сидевшие за мелкие кражи, не успевшие превратиться в настоящих уркаганок. Их было немного, но все же они кое-как задерживались на фабрике и к ним относились весьма снисходительно.

Настоящих же уркаганок усадить за машинку и приохотить к нудной работе не удавалось, и от них начальство старалось поскорей избавиться. Однако в лагере их было достаточно — в основном это были представительницы «колонны мамок». Такая специальная «колонна» существовала у нас на «Швейпроме». Это были не только наши, швейпромовские урки, но и присланные из других лагерей.

Несмотря на преследование «сожительства», оно

существовало во всех лагерях и было, прежде всего, привилегией уголовного мира. Преследование преследованием, а заделалась «мамкой» — тут тебе и декретный отпуск, и усиленное питание, и вольготный отдых в «колонне мамок», откуда в течение года на работу никуда не посылали. Детишки особенно не досаждали — содержались они отдельно при лазарете, с надлежащим питанием и уходом. Почти никто из матерей не кормил детей грудью.

После года, если на воле не находилось родственников, желающих взять ребенка, их отправляли в детский дом.

В общем, быть «мамкой» было выгодно и удобно, и я знала уркаганок, которые нарожали в лагере по шесть-семь детей…

Как раз в то время в советском государстве был введен хозрасчет. Ну а лагерь никогда не желал отставать от «воли» — все то же самое, только территория поменьше да обнесена колючей проволокой. На «Швейпроме», как и в некоторых других лагерях, тоже ввели свой хозрасчет.

Итак, никаких тебе талонов на обед. Никаких пайков — ни ударных, ни штрафных. Сколько заработал — столько и получи — деньгами. И отправляйся в столовую, бери там приглянувшийся (и по твоему карману!) обед, в ларечке купи хлеба и конфеток к чаю…

Все это было бы хорошо, если бы не… нормы. Ах, эти нормы! Хронометражисты со своими хронометрами так и шныряли между конвейерами. Так и зыркали глазами — нельзя ли тут сократить время на операцию, нельзя ли отнять у нормы хоть несколько секунд? В результате нормы были так жестки, что заработка едва-едва хватало на пропитание.

Служащие — бухгалтеры, счетоводы и т. д. — получали маленькую, но твердую зарплату, на которую все-таки прожить было можно.

А украинки с Соловков, попав в лагерь, где можно было заработать лишнюю копейку и послать ее домой, просто ожили. Были они женщины работящие, толковые, быстро освоили электрические машинки, поняли идею и выгоды хозрасчета и быстро одолели нормы. «У, сволочи, — шипели на них остальные, — из-за вас и нормы повышают!» И это тоже, к сожалению, было правдой.

Когда я прибыла на «Швейпром», меня тоже посадили за «мотор» — так назывались здесь производственные швейные машины, работавшие от электричества.

Стоит на такой машине ногой чуть коснуться педали, как проклятый мотор рванет с такой скоростью, едва не отхватив тебе все десять пальцев, что кусок материи, который ты держишь в руках, моментально промчится под «лапкой» машины с быстротой

курьерского поезда, собирая сборку, виляя зигзагами или вовсе выскакивая из-под «лапки»!

Если бы можно было как-то поучиться, потренироваться — но лагерное начальство считало, что обучение таким простым операциям, как работа на швейной машинке, просто баловство и ненужная потеря времени. Да и какая женщина не умеет шить на швейной машинке?!

Но ведь вот беда: моторы стоят на конвейере, и у каждого мотора своя операция, а всего десятки операций, в результате которых получается гимнастерка, шаровары или бушлат.

Операции действительно не сложные: одна операция — стачивается спинка; другая — полы; третья — рукава; четвертая — вшивается правый рукав; пятая — левый и т. д. И чтобы это «далее» шло ровным потоком и с конвейера сходили без задержки одна за другой готовые гимнастерки, надо, чтобы каждая операция занимала точно отведенное ей время (недаром вокруг конвейеров шныряют хронометражисты). Гимнастерка должна была быть сшита хорошо, без брака.

…Меня посадили для начала на «пустяковую» операцию — подрубать подол бушлата. Показали, как просто и ловко это делается. Вот так — загибается, вот так — закладывается, вот так — опускается «лапка» и… тр-р-р-р-р — готово! Подол подрублен аккуратненькой тоненькой линией.

Я старательно загибаю, подкладываю, опускаю «лапку» и, наконец, трогаю ногой педаль — тр-р-р-р-р-р!!.. Господи! Куда же оно летит, куда мчится?!.. Изо всех сил, обеими руками хватаю, держу — какое там!

И вот в моих руках мое произведение: какой-то фестонообразный колокол — не хватает только языка, чтобы ударить в его бока! Это подол будущего бушлата!..

Но кругом никто не смеется, тут не до смеха — бушлат-то бригадный! Брак ляжет на бригаду. А бригада — на хозрасчете. На меня глядят недобрые глаза, насуплены брови. Уже слышится знакомое по 37-му году: «У-у-у… интеллигенция заср… Контра проклятая!..»

Несколько дней промучилась я за мотором. Конечно, чуть лучше пошло, да и операции нашлись еще проще — сшивать карманы, например; их кроили из лоскутов, там не очень-то видно, как они сшиты, и материя уже не вырывалась из рук таким вихрем. Оказалось, что и педаль можно заставить как-то слушаться, едва трогая ее ногой, но тогда все шло очень медленно, и за моей спиной накапливался ворох полуфабрикатов, и я снова задерживала бригаду. В общем, я оказалась настолько неспособной швеей, что с конвейера меня сняли.

II. Раскройный цех

Помыкавшись за мотором на разных конвейерах, с которых меня немедленно прогоняли, испробовав множество разных «операций», из которых мне не удалось усвоить ни одной, я неожиданно прибилась к делу, которое оказалось не только легким для меня, но даже и интересным. А для «Швейпрома» — и весьма полезным.

Раскройный цех «Швейпрома» занимал второй этаж одного из корпусов фабрики. Производство было массовым — «Швейпром» шил одежду на все северные лагеря ГУЛАГа.

Для каждой вещи — телогрейки, бушлата, шаровар и т. д. — имелись картонные стандартные выкройки, которые назывались лекалами. Они изготовлялись согласно ГОСТу — ни на сантиметр больше, ни на сантиметр меньше. Лекала раскладывались на материи. Для каждого изделия была установлена норма материала при той или другой ширине материи.

Уложить выкройки так, чтобы они заняли хотя бы на один или даже на полсантиметра меньше отведенной нормы, значило сэкономить сотни метров материи — ведь шились десятки тысяч штук.

Раскладка выкроек на материи — это нечто вроде игры в головоломки. Надо десятки раз прикинуть и так и этак, где-то кусочек отрезать, но в таком месте, где разрешается сделать надставку, и снова переложить еще и еще раз.

Нормы были так жестки, что не то что сэкономить материю, но и чтобы уложиться в норму, иногда опытный раскладчик бился и день, и два. А материя постоянно шла разной ширины, самой непредвиденной, и тут тоже имели значение даже полсантиметра разницы — норма на раскладку будет уже не та. А уж если удавалось сэкономить — это было целым событием! Хотя самим заключенным от этого ни тепло ни холодно, так как все премии доставались начальству — даже сам «лекальщик» (так назывались раскладчики) не получал ничего, но неизвестно почему, радовался весь цех, а лекальщик ходил в именинниках!

Удивительный феномен человеческой психологии…

Чтобы сохранить в памяти раскладку на следующий случай, если придет метраж такой же ширины, делали зарисовку этой раскладки на клеенке. Сотни таких клеенок с намелованными на них раскладками висели по стенам раскройного цеха — уже и вешать было некуда! И давно стали делать зарисовки на кальке в маленьком масштабе — 1:10, например. Потом из таких зарисовок составлялся целый альбом, что было, конечно, гораздо удобнее. Но для такой работы уже требовался чертежник.

…Я не помню, как я попала в раскройный цех. Наверное, меня привели туда женщины, которые работали на «размеловке». Каждую выкроенную деталь, от 1 до 100, надо было пометить мелом, так как кроилось сразу 100 кусков материи. А материя — это полотнища, каждое метров 20–30 в длину, и они могли быть одинаковые по ширине, но разные по цвету. Поэтому каждая выкроенная деталь должна была сочетаться со своим полотнищем — для этого и метились мелом детали раскроя. И если случалась ошибка в размеловке — пропуск или, наоборот, дважды повторенный номер, на всех остальных деталях приходилось стирать неверные номера и заново писать новые — огромная потеря времени и недобор нормы для размеловщицы.

Конечно, и тут никакой нормы я сделать не могла. Но, слава Богу, хоть не задерживала других: это был не конвейер, и я над своей кипой раскроя могла копаться хоть до вечера, и копалась!..

Но тут мне неожиданно крупно повезло. На мое счастье в раскройном цехе в это время как раз не было чертежника (освободился или на этап взяли?).

Кто-то сказал начальнику нашего раскройного цеха, что я чертежница, и он предложил мне делать в маленьком масштабе зарисовки раскладок.

Какое это было счастье! Тут я оказалась на высоте!

И так как зарисовки эти занимали у меня совсем немного времени, я, чтобы не слоняться зря по цеху, и сама стала понемножечку раскладывать выкройки — «играть» с лекалами в «головоломки». И вдруг оказалось, что это получается у меня даже очень здорово, и через короткое время я сделалась ведущей раскладчицей раскройного цеха! И не одну сотню метров материи сэкономила для «Швейпрома».

При очередном посещении цеха начальством я была представлена «самому» Дудару как лучшая лекальщица, что не помешало мне в будущем загреметь на общие работы с его легкой руки!

Пока же работа моя была не утомительной ни физически, ни умственно — самой приятной из тех, которые довелось мне перепробовать за годы лагерей. И обстановка была соответствующей.

В огромном цехе было тихо и светло, совсем мало народа. Через весь цех протянулись длинные, метров по 20–30, столы, на которых раскладывалась материя. Одно полотнище на другое, потом третье, четвертое — и так до 100.

Сначала на верхнем полотнище размечались куски — норма для данного раскроя, и в них, в этих кусках, раскладывались, глядя на зарисовку, лекала и обрисовывались мелом. Потом

включались электрические ножи, и тогда тишина цеха нарушалась басовитым жужжанием, но это не шло ни в какое сравнение со стрекотом и рокотом сотен моторов в пошивочных цехах.

«Резаки» — это были мужчины — резали все 100 слоев материи сразу. Я долго не могла смотреть без трепета на эту операцию — слишком страшно. Лезвия ножей с бешеной быстротой носились вверх и вниз в особом станке, который резак вел по меловой линии. Нужно было большое искусство, чтобы разрезать материю точно по линиям выкройки, никуда не заехать, ничего не испортить — как можно было этому выучиться? Ведь бывали детали и совсем крохотные — какой-нибудь хлястик, карманы, надтачки. Я всегда поражалась искусству резаков. Не могла смотреть, как одна рука ведет тяжелый станок с ножами, а другая, совсем рядом, придерживает материю. Никаких «охранительных» приборов не было. У одного старого резака не хватало половины указательного пальца на левой руке…

Заведовал раскройным цехом молодой и, как оказалось, весьма симпатичный парень Володя, которого большей частью, впрочем, называли Володькой, на что он ничуть не обижался. Был он дельным, толковым, все понимающим с полуслова и обычно спокойным. Но в рот палец ему не клади — умел отбрить, как надо!

Был он из «соцблизких» — бытовик, сидел не то за растрату, не то за подделку каких-то документов. Был он «в доску свой» и с работягами, и с начальством, однако начальству никогда ни на кого не жаловался, умел расправиться сам. И в цехе его все любили.

Имелась у него лагерная «жена», и на его «семейную жизнь» лагерное начальство смотрело сквозь пальцы. Завцехом он был отличным — цех выполнял и перевыполнял нормы, брака не делал, давал экономию, столь приятную и выгодную начальству. Взамен Володе разрешалось (негласно, конечно!) сожительство.

Это была довольно-таки трогательная пара. Решительный и насмешливый Володя, не лезший за словом в карман, несущий в бога-душу-мать любого ослушника — и его лагерная жена, хорошенькая эстоночка Эмма. Верх аккуратности, всегда подтянутая, хозяйственная, казалось, она в своей гладкой шапочке-чепчике и белоснежном фартуке с большими карманами только что выплыла из сверкающей чистотой и медной посудой собственной кухни где-нибудь в Таллине.

Сдержанная, тихая, немногословная, она верховодила своим Володей как хотела, но никогда не злоупотребляла этим.

При ней Володя прикусывал язычок и ни в чем не смел ей

перечить. Любая вспышка его угасала, стоило только Эмме взмахнуть своими пушистыми ресницами: «Ты это что?..»

В Володином «кабинете» — закутке, отгороженном от цеха, имелась электроплитка, а в небольшом шкафике помещалась всякая посуда и продукты. Эмма вела хозяйство, варила ужины и обеды — в столовой они не питались. Володя, свой в доску и с охранниками, доставал мясо и прочую провизию, которой не было в зоне. Да и сам он, как бытовик, мог получить пропуск в город, но Эмма отпускала его неохотно, так что этой привилегией он почти не пользовался. За три года я ни разу не видела, чтобы он принес в зону водку. И Эмма говорила уверенно: «Мой Володя не пьет!»

При «кабинете» была еще кладовочка, в которой хозяйственная Эмма устроила премиленькую спаленку.

Эмма сидела по 58-й статье, но имела всего лишь десятый пункт и пятилетний срок, из которого просидела уже три. Работницей она была отличной, никуда из-за «мотора» уходить не хотела, вырабатывала чуть не две нормы и зарабатывала больше, чем ее Володя, который сидел на «зарплате». Оба ждали освобождения и планировали будущую совместную жизнь на воле.

Так как моя «чертежная» помещалась тут же, в Володином «кабинете», я была невольной свидетельницей семейной жизни этой пары. Сначала меня это сильно смущало, и я старалась больше находиться в цехе, оставив парочку наедине.

Если Эмма работала в ночь, то весь день она проводила у Володи. Раскройный же в ночь не работал — тоже его огромное преимущество!

Но очень скоро мы как-то привыкли друг к другу. Володя с Эммой перестали меня стесняться, а я — их. И мы стали жить спокойно и дружно. За всю мою трехлетнюю жизнь на «Швейпроме», которая прошла почти до конца в раскройном цехе, у меня ни разу не было никаких недоразумений и трений с Володей.

А когда у нас появился лагерный театр и расцвела моя «артистическая деятельность», Володя оказался одним из самых горячих «меценатов» нашего театра — освобождал меня от всякой работы — когда и насколько нужно. Снабжал театральную костюмерную любым количеством обрезков, а для пошивки костюмов умудрялся доставать кой-какой метраж. Вполне возможно, что из «сэкономленных» мною раскладок!

Когда память уходит в минувшее и год за годом встают времена, проведенные в лагерях, «Швейпром» представляется мне каким-то тихим, спокойным островком — солнечными деньками,

передышкой.

Солнца как такового на самом деле здесь почти не бывало: зимой — вьюги и метели, весной — холод и туманы, летом — дожди.

Редко-редко выдавались солнечные и теплые деньки, когда вечером можно было посидеть на горке за фабрикой, полюбоваться на взморье, освещенное вечерним, но все еще не заходящим солнцем…

Зимой нет-нет и очарует вдруг звездная ночь, когда небо бороздят всполохи северного сияния, похожие на лучи прожекторов. А вдалеке, где-то на горизонте, светлеет над морем ореол Соловков…

Когда наступают туманные белые ночи — призрачно-неправдоподобные, таинственные и холодные, все становится нереальным и таинственным. Выйдешь из барака в такую ночь — как в белое молоко окунешься, даже жутко становится…

Да, ни природой, ни климатом не мог похвастаться наш кемский «Швейпром»… Недаром о происхождении названия «Кемь» в лагере ходил нецензурный, но довольно меткий анекдот: кто-то из императоров российских — не то Павел, не то еще кто-то, рассердившись на неугодного подданного, на жандармском рапорте широко прочеркнул: «Сослать к еб… матери!» Перепуганные чины не осмелились уточнить — где именно место сие находится? И сослали бедолагу в самое поганое место, которое сумели найти, а место ссылки для краткости нарекли — «К.Е.М».

Но именно в этом невзрачном месте, под скудным северным солнцем и отогрелась моя душа, и я вошла в колею особой, вернее обособленной, жизни с ее собственными переживаниями, тревогами, волнениями, неудачами и радостями.

Думаю, невероятным это покажется для людей, которым, к счастью, не привелось пройти через годы лагерей: как может примириться с подневольным положением душа человека, измотанного, издерганного, замученного несправедливостями — человека, у которого изуродована и изломана вся жизнь…

Но все же это происходит. И не только у меня одной, как я в этом убедилась. И не только у людей из интеллигенции, а говоря скромней — у людей образованных, тех, кому посчастливилось попасть на работу по специальности в Управления лагерей счетоводами, бухгалтерами, плановиками, инженерами и т. д., но даже у самых простых людей — малограмотных или вовсе безграмотных.

Если люди еще не стали «доходягами», которым уже не до кого и не до чего и которые физически уже ни к какой работе не

способны, если они, как наши швейпромовки, могли еще существовать, втянувшись в свою скучную, однообразную и многочасовую работу, они все еще оставались людьми — со своими воспоминаниями и надеждой когда-нибудь вернуться домой. Или, как наши украинки, работая на пределе сил, чтобы хоть один рубль в месяц был отослан домой… И ничто человеческое было им не чуждо, потому что душа в человеке живет вопреки всему.

…И еще был этот год — конец 38-го и начало 39-го — годом вспыхнувших надежд, великих чаяний, когда отхлынул грозный девятый вал 37-го и вынес на поверхность уцелевших после караблекрушения… И кое-кому удалось спастись.

Вдруг начались долгожданные пересмотры дел и несколько человек даже из нашей «политической зоны» были освобождены.

Какое было ликование!

Перестали бояться вызовов в «третью часть». Наоборот, с трепетом и нетерпением ждали их. Гадали, сопоставляли, предполагали — кто мог быть следующим? Но ничего угадать было невозможно: освобождение получали люди, осужденные по самым разнообразным статьям и принадлежавшие к самым разнообразным социальным кругам. И каждый в тайне был уверен, что следующим будет именно он!

Но… взметнувшаяся было волна быстро опала, вызовы в «третью часть» на предмет освобождения постепенно прекратились, и радости и волнения угасли.

Конечно, наш «Швейпром» не был «доходяжным» лагерем.

Нет — тысяча, если не больше, работниц обитавших в лагерных бараках, доходягами не были. Женщины, измученные 12-часовой нудной и однообразной работой, скудной и недостаточно калорийной пищей, даже во времена недолгого хозрасчета, работали на пределе сил, но все же еще не за их пределами.

О «колонне мамок» я уже говорила — те жили и вовсе неплохо. Неплохо жилось и нашим мужчинам. На всю массу женщин их было всего человек 150, заняты они были исключительно на специфических «мужских» работах (механики, наладчики, инженеры и т. д.). Естественно, они жили значительно лучше, прежде всего потому, что и зарабатывали побольше. Кроме того, они пользовались всевозможными поблажками: многие, например, имели свои «служебные» закутки, где они могли тайком принимать своих лагерных сожительниц.

Служащие управления, как я уже упоминала, получали зарплату, на которую прожить все же было можно, а до введения хозрасчета — пайку в 500 грамм хлеба, с чем тоже прожить было

можно при сидячей работе, не требующей физических сил.

И все эти люди, несмотря на тяжелый, подневольный труд и почти рабское положение, все же оставались людьми с нормальными человеческими интересами и отношениями.

И здесь, в «Швейпроме», встречались люди удивительные, с потрясающими душевными качествами, складом ума и способностями, с удивительными историями своих жизней.

Здесь встретила я замечательного человека, необыкновенно талантливого актера — Федора Васильевича Краснощекова.

О нем и некоторых других я хочу рассказать особо, как и о созданном им лагерном театре, который вновь заставил меня, как и многих других, почувствовать себя на гребне жизни и забыть на время, что мы — заключенные.

III. Великая сила искусства

Федор Васильевич Краснощеков был человеком с кристально чистой, трогательно-наивной душой, необычайно чутким и внимательным к окружающим, не только зла не причинившим, но даже в мыслях не осудившим никого и никогда. Был он наделен большим талантом; если бы дожил до реабилитации — ходил бы в «заслуженных» или в «народных», глубоко в этом убеждена.

Театр любил он страстно, самозабвенно, с самого детства. Любовь эта спасла ему жизнь, вернее — продлила на несколько лет.

Не знаю, играл ли он по системе Станиславского, или по какой-нибудь еще, или вообще был артист «от Бога» — но лучшего Шмагу («Без вины…»), искреннейшего Бублика («Платон Кречет») я не видела никогда, хотя смотрела эти спектакли в ведущих театрах Москвы и Ленинграда. И даже старый актер в «Славе», несмотря на ходульность и выспренность гусевского стиха, жил и чувствовал на сцене, вызывая понимание и сопереживание зрительного зала.

Федор Васильевич был артистом профессиональным. 1931 год застал его в Киеве, где он организовал театр Красной Армии. Сам он был ведущим актером характерных ролей и главным режиссером. Театр рос и быстро выдвигался в первые ряды советских театров того времени.

Думаю, что мало кто помнит «киевское дело военных» 1931 года. Я лично ничего об этом деле не знала, хотя к тому времени и начала уже работать в газете. Очевидно, оно не очень-то освещалось в прессе.

Но еще более удивительно было то, что и сам арестованный именно по этому делу Федор Васильевич ничего не знал об этом

деле и о своих «однодельцах»! «Загремел» только потому, что был руководителем «военного» театра.

На допросах его особенно не мучали, ничего от него не добивались, а быстренько припаяли десятку и отправили на Соловки, где он и просидел семь лет, прежде чем появился у нас на «Швейпроме».

Федор Васильевич, с детства влюбленный в театр, всегда и всецело был поглощен им. Вне театра существовали только нежно любимая жена и маленький сынишка — конечно же, будущий актер! И казалось, что это навсегда…

Он и не заметил, как понемногу стала отдаляться от него семья, как постепенно угас у его жены интерес к его работе, к театру. Он всегда был уверен, что жена разделяет его упоение театром — живет его жизнью…

На Соловках он получил от нее единственное письмо, извещавшее о смерти сынишки: «…Ни тебе, ни мне не дано воспитать Бориса»…

Мальчик умер от скарлатины. В конце письма были странные и непонятные слова о том, что сейчас такое время, когда «… никому ни до кого», и просьба не писать ей.

Это было давно, когда Федора Васильевича только что привезли на Соловки. Дело военной контрреволюционной организации в Киеве прокатилось в 1932 году, когда люди еще не ведали, что скрывается за стенами Лубянки, что готовят им грядущие годы… Впрочем, не больше знали об этом и киевляне — и даже сами «герои своего дела».

Федор Васильевич не только не знал ни одного своего «сообщника», но и вообще не понимал — в чем его, Краснощекова, обвиняют?

И был он не чета даже мне, в 35-м году не понимавшей, в чем меня обвиняют, но как-никак имевшей «дворянское» происхождение, какие-то «связи с бывшей аристократией»; какие-то «мысли», идущие, как оказалось, вразрез с генеральной линией партии, и злостно непреклоненной перед «великим кормчим»…

А он-то! Сын плотника с Охты, с превеликим трудом вытянувший реальное (платить было нечем), а дальше помог дар Божий в виде актерских способностей. Всегда искренне и дружелюбно настроенный к людям — ко всем людям — и сам всегда себя ощущавший простым, открытым человеком.

Человек душевный, любимый всеми, с кем он когда-либо соприкасался — будь то солдат, дворник, актер или даже лагерный уркаган; во всех он умел обнаружить что-то хорошее — так за что же его-то?

«Дело организации» как обухом стукнуло по голове,

ошеломило, ошарашило — но и тут он не брался судить: «Ведь я ничего не знаю… Политикой никогда не занимался… А вдруг? Может быть, что-нибудь и было? Лес рубят — щепки летят. Может, они больше знают?»

И не столько за себя, сколько за гибель театра переживал. Что же дальше будет?..

Но письмо о смерти Бориски с загадочной припиской «… никому ни до кого…» было последней каплей. Друзья едва успели вытащить его из петли, устроенной из собственного кожаного пояска.

Однако время идет неумолимо, безостановочно. Убивает или излечивает…

На Соловках была одна работа — сбор водорослей. Бродили по колено в воде и граблями вылавливали анфельции, прибитые волной к берегу. Потом их сушили и отправляли в Архангельск на дальнейшую заводскую переработку. Это уже ГУЛАГа не касалось.

Хотя соловецким узникам и выдавались высокие сапоги, но ноги все равно постоянно были мокрыми; соленая вода разъедала руки. От постоянных пронзительных ветров не спасали никакие бушлаты. Вряд ли долго выдержал бы такую работу Федор Васильевич. Загибались и куда более крепкие люди! Здоровьем и крепким сложением он не отличался. Но… спас новый поворот судьбы.

На Соловках, как и в каждом лагере, было начальство. И начальству было скучно. Ведь Соловки — не город. Ни тебе ресторана, ни тебе киношки, ни даже пивной. Унылый двор, каменные стены, камеры — бывшие кельи братии, две церкви — одна с высокой колокольней, с которой видны сотни соловецких озер, да широкая, сложенная из огромных валунов крепостная стена.

Пятьсот лет стоит стена — крепкая, добротная, ни один валун не вылетел. Недаром говорят, что с раствором на яичных желтках кладена — на века! А за стеной несколько домиков для вольнонаемных — охраны, начальства — да несколько сараев для водорослей.

Впереди — неприветное, шквалистое море, берег с валунами; позади — острова с сотнями озер, с буйной зеленью — ведь рядом проходит Гольфстрим; к слову говоря, растительность на Соловках неожиданно богатая, почти южная — напоминает нашу среднюю полосу: и ели, и пихты, и березы, и рябины, и клен. А черники, брусники, грибов по осени — полным-полно!

Но заключенные их собирать не могут, а начальство это мало интересует. Да к тому же ведь это только летом и недолгой осенью, а в бесконечные зимние вечера?..

И вот начальство решило устроить там свой, «крепостной театр» наподобие Медвежьегорского. В бывшей трапезной, огромном зале редкой архитектуры — сводчатый потолок покоится на одной-единственной мощной каменной колонне — открылся Соловецкий театр, на семь лет ставший жизнью Федора Васильевича Краснощекова. Театр, прославившийся по лагерям и ставший популярным даже у начальства на Лубянке.

Появился театр, появились друзья, единомышленники в искусстве — одним словом, жизнь. Жизнь за крепостными стенами… Семь лет был Федор Васильевич бессменным режиссером и художественным руководителем Соловецкого театра. Отыскивал в камерах людей, любивших театр и мало-мальски способных к сцене; учил их терпеливо и настойчиво, вселяя уверенность в свои способности, еще больше прививая любовь к театру. Нашлись и два-три профессиональных актера, Бог знает, по чьей прихоти и какими путями попавшие на Соловки..

Тут я хочу сделать в моем повествовании маленькое отступление, прямого отношения к «Швейпрому» и театру не имеющее, но достаточно курьезно характеризующее абсурдность логики наших лубянских хозяев…

Итак: в одной из камер Соловецкого лагеря, в маленькой тесной каморке на четырех человек (камерами служили бывшие монашеские кельи) сидел некто Дондуков-Корсаков. Позже он был тоже вывезен на «Швейпром», но вскоре я была вывезена оттуда, поэтому не успела близко с ним познакомиться, о чем и до сих пор жалею. Даже имени-отчества его не запомнила.

Конечно, одна фамилия его говорит, что он — из «бывших».

История его жизни, которую в общих чертах он все же успел рассказать, очень интересна. Из России он отступал с Врангелем и обосновался во Франции, где не раз бывал еще до революции и которую искренне любил. Теперь, живя во Франции, он снова поступил на военную службу, но уже во французской армии.

В знак признания особых выдающихся заслуг он получил орден Почетнего легиона, что давало ему пожизненную пенсию по окончании срока военной службы.

И вот, будучи уже пенсионером, он вздумал навестить свое родное отечество, вдали от которого столь долго прожил…

В результате он оказался на Соловках, да еще со строгим режимом, даже без вывода на работу! Подъемные койки в камере убирались в шесть утра, и четверо заключенных проводили день, за исключением часовой прогулки, сидя на четырех табуретках, без всяких спинок. Если бы не книги, которые, к счастью, давали, хотя и меняли редко (а библиотека на Соловках оказалась весьма

солидной), и не увлечение резьбой по дереву, что разрешалось, так как изящные вещицы, которые он делал, демонстрировались лубянскому начальству как достижения «перековки», а затем поступали во владение начальством соловецким (если не забирались лубянским)! Если бы не это, можно было бы просто сойти с ума. Кроме того, заключенный Дондуков-Корсаков отличался весьма строптивым характером и не раз за дерзкие ответы начальству попадал в карцер на трое, а то и на пять суток.

Что представляли из себя соловецкие карцеры, расположенные в толщах крепостной стены, он не рассказывал. «Не для дамских ушек!» — считал он.

Железного здоровья был, видно, человек — вынес несколько лет такой жизни, и в возрасте далеко не юном.

Был он человеком большой культуры, и театр любил очень, но, конечно, в «актеры» допущен не был, как ни хлопотал за него Федор Васильевич.

Такова была не слишком уж уникальная история зека Дондукова-Корсакова. Но в ней была одна интересная деталь, характеризующая непостижимость логики НКВД. А заключалась она в следующем: будучи кавалером ордена Почетного легиона, Дондуков-Корсаков имел от правительства Франции пожизненную пенсию. И теперь, находясь в заключении на Соловках в камере со строгим режимом… он продолжал получать свою заслуженную пенсию!

Ежемесячно лагерное начальство извещало его о получении денежного перевода из Франции, в чем он, з/к Дондуков-Корсаков, должен был расписаться. Он и расписывался!

Сумма была немалой даже по советскому валютному курсу и значилась переведенной в советские рубли.

Можно ли представить себе что-либо более фантастическое: кавалер ордена Почетного легиона, сидящий в советском лагере, получающий французскую почетную пенсию?!

Каким образом французское правительство узнало адрес своего пенсионера, самому пенсионеру известно не было. К сожалению, из «собственных денег» з/к Дондуков-Корсаков мог получать ежемесячно лишь несколько рублей «на ларек», так что на его «личном счете» накопилась, как он предполагал, значительная сумма, о чем он говорил с юмором и без всякой надежды когда-нибудь ее получить.

— Так что имейте в виду, я — богатый жених! — говорил с обаятельной улыбкой этот приятный человек, уже почти старик, советский заключенный — кавалер французского ордена Почетного легиона.

Когда поступил приказ на отправку Федора Васильевича в

Кемь, это было ударом для многих соловчан — не только заключенных, но и вольнонаемных. Однако приказ был «из центра», а «центру» возражать было нельзя.

Провожали его помпезно, с прощальным концертом — «… независимо от сроков уезжает Краснощеков!..», с объятиями и слезами, как и потом, через три года при отъезде из «Швейпрома». Но об этом я расскажу позже.

Известность Краснощекова достигла «Швейпрома» задолго до его приезда, и приняло его наше начальство с превеликой радостью. А так как в технике он ничего не смыслил, определили его на какую-то пустячную работу при кладовой мелких деталей к моторам, из которой он мог отлучиться в любое время, не говоря уж о свободных вечерах, и заниматься своим «основным» делом — работой в клубе, хотя такая работа в лагерных «профессиях» не значилась и, соответственно, оплате не подлежала.

Но наш милейший начлаг Дудар хотя и поучал лагерников, что калитку надо открывать «…из рукой, а не из ногой!» (это он, увидев грязь на белых досках калитки), тем не менее искусство очень уважал, а «свой клуб» справедливо считал ценным и престижным украшением «свого лагеря» и получаемую премию за образцовую «клубную работу» с удовольствием клал в свой широкий и вместительный карман. В общем, не дурак был мужик.

Дудар не просчитался, предоставив Ф. В. всякие «бытовые» поблажки, тем более что Ф. В. был крайне нетребователен, не пил и ни в чем «таком» не нуждался. Но и Ф. В. тоже справедливо полагал, что ему повезло.

Погоревав о своем втором потерянном театре (первый был в Киеве), он с энтузиазмом и вдохновением принялся за третий, хотя это и был всего лишь лагерный клуб.

За три года он действительно сделал чудо из любительской сцены и нескольких актеров-профессионалов, оказавшихся у нас на «Швейпроме».

Когда Федор Васильевич был вывезен с Соловков на «Швейпром», он нашел двух-трех артистов из нашего Медвежьегорского театра. Один из них — Андрей Кремлев — был солидным профессионалом с амплуа героя-любовника, хотя, к сожалению, уже не первой молодости. Второй, по фамилии Привалов, — сейчас уже не помню его имени — был профессиональным оперным певцом.

Женщин же актрис не было совсем. Вот почему Федор Васильевич, прослышав, что я тоже из Медвежьегорского театра — хотя я и пробыла там меньше полугода и ни одной роли сыграть не успела, — стал усиленно и настойчиво звать меня в свою «любительскую труппу», которую он начал сколачивать

сразу по приезде с Соловков.

Но воспоминания о годе 37-м, о «Водоразделе» и обо всем, что с ним было связано, были слишком живы, слишком больно ранили, и хотелось только одного — отдохнуть душой, не думать, не вспоминать и не начинать «жить сначала»…

Между тем Федор Васильевич продолжал настаивать, мягко, деликатно, ласково, и такая искренность и задушевность жила в этом, на первый взгляд даже невзрачном, человеке, что трудно было не почувствовать к нему симпатии, не поддаться его обаянию, которому поддавались все.

Невзрачным он казался только с первого взгляда, внешне напоминая простоватого Иванушку из русских сказок. Лицо его было подвижно и имело способность мгновенно меняться, становясь то властным, то вдохновенным, то нежным, то лукавым. Низкий баритональный голос, которым он прекрасно владел, окрашивался самыми тонкими оттенками…

В конце концов я оказалась в «труппе», и на всю свою швейпромовскую жизнь снова со всей силой души увлеклась театром. Увлечение это было тем более целительным для меня, что проходило при участии Федора Васильевича и было освещено его мягкой, скромной и нетребовательной дружбой и постоянной заботой — пусть в мелочах (в чем можно еще проявить ее в лагере?). Здесь эти «мелочи» тем более трогательны и милы…

Наш швейпромовский клуб — клуб «богатого» лагеря, естественно, тоже был «богатым»: большой специальный барак на территории фабрики, с большим вместительным залом и большой — вполне театральной — сценой — и даже с роялем, правда стороватым и расстроенным, на котором никто не играл, однако впоследствии и он пригодился!

До прихода Ф. В. Краснощекова этот клуб пробавлялся редкими концертами с типичным злободневным «лагерным материалом». Успеха эти концерты не имели не только у устававших за мотором «работяг», но даже среди «мамок» и маявшихся от скуки, бездельничающих урок. Всем давно надоели бездарные злободневные частушки, и даже любимая уркаганами «чечетка» постепенно приелась. «Работяги» и вовсе не ходили на эти концерты, и тем более — «58-я», хотя из нашей «политической зоны» на концерты «публика» выпускалась. Обширный зал нашего клуба пустовал, едва были заняты первые ряды скамеек.

И вдруг оказалось, что если к «злободневным частушкам» и даже к стихам такого «придворного поэта», каким был в те годы Демьян Бедный, прикоснется истинное искусство, то и они способны тронуть человека, если хоть что-то осталось в нем человеческое.

Молва о «новом артисте» быстро обошла весь лагерь, и постепенно «публика» стала наполнять клубный зал. Вскоре все знали Федора Васильевича Краснощекова.

…Из лоскутов, всегда в изобилии водившихся в раскройном цехе, мы с Володькой сшили обезьянку. Была она порядочная — ростом с небольшую мартышку, и мордашка у нее получилась выразительная. Нарядили ее в желтую кофту и красную юбчонку. Назвали обезьянку Тамарой Тимофеевной.

Федор Васильевич замечательно обыгрывал ее. В его руках она была совершенно как живая! Все время вертелась, порывалась забраться к нему на плечо или обхватить его за шею. А то доверчиво прильнет к щеке и смотрит в зрительный зал своими внимательными черными глазками-бусинками. Федор Васильевич пел с ней частушки и всевозможные куплеты на те же злободневные лагерные темы. Назывался этот номер «Мы с Тамарой Тимофеевной…».

Очень скоро эти выступления Краснощекова «с Тамарой Тимофеевной» стали любимыми номерами, и ни один концерт не обходился без них. И если долго не объявляли номера с Тамарой Тимофеевной, наша публика, непосредственная и требовательная, как дети, начинала топать ногами и вопить:

— …Тамару Тимофеевну давай!..

— Краснощекова!

— Федора Васильевича!..

Больше всех веселились и хохотали от души урки, хотя юмористические куплеты были адресованы как раз им — неисправимым лентяям, разгильдяям, мелким воришкам, матерщинникам.

Федор Васильевич был человеком необыкновенно доброжелательным ко всем, в том числе и к самым отпетым уркам, у которых наряду с извращенными и закоренелыми зверскими понятиями «морали» уживались и сентиментальные чувства и душевные порывы.

В интерпретации Федора Васильевича все эти сатирические куплеты носили характер не бичующей сатиры, а скорее веселого и достаточно добродушного юмора. А урки, надо сказать, к юмору очень чутки и отзывчивы.

Не думаю, чтобы кого-нибудь «перевоспитали» эти — по лагерным нравам — просто безобидные насмешки, но какая же это была разрядка, моменты настоящего отдыха, веселья, смеха. Как помогали они отключиться от тяжелой беспросветной действительности! И, возможно, именно они были искрами, поддерживавшими или, во всяком случае, облегчавшими жизнь этой массы несчастных, издерганных судьбой людей…

Не слишком «идейные» и не слишком «забористые», эти куплеты в профессиональном исполнении Федора Васильевича от души веселили зал. И я говорю не только об урках, но и о об основной массе «Швейпрома» — швеях, по 12 часов сидящих за мотором. И они — представьте — мало-помалу тоже потянулись в клуб. После нескончаемого рабочего дня!

Не так скоро, но настало время, когда клуб наш, вмещавший человек 200, буквально трещал от напора публики. И хотя были введены «билеты», которые раздавались бригадам в виде поощрения, помогало это мало. В клуб набивалось столько народа, сколько могли выдержать стены.

Куплеты повторялись на бис два — три, а то и четыре раза, до полного изнеможения Федора Васильевича. Его приятный баритон, достаточно сильный для концертных выступлений, а главное, глубокая искренность и выразительность, которой дышала каждая нота, трогали зал.

Постепенно репертуар концертов стал расширяться. Привалов, профессиональный оперный певец, великолепно исполнял «Дубинушку». Стал складываться хор, с успехом исполнявший народные песни, очень тепло встречаемые залом.

А затем дело дошло и до романсов — старых, русских, впервые услышанных основной массой нашей публики. Зазвучали и арии из опер — да с каким еще успехом! Федор Васильевич предварял их коротенькими пояснениями.

«Ты взойди, моя заря» из «Сусанина» повторялась на бис три раза. Такой же успех имел «Алеко». И — как ни странно — ария Ленского «Куда, куда вы удалились…» вызывала слезы у зрителей… (А мы долго не решались включить ее в репертуар — поймут ли?.. Видимо, поняли!) Воспринимались и «Тореадор», и «Песенка Герцога» из «Риголетто». Как-то по-своему, вероятно, но воспринимались.

Искусство… Великое таинство, которое не могут объяснить никакие искусствоведы, несмотря на массу замысловатых терминов, выражающих всевозможные нюансы, которые «обычный» слушатель не понимает и не воспринимает.

Я уже упоминала о певце Привалове. Он выступал в концертах с ариями из опер и оперетт. Встречали его всегда хорошо, аплодировали, и часто ему приходилось петь на бис. Но вот однажды, когда Федор Васильевич был нездоров и петь не мог, решили выпустить с «куплетами» Привалова. Едва он спел два — три куплета, в зале поднялось что-то невообразимое:

— Краснощекова!

— Давай Краснощекова!!

— Федора Васильевича!!!

И даже после объяснения, что Ф. В. болен и петь не может, не пожелали слушать Привалова, так и не дали ему допеть куплеты.

Популярность Федора Васильевича была огромной у всего населения лагеря, в том числе и у урок. Вне всякого сомнения, это был самый популярный и любимый человек в лагере. Где бы он ни появлялся, отовсюду неслось: «Здорово, Федор Васильевич!..», «Привет, Федор Васильевич!..»

Когда я подружилась с Ф. В. и мы стали иногда прогуливаться по пресловутой «горке любви» — ни разу, ни одного насмешливого слова не было брошено нам вслед, а уж до чего охочи урки до язвительного, иронического словца, притом самого крепкого, оригинального и «виртуозного», и особенно изощряются женщины — по всякому пустяковому поводу!

Федора Васильевича они не только любили, но глубоко преклонялись перед ним; для них он был маг и волшебник, человек «не как все». Это преклонение распространилось и на меня, как только они своим зорким взглядом «зафиксировали» нас на «горке любви» и тут же наделили меня титулом его «марухи»!

Много позже, когда мне после стычки с начлагом пришлось сидеть в швейпромовском изоляторе с самыми отпетыми уркаганками, мои сокамерницы относились ко мне с исключительной доброжелательностью, если не сказать с заботой! Делились со мной приношениями своих «хахалей» и даже старались «не выражаться» в разговоре со мной, хотя это было выше их сил, слишком привыкли они пересыпать речь многоэтажным и изощренным матом.

Иной раз нецензурные словечки и фразы из швейпромовского лексикона бывали настолько метки и выразительны, что мне не раз хотелось составить кратенький словарик уркаганской красочной риторики. К сожалению, не составила. Правда, теперь таких словарей уже немало, а обильное оснащение ею настоящей литературы, на мой взгляд, не только не украшает ее, но делает циничной и опошляет, за редким исключением, когда такая риторика уместна и необходима для понимания эмоциональности момента.

Федор Васильевич был еще и прекрасным декламатором.

…Затаив дыхание слушает зал «Четырнадцатую дивизию» Д. Бедного (как она в рай шла), а услышав раз, в каждом концерте, как ураган:

— Федор Васильевич — «Дивизию»!..

— «Дивизию» давай!

И это неудивительно — трагизм ситуации и «блатной дух» были так близки значительной части нашей «аудитории»…

Но и стихи Беранже в переводе Курочкина тоже хватали за душу и вызывали восторг у нашей публики:

…Ведь я червяк в сравненьи с ним,
В сравненьи с ним…
С Его Сиятельством самим!..

И слушатели видели перед собой крохотного, в самый пол вдавленного, униженного до предела человека!.. И у них, очевидно, возникали какие-то солидарные с ним чувства — ведь и они были тоже униженные и придавленные люди!..

Ах, недаром Федора Васильевича держали в «магах и волшебниках»!

Но еще большее удовольствие или, вернее сказать, огромную радость нашему несчастному швейпромовскому народу принесли спектакли. И зрителям, и актерам.

Первой пьесой, которую мы поставили, были те же «Без вины виноватые» с чудесным человечным и сильным духом Шмагой — Федором Васильевичем. Поставили сцены из «Леса» — весь спектакль ставить не пришлось, поскольку не нашлось никого на роль Гурмыжской. Но сцена Несчастливцева с Аркашкой (Несчастливцев — Андрей Кремлев); сцена с Карпом и Улитой — были великолепны. Да и знаменитый монолог Несчастливцева, обращенный к Аксюше: «…Королевой ты будешь, королевой и со сцены сойдешь…», Кремлев читал с пафосом и чувством. Великолепно читал он и монолог Гамлета: «…Как сорок тысяч братьев любить не могут!..» — голос его гремел на весь зал, заполненный урками и малограмотными женщинами, за исключением наших «58-х», которых было не так-то уж много, хотя теперь приходили все, — и зал взрывался шквалом аплодисментов.

Одним из первых спектаклей (уже со мной) был «Платон Кречет». Кремлев был хорошим Платоном, но сначала мне с ним было трудно — ведь он был профессиональным актером и в нем чувствовалось немного пренебрежительное отношение к любителям вроде меня. А если что-нибудь не удавалось, он раздражался и не давал себе труда сдерживать раздражение. К счастью, рядом всегда был Федор Васильевич, который умел вовремя брошенной шуткой, одной умной фразой потушить вспышку, вернуть «рабочее настроение».

В основном репетиции проходили интересно, увлекательно, никто не жаловался на усталость, всем хотелось играть, и играть как можно лучше. И право же, некоторые «непрофессионалы» очень неплохо справлялись со своими ролями.

Помню чудесную санитарку в «Платоне» — пожилую женщину с фабрики «Одни больные поправлялись, другие умирали, и жизнь шла своим чередом…». «Вот, совсем, как у нас», — добавляла она тихонько.

…Отлична была «нахальная, напористая» Вера Газгольдер в «Дороге цветов», которую играла бывшая «левая» жена Каменева.

Кокетливую и беспардонную Коринкину в «Без вины виноватых» играла малограмотная уркаганка, всю роль запоминавшая «по слуху», но запоминавшая быстро и игравшая с таким удовольствием и искренностью, что на сцене была подлинной Коринкиной!

Ставили мы и «Таню» Арбузова; сентиментальная, в манере соцреализма пьеса — а сколько счастливых минут она доставила!

Таню играла скромная эстоночка Фрида, долго уверявшая, что ничего у нее не выйдет, а затем до самозабвения полюбившая сцену. После 12 часов за мотором на конвейере она, кажется, столько же была готова репетировать. Может быть, и неумела была ее игра, но столько искренности и непосредственности было в ней, столько изящества и скромности в движениях! Немудрено, что наш эмоциональный зал неизменно разражался слезами…

Помню финал на премьере «Тани», когда весь зал, стоя и что-то восторженно крича, без конца аплодировал, а мы — актеры и постановщики — обнимались на сцене, целовались и чуть не плакали от счастья.

Разумеется, были и просто веселые спектакли: «Чужой ребенок», «Дорога цветов», даже отрывки из оперетты «Роз-Мари»! И, конечно же, чеховские «Предложение» и «Медведь».

Однако работа в театре не всегда доставляла одну радость. Были и огорчения — трудные поиски актеров, работа с ними, горькие переживания, когда что-то не складывалось…

Сложнее всего дело обстояло с мужчинами. Профессиональных актеров насчитывалось всего трое, любителей найти было трудно. Но все же понемногу потянулись в театр и мужчины. Появился среди нас старый мой знакомый по Пудожстрою — Михаил Александрович Соловов, бывший механик со «Штандарта».

Увы, нельзя сказать, чтобы он отличался актерским дарованием. И это странно — ведь в жизни он был прекрасным рассказчиком. А сцена — как гипноз — сразу сковывала и парализовывала его. Федор Васильевич не жалел времени, чтобы поработать с ним. К сожалению, результатов не было. Но даже неудачи, которые Михаил Александрович переживал с большим огорчением, особенно когда приходилось его «снимать с роли», не могли повлиять на его стремление жить театральной жизнью,

делать для театра хоть что-нибудь, быть хотя бы осветителем или создателем всевозможных эффектов — «грома», «молнии» и тому подобного. И тут он был на высоте!

Он проявлял максимум изобретательности и со знанием дела эксплуатировал и обслуживал технику. В общем, оказался весьма полезным и нужным членом нашего театра!

И сколько было у нас таких помощников, которых никогда не видели зрители, которым не доставалось ни аплодисментов, ни оваций! Правда, они щедро вознаграждались всеобщей нашей любовью. Только мы — актеры и постановщики — знали, сколько бессонных часов после длинного утомительного рабочего дня было отдано театру — единственному дыханию «вольной жизни», любимому до самозабвения, до фанатизма!

…Вот наш бессменный суфлер — лагерный бухгалтер Лайма Яновна.

Лаймдотта — в переводе с эстонского «фея света»… Даже в дни квартальных или годовых отчетов, когда вся финчасть сидела ночами напролет над своими бухгалтерскими книгами, Лайма Яновна вырывалась на два-три часа к нам на репетицию в клуб. С красными, опухшими от бессонницы глазами, протирая на ходу запотевшие очки, вбегала она на сцену, взволнованная, извиняющаяся: «Опоздала, да? Никак не могла вырваться…» — и тут же принималась суфлировать, едва ли не наизусть — ведь она была единственным и постоянным суфлером.

Ах, Лайма Яновна, Лайма Яновна!.. Так ясно вижу я ваше милое бледное лицо с близорукими, сощуренными глазами, ваши светлые, тщательно подобранные волосы, уложенные валиком, — вся вы такая светлая, тихая — недаром «фея света»…

Никак не могла понять Лайма Яновна и до конца жизни, вероятно, недоумевала: каким образом муж ее — революционер и старый коммунист, директор совхоза, не положивший себе в карман ни одного совхозного рубля, хотя совхоз рос и богател год от году, — вдруг оказался предателем и изменником родины — той самой родины, за которую сражался, которую горячо и преданно любил?

Но в НКВД ей, Лайме Яновне, доказали это как дважды два: его собственные ужасные признания читать давали и ее обвинили в том, что она, зная о его измене и вредительстве, молчала, укрывала, не донесла…

«Стрелять надо таких гадов!» — кричали ей в НКВД.

И где он теперь? Жив или расстрелян?

И в каком детдоме живет теперь ее маленькая Илга? Хорошо ли ей там? Расчесывает ли ей кто-нибудь ее длинные мягкие волосы — ведь она сама еще не умеет… А может быть, и отрезали

ее белые косички? И скоро ли выучится она грамоте, чтобы написать письмо маме? Илга, Илга… Маленькая голубоглазая девочка…Только ведь подумать!

IV. Тетя Оля

Из всех фанатиков нашего театра мне больше всех запомнилась наша тетя Оля — самая преданная и постоянная помощница во всем, что требовало прилежного труда и заботы.

Тетя Оля — крестьянка из-под Тамбова, так и не удосужившаяся за всю жизнь научиться подписывать свою фамилию. «Да за работой-то неколи было», — добродушно объясняла она. Но сколько доброты, благожелательности к людям, сколько поэзии жило в ее душе!

Один раз в жизни довелось ей увидеть необыкновенное, чудесное зрелище — как на утренней зорьке играет солнышко, такое увидать дано далеко не каждому (вроде «зеленого луча» у моряков). Вышла она спозаранок на крылечко — свиньям месить, глянула в небо, — да так и обмерла!.. «Солнышко-то, солнышко по-над лесом так и ходит, так и катается — и туда, и сюда, ну словно жеребеночек на лугу! И всяким-то светом светится — то вроде красно, то вроде зелено, то золото чистое!..» — все еще статная, дородная, хоть и в летах, показывает она руками и всем туловищем поворачиваясь, как ходит и катается по-над лесом солнышко — высоко, и туда, и сюда…

А бывало, ночью к тете Оле наведывался и лешак — весь черный, лохматый, а все равно — пятипал. И подбирается к ней, подбирается, норовит ухватить. И беда, если вовремя не проснешься, не успеешь креста сотворить: так и хватит, да за бедро, так и оставит пять синяков от его пятипалой проклятой лапы!

— Да что гуторить — уж тут, у нас в бараке, и то — прихватил! — И тетя Оля, простодушно задрав подол, показывает всем следы, оставленные у нее на бедре «лешаком».

Отсиживает свой срок тетя Оля за… ворота — будь они неладны!

Была она солдаткой еще с Первой мировой. Осталась с двумя махонькими девчонками. Но была молода, физически крепкая, никакой работы не боялась. Нового мужика в дом брать не хотела. Девчонок сама подняла, в школе выучила и «взамуж» неплохо отдала, только вот что не в своей деревне.

Так и осталась одна — бобылихой. Но жила ничего себе, при лошадках. Хату-пятистенку еще до Мировой с мужем поставили. Жила да и жила. А тут на тебе: коллективизация.

Записали в колхоз. Лошадку забрали, ну да хрен с ей, в колхозе на трудодни дают, так и лошадь-то ни к чему. Пятистенку тоже отобрали — под школу. Ребятни-то народилось — в старой не уместиться. Ну, тоже не жаль. Если по правде рассудить — ну на кой ей, бобылихе, пятистенка? Пущай в хате робята учатся. Утеплила себе сараюшку, осталась при доме жить, и приставили ее при школе сторожихой — печи топить, полы мыть, звонки давать. Очень даже способная работа, а трудодни в колхозе пишут. С ребятишками во дворе весело, не увидишь, как и день пройдет.

Но вот в один прекрасный день — праздник был, то ли Октябрьская, то ли еще какой — только наезжает вдруг председатель, в доску пьяный. Да не один, а с дружками. И давай ворота сымать. А ворота добрые были, тесовые!

Тут уж тетя Оля не стерпела. Как выскочила да как начала председателя крыть — так и растак — и чуть в драку не полезла:

— Мало тебе, сволочная твоя душонка, что дом отдала, так тебе еще и ворота нужны — растудыть твою мать!

В общем, досталось и председателю, и дружкам его, и советской власти заодно — они-то ведь властью и были!

Только ничего не помогло — куда ж одна баба против трех мужиков?! Ворота все равно взяли и увезли, а назавтра пришел за тетей Олей милиционер…

Ладно еще, что 58-ю припаяли — «политическую», и теперь здесь она в нашей зоне, в нашем бараке, где все ее любят и она всех любит.

Аккуратно, раза два-три в год, мы писали для нее заявления о пересмотре дела, о помиловании: ну, погорячилась, но ведь баба глупая, неграмотная, чего с нее возьмешь? Нельзя ли простить, скостить как-нибудь срок — уж сколько отсижено, отработано по совести…

Но никакого толка от этих заявлений не было. Приходили официальные бумажки: «Вина доказана, статья определена правильно», но о сроке ничего не говорилось, хотя «десятка» была явно не по «преступлению»… Тетя Оля угодила в самый разгар 37-го!

Эх, тетечка Оля, и сдались тебе эти ворота, хоть и тесовые! Наплевать бы тебе на них!

И вот эта простодушная, бесхитростная, неграмотная крестьянка — а какие искренние слезы проливала она над Кручининой или Аксюшей из «Леса»! Ведь доходило же, понимала же, сопереживала!

Каждый спектакль, каждый концерт был для нее праздником и днем особенным. Задолго начинала она волноваться, 100 раз

спрашивала — не забыли ли чего, все ли готово, не надо ли еще чего-нибудь сделать?.. А в день спектакля уже с утра готовилась, доставала свое лучшее платье, разглаживала, раскладывала на постели; тщательно мылась, меняла белье — как в церковь собиралась. Да в сущности и был для нее наш бедный лагерный клуб церковью, храмом искусства.

Всех нас, актеров, она не только любила, но и почитала за людей особенных, высшего какого-то порядка. Всегда старалась чем-нибудь услужить — кому сбегать в ларек, кому простирнуть что-нибудь, и никогда не брала никаких денег за это — никакие уговоры не действовали, а то — даже просто убрать постель: «Иди, иди, я ужотко сама приберу, ты своим делом займайсь!» «Дело» — это было учить роль или делать еще что-нибудь для спектакля.

А сколько она делала для наших спектаклей! Сколько шила, перешивала, стирала, гладила, крахмалила — и крахмал сама из очисток варила! А ведь целый день она сидела за мотором.

Да и не только она. Помню, как к «Платону Кречету» весь наш барак делал цветы — буквально все нары в нашем «политическом» бараке были завалены лоскутками материи, обрезками цветной бумаги, проволокой… Зато за окнами Платона «зацвели» нежные яблони, а комната в день его рождения вся увешивалась цветочными гирляндами и принимала чудесный праздничный вид…

Все старались, как могли, помочь оформить спектакль, найти подходящие костюмы или сшить новые.

Наше начальство законно могло гордиться лагерным клубом — первым по БелБалтЛагу. Наши спектакли даже вывозились в Кемь, где тогда еще не было стационарного театра, там они также пользовались большим успехом.

Вполне понятно, что начальство поощряло нашу театральную деятельность, щедро выделяло «метраж» на шитье костюмов, краски, фанеру и прочее. В общем, мы имели богатых «меценатов», а артистам делались всякие поблажки: разрешалось ходить по зоне после отбоя (иначе когда же репетировать?), сквозь пальцы смотрели на сложившиеся среди актеров «парочки».

V. Пани Гелена

И вот среди нас появилась пани Гелена Квятковская — известная польская пианистка, выступавшая ранее с концертами по всему свету. Наша тетя Оля тут же взяла над ней шефство и ходила за ней, как за малым ребенком: приносила ей обеды и

завтраки, чистила ей селедку (потому что пани Гелена сама не умела), мыла ее в бане, помогала одеваться.

Дело в том, что у пани Гелены в прежней жизни всегда была камеристка, которая все это для нее делала, а сама она была беспомощна, как ребенок.

Пани Гелена окончила две консерватории: одну — в Варшаве, другую — в Париже. С концертами объездила чуть ли не весь свет. Но… в 39-м часть Польши оккупировали советские войска.

…Когда она появилась у нас в бараке, ее фигурка казалась опереточным персонажем из какого-нибудь «Цыганского барона». В затасканной телогрейке бог знает какого срока, в огромных бутсах-«шанхаях», слетавших с ее миниатюрных ножек при каждом шаге, с полотенцем, замотанным вокруг головы вместо шарфа, и с нежно-розовой бахромой, висевшей из-под телогрейки до самого пола, — все, что осталось от шикарного концертного платья!

Пани Квятковскую «взяли» прямо с концерта, и хотя по дороге в НКВД завезли домой, она ничего не сообразила взять с собой — ни полотенца, ни зубной щетки, ни пары белья, ни даже переодеть концертное платье, теперь превратившееся за долгий срок и этапные пересылки в эти живописные лохмотья.

Захватила она только свои «бижутери» — такой маленький чемоданчик с браслетами, кольцами и ожерельями. Его потом отобрали, но дали расписку. А теперь, на этапе, и расписку отобрали. И как же теперь быть без расписки?

Она спрашивала всех, кто казался ей начальством, — лагерного нарядчика и дневальную барака, начальника культурно-воспитательной части (КВЧ), которую она упорно называла «НКВЧ», а впоследствии — и у Федора Васильевича: куда же девались ее бижутери? Что же теперь делать? Страх и недоумение, казалось, навсегда застыли на ее молодом еще, тонком и красивом лице.

В нашем бараке ее быстро приодели и подкормили, так как после этапа она едва держалась на ногах. Но в первые же дни ее отправили на фабрику. Правда, по ходатайству начальника «НКВЧ», которому мы сообщили, что прибыла очень известная пианистка, которая очень даже может пригодиться нашему клубу, и для нас это просто клад, ее не посадили за мотор, а направили в «инвалидный цех» (и такой у нас был!). Там ее поставили на легкую работу — крутить веревки из отходов метража — кромок от материи. Кромки закреплялись на большую вертушку на одном конце цеха, а концы их — на другую, в другом конце цеха. Работа была несложной: большой металлической ручкой надо было равномерно вертеть вертушку все время в одну сторону. Никакой

тебе механизации, ничего соображать не надо, и крутится вертушка, смазанная маслом, довольно легко — во всяком случае, больших усилий не требует.

Напарница на другом конце вертела свою вертушку в противоположную сторону — так и получалась крученая веревка. Поскольку цех был инвалидный, то и нормы с женщин особо не спрашивали, а веревки шли по какой-то графе «ширпотреба».

Но в первый же день работы пани Гелена пришла в барак вся в слезах. Работа ей не давалась. То она начинала крутить не в ту сторону, то крутила слишком медленно, то была не в состоянии больше стоять на ногах… К несчастью, в напарницы ей попалась отпетая уркаганка из «мамок», которая целый день развлекалась, ругая и поддразнивая свою необычную «коллегу».

— Я крутила эту веревку с какой-то ужасной преступленницей, — с ужасом и слезами рассказывала пани Гелена. — Она меня ругала все время и хотела бить!

Самое же худшее было то, что к концу рабочего дня на ладонях и нежных пальцах пани Гелены появились волдыри.

К счастью, тетю Олю, у которой резко упало зрение, как раз в это время перевели в инвалидный цех. Там тетя Оля была «своя», простая баба и умела управляться с уркаганками. При ней они не смели обижать пани Гелену. Тетя Оля успевала сделать свою норму (все-таки какая-то норма, видимо, была) и накрутить еще хоть сколько-нибудь для пани Гелены.

Пани Гелена стала понемногу приходить в себя. Когда мы первый раз привели ее в клуб и она увидела наш клубный рояль, она пришла в ужас — до того показался он ей расстроенным и негодным. Играть невозможно!

И все же она начала играть. Рояль кое-как настроили, и теперь, всеми правдами и неправдами освобожденная от работы, пани Гелена целые дни проводила в клубе за роялем, штудируя весь свой концертный репертуар. Нот, конечно, не было, но она знала весь его наизусть.

Помню ее первый концерт. Она волновалась ничуть не меньше, чем перед концертом в консерватории или в концертном зале — в Милане, Париже или Лондоне… Как долго она всматривалась в зеркало и взволнованно спрашивала: «Как я выглядываю?.. Идет ли ко мне это платье?»

Для концерта ей сшили черное — сатиновое, вероятно — платье, с длинным шлейфом, а у кого-то нашлась белая бархатная хризантема, которую прикололи ей на грудь. Это было единственное украшение, и хотя пани Гелена горько вздыхала об отсутствующих «бижутери», но была она очень хороша и изящна в строгом черном платье с белым цветком на груди.

— Нет, Женичка, правда, как я выглядываю? — не переставала допытываться она у меня.

Нас больше волновало другое: как примет наша неискушенная публика Сен-Санса, которого она выбрала для первого выступления? Так много музыки, такой незнакомой, непривычной… Вдруг не станут слушать? Своими страхами с пани Геленой мы не делились.

Но они оказались напрасными. Чужую, французскую музыку (как объяснил Федор Васильевич) слушали очень внимательно. И когда кто-то в зале громко заговорил, на него зашикали со всех сторон.

Конечно, зал не бесновался, как после «куплетов» Ф. В., но аплодировали добросовестно и долго. Никакой «критики», которой мы побаивались, не последовало. А по другую сторону занавеса пани Гелена, счастливая, сияющая, раскрасневшаяся, принимала наши поцелуи и поздравления.

Она была счастлива, хотя это был не Париж и не Нью-Йорк, а всего-навсего маленький лагерный клуб на окраине советского государства. А все «бижутери» заменял один-единственный цветок из лоскутков белого бархата.

Не знаю, дожила ли Гелена Квятковская до возвращения на родину. В 44-м «старых западников» (посаженных до войны) стали освобождать и отправлять из лагерей (куда?), заполняя их «новыми» — «освобожденными». Но к тому времени меня уже давно не было на «Швейпроме».

VI. Друзья уходят…

Я так много пишу о людях, которые скрашивали дни нашей лагерной жизни и со многими из которых мне было суждено по-настоящему подружиться, потому что без них жизнь в лагерях была бы невыносима. Некоторые из них остались в моей памяти, как драгоценные самородки среди ординарной, незапоминающейся массы заключенных.

«О, самородки незабытых дней…» — писал переживший Колыму поэт Анатолий Жигулин. И он хорошо понимал, что это такое. Кругом беспросветно, безнадежно… Одуряющее однообразие. Усталость, недосыпание, недоедание. Тоска по дому… По детям…

А если бы их не было — этих самородков? Не было бы тех, пусть не дней, но хотя бы часов, даже минут, проведенных с ними вместе? Не было бы их бескорыстной помощи и поддержки?

Что было бы с пани Геленой? С Лаймдоттой Яновной? С тетей Олей? Со мной?

Нет, не надо стесняться скупой радости когда-то пережитых мгновений, помогших спастись от ощущения безнадежности.

Нельзя жить одними проклятиями и стенаниями — ни в жизни, ни в литературе.

…Раннее утро. Открываю глаза и вижу на чисто выбеленной стене нежные золотые полосочки, дрожащие и змейками убегающие куда-то в угол. Беспрерывно, без конца бегут, дрожат… Все шире золотая дорожка на стене. Не сразу и сообразишь — что это? Откуда?

А это — от реки, которая совсем недалеко, внизу за окном. Дрожит и искрится рябь на воде, позолоченной ранним солнцем, а от нее — эти золотые дорожки на нашей барачной стене… И так красиво, что сердце замирает…

Помню какой-то праздник — Октябрьской революции, должно быть, так как на дворе холодно и все сидят в бараках.

Фабрика остановлена. Наша зона заперта, и пока еще даже нас, актеров, не выпускают в лагерь. Скучно и душно, а форточку открыть нельзя — холодно тем, кто лежит у окна. Почти все валяются на нарах. Кто читает, кто лениво болтает с соседкой.

И вдруг в барак к нам входит Федор Васильевич, а с ним парнишка-гармонист, тоже из нашей труппы. И вмиг все преображается. Барак наполняется музыкой, веселыми голосами, топотом, хлопаньем. Отодвинут в угол большой стол, скамейки…

Никогда не увлекалась я танцами, особенно русскими. Правда, в детстве мечтала стать балериной и танцевала под музыку брата какие-то свои собственные фантазии.

Я не подозревала даже, что умею танцевать «Русскую» или «Казачку». И вдруг — как-то ноги сами пошли в пляс, да так ладно, да так легко, и все быстрей да быстрей! И платочек в руке помахивает задорно и весело!

И все постепенно остановились, стали смотреть и только в такт хлопать в ладоши. А я расходилась все больше и больше, выдумывала какие-то коленца, летала по кругу, словно на крыльях, ног под собой не чуя, только чувствуя, что мной любуются и что Федор Васильевич тоже любуется и гордится мною… Только когда уж совсем задохнулась, упала на скамейку, а вокруг все захлопали!

Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так танцевала еще раз. Разве что на сцене, да и то совсем по-другому. А тут вдруг что-то нашло… Даже наш песик Мишка вылез из-под нар и радостно затявкал, смотря на наше веселье.

Ах, милый наш Мишка! Вот только что такая веселая история припомнилась, и сразу — грустное. Очень грустное…

Не помню, откуда он у нас появился, но как-то по— явился.

Белый, лохматый, глазки-пуговки, за челочкой и не видать. Без хвоста. Потому и назвали Мишкой. Очень мы его полюбили. Был он веселый, ласковый со всеми. В еде неприхередлив — и за кусочек хлебца благодарил! Подкармливали его понемножку, чем могли.

В лагере собак было довольно много, но в нашей зоне — он один. И никогда из зоны не убегал.

И вдруг нашему начальству пришло в голову уничтожить собак. Может быть, ждали приезда начальства из «центра» и решили навести порядок, или просто какая-нибудь собачонка попалась ненароком нашему начальнику-самодуру. Только в один прекрасный день всех собак перестреляли.

А Мишка наш словно понял, что грозит беда — забился далеко под нары и носа оттуда не высовывает. Мы уж под нары и еду ему ставили, и выпускали только потихоньку ночью, чтобы никому не попался на глаза.

Так прошло дня два-три. Мы уж думали, что пронесло…

Нет, не пронесло. Пришли какие-то сволочи, из стрелков, должно быть.

— Где собаку прячете?

— Да никакой собаки у нас нет!

Ну, им обыск не впервой делать. Живо нашли. Полезли под нары, выволокли несчастного дрожащего Мишку, ухватили за задние ноги, поволокли в сенцы. Даже патрона пожалели, хватили обо что-то головой — и вся недолга…

И кто-то же донес? Неужели из наших кто? Нет, не может того быть!

И до того нам жалко было Мишку. И до того обидно — и до сих пор обидно: ну чем он помешал им, смирный тихий песик?! Ведь и из нашей зоны не выходил никогда…

В январе 41-го кончался срок Федора Васильевича. И чем ближе подходило это время, тем грустнее и беспокойней он становился. Что делать дальше? Как быть?

Конечно, он мог остаться в Кеми — его охотно взяли бы в клуб, в дом культуры. Наши лагерные спектакли по-прежнему вывозились в город — ведь у нас оставались и Кремлев, и Привалов, да и я чему-то научилась у Федора Васильевича.

Встречался бы со «своей» труппой кое-когда… Со своей… Бывшей своей!

Случалось бы иногда и со мной увидеться. Но как? Мимолетные короткие встречи за кулисами? Два-три слова… Невозможность пройтись вечером берегом реки, говорить обо всем, что придет в голову.

Наша дружба к этому времени переросла уже в более

серьезное чувство, и мы даже начали строить планы о жизни вместе, когда выйдем на свободу.

Нет, жить рядом и видеться только по воле случая — это было бы слишком тягостно. Уж лучше пусть ляжет между нами расстояние и время. А там, кто знает?..

До окончания моего срока оставалось еще три года.

Федор Васильевич решил ехать в Астрахань, где в областном театре работал его друг по Соловкам. И теперь в каждом письме он звал Федора Васильевича приехать туда и писал, что работа в областном театре ему обеспечена и его там уже ждут с нетерпением.

День отъезда Федора Васильевича приближался. Накануне был дан «прощальный концерт».

Зал неистовствовал. Требовали все самое любимое, заставляли все повторять по четыре — пять раз. В конце сыграли «Медведя».

Давно было уже объявлено: «Концерт окончен!», — но никто не думал уходить. Все кричали, требовали Федора Васильевича, лезли на сцену, обнимали и целовали его. Многие плакали. Казалось, что зал можно очистить только с помощью стрелков. Кончилось тем, что самого Федора Васильевича довели до слез и, горько махнув рукой, он скрылся за кулисами.

На следующий день мы распростились с ним, как оказалось, навсегда…

Так обидно, что не удалось мне сохранить писем Федора Васильевича из Астрахани, не только наполненных трогательной заботой и беспокойством, но еще и повествующих о театральной жизни того далекого времени. Да и где же сохранить их было с этими бесконечными этапами и «шмонами»?

Немного сыграл Федор Васильевич за тот последний год в астраханском театре. Сначала ему дали роль Шмаги в готовом спектакле «Без вины виноватые», потом он сыграл Мурзавецкого в пьесе «На всякого мудреца». С увлечением работал над ролью Окаемова в «Машеньке» Афиногенова. Роль эта ему очень нравилась: он подробно описал, как она у него «становилась». Но сыграть ее уже не пришлось.

22 июня 41-го началась война с Германией. А в июле всех бывших лагерников в районе Астрахани тотчас собрали, погрузили на баржу и, переполненную до отказа людьми, ее потянули на другой берег Каспия — в Актюбинскую область. Астраханская, очевидно, показалась слишком близкой к фронту и потому — «опасной»! А там погнали пешими этапами, «расселяя» народ по казахским колхозам, без права не только выезда, но и передвижения внутри района.

«Алла-Верды» — так назывался колхоз Амангельдийского района, куда попал Федор Васильевич. Никакого клуба в этом захудалом колхозике не водилось, да если бы даже и водился — что толку-то? Даже в контору колхоза, в какие-нибудь учетчики, устроиться было невозможно — вся документация велась на казахском языке. Тут для Ф. В. нашлись только общие работы, от которых даже в лагерях помиловал Господь актера Краснощекова.

Целыми днями чистил он скотные сараи, грузил на телеги навоз. Глаза резало от сухого песчаного ветра. Мокрая от пота рубашка натирала под мышками. Переодеть даже вечером было нечего — деревянный, еще лагерный, сундучок уперли в первые же дни.

На паек выдавали кукурузные лепешки. Но от жары и от усталости есть не хотелось — только спать.

Недолго выдержал бедный Федор Васильевич. Начался фурункулез. Последнее его письмо — жалкий треугольничек без марки, как с войны, пришло уже из районной больницы… Никогда в жизни ни на что не жаловавшийся человек писал: «Условия во сто раз хуже лагерных… Сил больше нет никаких…»

Все это я узнала много позже, чем это происходило, и то благодаря тому, что по пути в Астрахань Федор Васильевич побывал у моей мамы и взял ее адрес. Ведь к лету 41-го и меня уже не было на «Швейпроме» — и куда писать мне, он не знал.

Позже, когда у меня с мамой наладилась переписка, мы с ней писали в колхоз, просили сообщить адрес больницы — ответа никакого. Мама послала немного денег — вернулись с пометкой «адресат выбыл».

Так ушел из моей жизни самый хороший, талантливый и трогательный человек, с которым свела меня судьба.

За долгую свою жизнь приобрела я и других близких друзей и схоронила уже многих, но такого бескорыстного, деликатного, преданного больше никогда в жизни не встретила…

VII. Ах ты, сударь наш, дудар…

После отъезда Федора Васильевича мы поставили еще пару спектаклей — «Чужой ребенок» и «Сердца четырех». Кремлев не бросил сцены и добросовестно работал с нами, но все как-то потускнело, посерело, не было прежнего вдохновения, прежней увлеченности… И даже спектакли стали приниматься хуже — уже не было таких оваций, к которым мы привыкли. И скучно было, и тоскливо, и время тянулось нескончаемыми неделями, от бани до бани.

Баня в лагере — не только полезное, но и приятное,

деятельное событие. Генеральная уборка барака под руководством дневальной, с вытряской на морозце одеял и матрасов — вся эта «некаждодневная» работа уже как-то возбуждает, подстегивает. А сама баня — какое удовольствие!.. Даже когда тебе на все про все полагается две шайки горячей воды и кусочек коричневого, с голубыми прожилками, хозяйственного мыла. А кроме всего, баня помогает вести отсчет времени, ведь всего 52 бани — и год долой!

Но тут-то и случилось со мной трагикомическое происшествие, которое сначала даже развлекло меня, хотя и обернулось не весьма приятными последствиями.

На «Швейпроме» ждали какое-то высокое начальство. Во все лагеря оно наезжает время от времени — так же, как на воле в свои вотчины выезжает обкомовское начальство.

Приходит Володька — начальник нашего раскройного — и говорит:

— Ну, придется тебе на пару деньков запрячься в работу! Дудар пожелал, чтобы у него в кабинете висели схемы всех конвейеров, с указанием операций и отведенного на них времени.

— Ого! — восклицаю я.

— Вот именно «ого»! — повторяет Володька. — Все должно быть готово к послезавтрому. Сейчас принесу тебе картон, а ты валяй в плановый — бери у них списки операций и время, да поживей — одна нога здесь, другая там!

Легко сказать! На фабрике шесть цехов, не считая закройного и инвалидного. В каждом примерно по восемь конвейеров, и почти на всех идет разная продукция. И надо не только вычертить схему прямоугольничками, изображающими моторы в рамках каждого конвейера, но еще и писанины уйма.

Но приказ есть приказ, обсуждению не подлежит, как и на войне!

Взяла я в плановом все данные, засела за работу на весь день и на всю ночь. Обедом и ужином Володя с Эммой кормили. И во вторую ночь только чуточку прикорнула тут же в нашем «кабинете». К указанному сроку — через два дня — дело подвигалось к концу.

Незадолго до конца смены распахивается дверь и вваливается наш дородный и мощный начальник лагеря с целой свитой всякого лагерного начальства помельче. Володька с порога лихо командует: «Внимание!»

Это означает: начальство идет, встать! Я, конечно, встаю. Вокруг меня на столах разложены готовые или еще подсыхающие схемы. Дудар сопит, рассматривает, видимо, доволен.

— Ну как работа? Кончаете?

— Да, скоро кончаю, гражданин начальник.

— А второй экземпляр?

Я(с удивлением): Какой второй экземпляр?

Дудар(с раздражением): Обыкновенный второй экземпляр!! Я велел — в ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ!!!

Володька делает мне с порога отчаянные глаза, прижимает палец ко рту. Он-то хорошо знает, что лучшая тактика с начальством, если оно гневается, — молчать. Увы! Я так и не научилась этой тактике ни в лагере, ни в жизни.

— Второго экземпляра я не делала.

— Как это не делала?! — уже во всю силу легких гремит Дудар.

— Мне мой начальник про второй экземпляр ничего не говорил, да и времени… — Я хотела объяснить, что и времени на второй экземпляр все равно не хватило бы. Но… объяснять ничего уже не пришлось…

В бешенстве толстый, как бегемот, Дудар топает ногами, брызжет слюной, орет не то что на весь цех — в других корпусах, наверно, слышно!

— МОЙ начальник! Га!.. МОЙ НАЧАЛЬНИК! Я вам покажу, кто здесь начальник! Я ваш начальник! Я!!

Я пячусь назад, насколько пускает стол, а он лезет прямо на меня: «МОЙ начальник! МОЙ начальник!!»

Других слов он не находит, да и эти застревают у него в глотке, лицо багровеет, глаза выкатываются… Наконец он резко поворачивается, сметает Володьку с порога, выскакивает в дверь, грохочет сапогами по железной лестнице, продолжая по дороге орать: «Я вам покажу, КТО здесь начальник! На общие работы!!»

Перепуганная свита, молча теснясь в дверях, сыплется следом.

Последним бежит Володька, прошипев мне на ходу с ненавистью: «Дурррра!»

Ах, как он был прав! Конечно, никакого второго экземпляра я сделать и не могла бы — только-только кончила первый, как понаехали «высокие гости». Но, промолчи я или ответь Дудару: «Делаю!» — и все бы обошлось. На черта ему сдался второй экземпляр?!

Володя надеялся, что и так обойдется, забудется. Ну а вспомнит — так мы ему потом сделаем хоть второй, хоть третий, хоть десятый экземпляр! Пусть хоть весь свой кабинет обклеивает! Жалко нам, что ли?!

Но не прошло и двух дней, как на доске объявлений появился приказ: «Чертежницу Федорову снять на общие работы, подыскав замену».

Эти два последних слова снова вселяли надежду: где им найти замену? Всех «58-х» мы знали наперечет, и среди них не было ни одного чертежника, а среди бытовиков и уркаганов и подавно. Однако через несколько дней Дудар вызывает Володю и интересуется: найден ли заместитель Федоровой?

Володя старался как мог: и заместителя нет, и вина-то целиком его, и Федорова не только чертежница, но и лекальщица, а лекальщиков тоже нет — все как об стенку горох!

— Пусть немедленно обучит кого-нибудь из бытовиков — довольно с меня этих политзаср…! — было последнее слово Дудара.

Интересно, что буквально за неделю до этого происшествия в приказе же — а он любил по всякому поводу издавать приказы, которые неизменно вывешивались на доске у проходной — за его личной подписью была объявлена благодарность активистам клуба за постановку «Чужого ребенка», а Кремлеву и Федоровой — особо! Но, очевидно, самолюбие начальника оказалось сильнее тщеславия мецената!

Итак, у меня появилась ученица. Хорошенькая урочка Лизочка, одевавшаяся по любимой уркаганской моде под «бэби» — в мини-платьице (были такие уже в те далекие времена), с большим бантом в волосах. Почему она появилась у нас на «Швейпроме» — непонятно, вероятно, по ошибке. Возможно, вышестоящее «руководство» учетно-распределительной части (УРЧ) спутало понятия «мамок» с «малолетками» и отправило на «Швейпром», потому что у нас имелась колонна «мамок». Она нигде не работала, а просто шаталась по всему лагерю, «приписанная» к какой-то бригаде.

Оказалась она дурехой непроходимой да и не хотела ничему учиться: мечтательно смотрела в окно, когда я пыталась ей хоть что-нибудь объяснить, или на целые часы исчезала из цеха, гоняя по всему «Швейпрому».

Зато в клубе она начала играть травести — и совсем неплохо! Помню какую-то пьеску по мотивам рассказа О. Генри «Вождь краснокожих»: грабители похищают у миллионера мальчишку, который за несколько дней доводит их до одури, а отец не желает его не то что за выкуп, но и даром принять обратно. Наконец, с большим трудом уплатив крупную сумму отцу отчаянного мальчишки, бандитам удается вернуть его в родные пенаты!

Мы быстренько переделали мальчишку в девчонку, и Лизочка отлично сыграла роль, словно для нее написанную!

Память у нее была отменная — моментально запоминала текст, но даже если и несла отсебятину — от чего отучить ее было невозможно, — то остроумную и к месту. Хотя всегда было

страшно, что из ее хорошенького ротика выпорхнет нецензурное словечко!

Итак, на сцене она была весела и внимательна, от природы владела хорошей дикцией и вполне заслуживала аплодисменты в свой адрес.

Однако успеху на сцене никак не сопутствовал успех в овладении рейсфедером. При первой же кляксе на кальке она швыряла рейсфедер об пол, проклиная его в «бога-душу-мать», и надолго исчезала из нашей конторки. Володька посмеивался, да и я вскоре раздражаться перестала.

«Чем дольше будешь ее учить — тем лучше для тебя же», — говорила рассудительная Эмма.

Так прошло недели три, до очередного обхода Дударом своих владений.

— Почему Федорова до сих пор в цехе? Завтра же на общие!

Володя благоразумно молчал. Завтра так завтра.

На «Швейпроме» не было ни лесоповала, ни сельского хозяйства, ни тем более рудоносных шахт — этих классических лагерных общих работ. Здесь общими работами были какие-нибудь хозяйственные дела — переборка картофеля в овощехранилище, работа в прачечной, разгрузка или погрузка вагонов с каким-нибудь материалом, распиловка дров и т. п.

Нарядчик, сочувствовавший мне, как и все прочие, отправил меня в прачечную, полагая, что все же это работенка «блатная» и в тепле, учитывая, что на дворе еще зима — конец февраля — и холода еще лютые, особенно с ветрами.

Конечно, гладить простыни и наволочки (кое-как сложил, повозил утюгом — да и ладно, для своих сойдет!) — дело несложное и никакого умения не требует. Но утюг был тяжелый, чугунный, и с непривычки к концу дня я едва стояла на ногах. На улице трескучий мороз, а в прачечной клубился жаркий пар, и я обливалась потом с головы до ног. После такого денька — с 6 утра до 6 вечера — не очень-то побежишь в клуб на репетицию… Но что поделаешь?

Несколько дней я промучилась в прачечной, а кончилось это опять неожиданно. Обходя свою вотчину, Дудар заглянул в прачечную. Конечно, он тотчас меня узнал.

— На общие! — заорал он, тыча в меня пальцем, — на дрова!

Видимо, прачечная показалась ему недостаточно «общими»! Свита почтительно молчала, только нарядчик несмело пискнул:

— Слушаюсь, гражданин начальник!

На следующий день меня отправили «на дрова».

Километрах в двух-трех от «Швейпрома», на берегу Кеми, были накатаны огромные штабеля бревен, высотой с двухэтажный

дом. Эти штабеля нужно было «раскатать» — то есть сбросить бревна вниз, а затем, положив на козла, распиливать их на дрова. Дело, конечно, тоже не хитрое. Но… во-первых, как я уже сказала, стояли морозы с обычными здесь пронзительными ледяными ветрами. Во-вторых, пилить практически было нечем. Несколько неточенных пил с поломанными зубьями на 20–30 человек едва пилили. И наконец, самое главное — пилить-то было не с кем! На штабеля выводили из изолятора самых отпетых уркаганок, которые вообще нигде и ничего не хотели делать. Свой срок они в основном отсиживали в изоляторах, так как никаких норм никогда и нигде не вырабатывали. Однако они умудрялись иметь хахалей и даже обзаводиться детьми.

Не желали они работать и здесь, мудро полагая, что все равно кроме своих штрафных 200 грамм ничего не заработают. Единственной их заботой было развести костер побольше, чтобы не замерзнуть совсем. Конвоиры не препятствовали — им ведь тоже было холодно!

Дни коротали, перекидываясь в картишки (которые всегда оказывались под рукой), рассказывая анекдоты или затевая между собой ссоры, а то и драки. Причинами всегда были любовные интриги. Были здесь и лесбийские парочки, которые нежно ворковали, целовались или ссорились…

Иногда кое-кто из уркаганок для развлечения залезал на штабель и с риском сломать себе шею начинал раскидывать бревна. К счастью, дни были еще короткие и с наступлением сумерек озябшие стрелки спешили увести нас в зону. Вернее, не в зону, а в изолятор, так как мы не давали никаких процентов и числились в штрафниках, в том числе и я.

Не представляю, чем отапливался «Швейпром» — фабрика, цехи, бараки, кухня? Только не нашими «дровами»! Должно быть, где-нибудь еще «на дровах» работали мужчины.

В изоляторе — небольшом бараке со сплошными нарами — тоже было тепло. Нравы здесь были не слишком строгие, хахали приходили на свидания к уркаганкам и приносили передачи. Мои товарищи тоже меня не забывали и, когда им удавалось вырваться из нашей зоны, приносили всевозможную еду. В общем, мы отнюдь не голодали на своих 200 граммах! А через несколько дней начальник КВЧ добился, чтобы меня из изолятора выпускали на репетиции. Получалось забавно! Не знаю, узнал ли об этом Дудар, но, видимо, он поостыл, одержав надо мной такую «полную» победу!

Во всяком случае, сидя в изоляторе «с выводом в клуб», я еще сыграла Ленку в «Шестерых любимых». Но сыграла плохо, так и не проникшись победоносным духом соцреализма, пронизавшим

всю эту примитивную пьеску, заложившую фундамент будущей славы Арбузова.

И весь спектакль не блистал. Кремлев был староват для энтузиаста-комсомольца, а знаменитый монолог старушки-уборщицы о чудаке Фаусте, который захотел остановить мгновение и тут же помер, не слишком вдохновил наших зрителей. И, конечно, чувствовалась нехватка Федора Васильевича.

Уркаганки в изоляторе не только меня не обижали, а наоборот, угощали своими гостинцами, любили послушать какую-нибудь историю, на нарах уступали мне самое «лучшее» место. Если бы не холод на дворе, все было бы ничего.

На ногах у меня были валенки, ватные шаровары и теплый бушлат — в общем, я была одета теплее всех, но все равно было холодно, и особенно замерзали руки, пока кто-то из моих друзей не догадался сшить мне ватную муфту! Так я и отправлялась «на дрова», укутанная с носом в теплые платки, в шароварах и валенках, с ватной муфтой на груди. Выглядела (или «выглядывала», как говорила наша пани Гелена), вероятно, достаточно забавно.

Муфта, между прочим, была действительно теплая, уркаганки мне завидовали, но никому не приходило в голову отнять ее у меня — они меня «уважали» за театр и за Федора Васильевича. Я сама время от времени одалживала ее кому-нибудь погреть замерзшие руки.

В марте солнце стало немножко пригревать, и «жить стало лучше, жить стало веселей», как своевременно заметил наш «великий кормчий» — Иосиф Виссарионович.

Нас — человек десять из изолятора — вместо «дров» вдруг отрядили на… заготовку льда! Ведь в те времена еще никаких холодильников не существовало, тем более в лагерях, и льдом приходилось набивать погреба, и его не хватало даже на наше, такое недолгое, северное лето.

Но как бы то ни было, для нас это была приятная неожиданность! И правда, занятие это оказалось сравнительно интересным и веселым.

Нас выводили на реку, подальше от берега, и приставленные к нам десятники, расчертив на льду «план» и пробив полынью чуть ли не в метровом льду, обучали нас, как надо особой пилой вырезать глыбы льда, расширяя прорубь. Даже мои уркаганки заинтересовались — что из этого получится?

К сожалению, не получилось ничего.

Глыбы плавали в нашей, теперь уже довольно большой, проруби, но оказалось, что их еще надо вытащить наверх, на лед.

Нам дали какие-то вилы с крючками на конце, показали, как надо подцепить глыбу и тащить ее наверх. И вот, когда, казалось, уж вот-вот вытащим — она непременно соскакивала с вил, плюхалась обратно в воду, обдавая нас всех фонтаном ледяных брызг! Хорошо еще, что никто из нас сам не угодил в прорубь!

День-два это веселило и занимало моих уркаганок — они с хохотом валились на спины, болтали в воздухе ногами и весело матерились. Но вскоре все это надоело. Да и мартовское солнышко было еще слишком беспомощно, чтобы подсушить намокшие наши телогрейки, а костра тут на реке развести было не из чего.

В конце концов, несмотря на понукания десятников, работа так и не начиналась. А «рабочие», чтобы не замерзать, бегали вокруг полыньи или затевали легкие потасовки. В конце концов, видя бесполезность траты времени и десятниками, и конвоирами, нас «охранявшими», «на лед» нас водить перестали.

Изредка «выгоняли» на погрузку какого-то кирпича, привезенного неизвестно зачем и брошенного у железной дороги. Там мы его грузили на платформы…

Никого это не вдохновляло, и все двигались как сонные мухи… Если бы не первое, едва еще заметное дыхание весны — то и вовсе бы перестали двигаться!.. Но со временем солнышко становилось ярче; с карнизов барачных крыш застучала первая капель и, наконец, повисли первые сосульки, сверкающие бриллиантовой радугой.

Не знаю, чем бы все это кончилось и как бы я избавилась от общих работ в обществе урок, которое в больших дозах переносить все же было трудно, несмотря на их доброжелательность ко мне, но в один прекрасный день меня снова вызвали на этап.

Куда отправляется этап — было неизвестно. «Параши» ходили самые противоречивые — от Колымы до Караганды!.. Но так как в числе предполагаемых лагерей называли и Онежское озеро с Медвежкой, сердце у меня екало — неужели опять моя «родная пересылочка»?! Вдруг увижу старых друзей?

В связи с чем этап — тоже было неизвестно. Отправляли еще несколько человек из «58-й» — всех с такими же «страшными» пунктами, как у меня, но в основном этап состоял из бытовичек, а заодно и уркаганок, от которых всегда в лагерях были рады избавиться при малейшей возможности.

Но почему этап? И довольно-таки большой? Кто его знает…

Как ни трудно жилось на Швейпроме, уезжать никто не хотел. Привыкли, обжились; у многих были и крепкие привязанности, и дружба, и любовь. У меня тоже оставались и тетя Оля, и Лайма

Яновна, и другие друзья по театру, и трогательная в своей инфантильности Гелена Квятковская с ее великолепной игрой… Но больше всего меня огорчало, что отнимут письма Федора Васильевича — кто знает, сколько времени пройдет, пока он узнает мой новый адрес и пока я сама его узнаю!

Самого же Швейпрома, в котором уже не было Федора Васильевича, мне было не жаль. И кроме того, это наконец, избавляло меня от общих работ, от злопамятного Дудара.

Так и окончился для меня Швейпром — три года сравнительно благополучной лагерной жизни.

Это было в начале весны 1941 года.

Глава 5
Год 1941-й

I. Пушсовхоз

…Второй раз в жизни я попала на берег Онежского озера, туда, где у крошечного городка Повенца начинается знаменитая Повенчанская лестница шлюзов Беломорско-Балтийского канала — подъем на водораздел.

Здесь когда-то приставал наш туристский пароходик «Карл Маркс» и я водила туристов в Пушсовхоз посмотреть чернобурых лисят и знаменитых соловецких соболей. Норок тогда еще там не было. Втайне каждому из туристов еще больше хотелось взглянуть на ухаживавших за лисами заключенных, тоже живших в Пушсовхозе «почти как на воле». Вернувшись, мы совершали экскурсию в музей строительства Беломорканала.

Смотритель и организатор музея — тоже заключенный, старенький художник, профессор Сидоров интересно рассказывал о строительстве и истории канала, показывал чудесно выполненные им же самим макеты плотин и шлюзов, куски собранных им интересных пород: диабаз с вкрапленными в него кроваво-красными зернами граната, нежно-зеленые волокна асбеста и золотые кубики сернистого ангидрида.

Стены музея украшало множество великолепно написанных пейзажей карельской природы, жанровые сцены — у строящихся шлюзов.

Николай Иванович Сидоров был вообще очень интересным человеком — прекрасным живописцем, искусствоведом, а до ареста — профессором Ленинградской академии художеств.

Мы быстро подружились с Николаем Ивановичем, и он приглашал меня заходить к нему в музей и без туристов, в любое время, когда мне будет удобно.

«Карл Маркс» каждый рейс на ночь оставался в Повенце, и, пока туристы, утомленные экскурсиями и впечатлениями, спали, я забегала к Николаю Ивановичу. Постепенно он ко мне привык, радовался моему приходу, ждал «Карла Маркса»…Короткими белыми ночами рассказал он мне печальную повесть своего «дела». Это была первая выслушанная мною непонятная и жуткая повесть. Могла ли я тогда подумать, что в недалеком будущем мне суждено пережить нечто подобное и самой и выслушать сотни таких горьких и страшных своей похожестью историй…

Сидел Николай Иванович по обвинению, как он сам сказал, «в

каком-то великодержавном шовинизме», и тут же спросил у меня удивленно, как будто я могла ответить: — Ну причем тут я — и великодержавный шовинизм?

…После всех допросов, после Гороховой и Шпалерки, где людьми постепенно овладевали ужас и понимание своего полного бессилия, существование в музее казалось ему каким-то прибежищем, своего рода спасением, якорем, за который он уцепился всем своим существом.

Он страстно любил музей, созданный его собственными руками; не спал ночами, писал или строгал что-то в своем маленьком мезонинчике наверху, где стояла его железная коечка и где ему разрешено было жить. Имея пропуск для «вольного хождения» в зоне канала, он почти никогда никуда не ходил, словно боялся хотя бы на минуту оставить свое прибежище, чтобы вдруг… Что же еще могло случиться «вдруг»?

Мне казалось, что, если бы он лишился возможности своего существования в музее, он переживал бы это тяжелее, чем потерю свободы и кафедры в Ленинграде. Ведь это был последний осколок его жизни, последняя иллюзия…

Со мной на пароходе плавал сынишка Славка, пяти лет. Он обожал музей и «дедушку» Сидорова, всюду совал свой любопытный нос, и когда Николай Иванович гладил его стриженную головенку, я замечала, как начинает дрожать сухонькая старческая рука, а в потухших невыразительных глазах блестела влага…

Он выстругал для Славки чудесный кораблик и выкрасил его масляной краской.

Когда мы познакомились с профессором поближе, он попросил меня, когда буду в Москве, узнать, будет ли издана его монография об Игоре Грабаре, которую он закончил незадолго до ареста и сдал в издательство. А я-то думала, что все его интересы — здесь, в музее. Ведь он никогда не рассказывал о «той», прежней жизни…

Когда я вернулась в Москву, я узнала. Конечно, монографию «врага народа» печатать не собирались, рукопись из редакции была изъята, и куда девалась — неизвестно.

Дожил ли Николай Иванович до реабилитации? Вряд ли. Тогда ему было уже далеко за 70.

Когда в 1966 году, 32 года спустя, мне довелось снова плыть по Беломорканалу, я пыталась узнать, что сталось с музеем — уцелел ли он во время войны? Мне сказали, что сначала он был переведен на «Водораздел», потом еще куда-то, но и там не сохранился.

…Ну, хватит отступлений.

Итак, я снова, через годы, оказалась в Пушсовхозе. Правда, не в самом совхозе, а рядом. Чернобурых лис и норок, которых здесь теперь развели, заключенные не обслуживали. Лагерь — около 2000 человек — занимался в основном сельским хозяйством, корчевкой леса, какими-то мелиоративными работами. Это было подсобное хозяйство БелБалтЛага.

Когда нас туда привезли, сначала, как водится, всех отправили на общие работы. Была весна, и в огромных парниках уже рассаживали — пикировали — капусту. Работа вроде бы и пустяковая — высаживать из ящика зеленые росточки в парниковую раму. Но после часа сидения на корточках или стояния на коленях спину невозможно было разогнуть, а к вечеру казалось, что никогда в жизни уже не встать на ноги. Но утром мы, хотя и просыпались с ломотой во всем теле, снова садились на корточки у парниковых рам. И постепенно боли уменьшались — «везде нужна сноровка, закалка, тренировка…»

Так прошло недели две. Пришла настоящая карельская весна, пролетели на север журавлиные стаи. Теперь по вечерам все же хватало сил хотя бы перемолвиться словом с соседкой по нарам.

Такой соседкой Бог послал мне Екатерину Михайловну Оболенскую — вдову расстрелянного академика и кремлевского работника Оболенского-Осинского. Но подружиться с ней всерьез мне довелось уже позже — в Центральной больнице Соликамского лагеря. Здесь она тоже работала в лазарете, уставала зверски, и до этапа на восток мы даже и познакомиться друг с другом как следует не успели.

Здесь же, в Пушсовхозе, я познакомилась с немецкой коммунисткой Гизелью. Ее десятилетний срок, полученный за то, что она перебежала в Советский Союз, уже подходил к концу, и со дня на день она ждала освобождения. Была она полна радужных надежд, потому что на воле ждал сын, которого она мальчуганом прихватила с собой, когда переходила границу.

Петрик вырос в детском доме, теперь уже студент, и, конечно, они вдвоем не пропадут! И в конце концов, она же добьется пересмотра своего дела!.. Но забегая вперед на восемь лет, я не могу не рассказать о печальной и страшной судьбе Гизели.

В 1949 году всех бывших лагерников с десятилетними сроками и страшными статьями — а у нее была 58-1 («шпионаж») — начали арестовывать вновь…

Гизель тогда жила в том же Боровске, под Соликамском, где и я. Вместе с сыном ей устроиться не удалось — ведь у нее был такой же «волчий паспорт», как и у всех освобожденных лагерников с 58-й статьей: 100 км от Москвы, Ленинграда и других больших городов. Но сын приезжал на каникулы, а Гизель

трудилась изо всех сил (она была каким-то счетным работником в бухгалтерии бумкомбината), чтобы послать лишнюю копейку своему Петрику.

Увы, бедная Гизель не дождалась ни пересмотра, ни реабилитации.

Когда начали забирать бывших лагерников, каждый день прокашивая одну улицу за другой, нервы Гизели не выдержали: она насыпала в карманы земли и камней и так, в худеньком своем пальтишке, ушла в камскую воду…

Дома оставила записку: «Второй раз не могу — нет больше сил. И не хочу портить карьеру сыну. Чем иметь репрессированную мать — уж лучше никакой». В то время ее очень можно было понять. И все же… Ведь оставалось перетерпеть всего 5 лет! Только никто этого тогда не знал…

А ведь была она лет 40 с небольшим, не старше. Умница, тонкий человек, и образованный, хотя и родилась в семье бедного сапожника… Нигде не училась, но занималась самообразованием и много читала.

Меня привезли в Пушсовхоз как раз накануне освобождения Гизели. Ее уже вызывали в «третью часть» и велели срочно подготавливать себе замену — речь шла о ее работе, иначе грозились в срок не отпустить.

Гизель оглянулась кругом, и взгляд ее остановился на мне.

Уж хуже и ошибочней выбора она сделать не могла! Но в то время, когда у меня спина разламывалась от этой проклятой «пикировки», ее предложение, воспринятое мною так легкомысленно, показалось мне спасением, и я ухватилась за него с радостью, тем более что в руках Гизели все выглядело так просто и легко.

…Бригады лагерников с утра отправлялись на какие-нибудь работы — полевые в основном. К вечеру они возвращались в лагерь, и бригадиры приносили в контору табели — сведения о том, кто работал в этот день в бригаде, что сделал и сколько это составляет процентов от нормы. Согласно этим табелям бригадиры получали талончики на хлеб, на завтрак, обед и ужин, хотя последние объединялись вечером в один прием пищи. Талончики выдавала Гизель.

Вот ей и надо было найти такого — мало-мальски грамотного человека, который сел бы за ее стол и продолжал бы выдавать талончики после ее отъезда. Кажется — чего уж проще!

Наработал человек 100 % — получай за 100, наработал 50 % — получай за 50 (огромные таблицы с приведенными нормами хлеба висели тут же на стене, перед глазами).

Во всех лагпунктах существовала такая «сдельная» оплата

хлебом, которая зависела от процента выработки. По вечерам, приходя в контору, бригадиры получали талончики, по которым предстояло жить на следующий день — завтрашний, а на сегодняшний все уже имели талончики с вечера вчерашнего дня. Пришедшие усталые и голодные люди устремлялись в столовые со своими талончиками, а потом, уже на сытый желудок, получали у своих бригадиров талончики на завтра, выясняли всякие недоразумения и несостыковки.

Но до чего же беспредельна глупость человеческая! В Пушсовхозе додумались выдавать вечером талончики, на которые полагалось получать сегодняшнюю пайку — сегодняшний обед! Бригадиры, возвращаясь с работы, мчались, не заходя в барак, в контору за талончиками. И даже если их отпускали с работы немного раньше, чем конвой вел всю бригаду в зону, все равно в конторе к концу рабочего дня начиналось жуткое столпотворение.

Все кричали, лезли быть первыми, совали под нос свои табели. Счастье еще, что посреди конторы стояла прочная загородка, за которой сидела Гизель, а загородка, хотя и трещала под бригадирским натиском, но все же не поддавалась!

А многоопытная Гизель, знавшая наизусть все нормы, с быстротой компьютера проставляла против фамилий с процентами граммы хлеба и, как трамвайный кондуктор, молниеносно отрывала нужные талончики с катушек, закрепленных в каких-то жестянках. Ее движения были похожи на загадочные жесты жонглера, у которого в воздухе летают «сами по себе» с десяток шариков.

За какой-нибудь час контора очищалась от бригадиров, и только неудовлетворенные и обиженные люди заскакивали по одному предъявить свои претензии и покрыть матом Гизель и своих бригадиров. Но Гизель никогда, или почти никогда, не ошибалась. Ее дело было начислить пайку на проценты, а если проценты не удовлетворяли спорщика, ему оставалось апеллировать только к бригадиру.

В общем, часам к семи-восьми Гизель разбиралась со всеми претензиями и переходила к следующему этапу работы: необходимо было подсчитать количество выданных талонов соответственно их процентам, а затем общее количество талонов, и это должно было сойтись со списочным составом лагеря — цифрой, которую ежедневно давала лагерная охрана (ВОХР).

Как правило, к 11 часам у Гизели было все готово. А работа начиналась часов в шесть вечера, когда прибегали первые бригадиры. Целый день был в ее распоряжении: она могла шить, читать, вообщем, заниматься делами по своему усмотрению. И она неизменно получала свои 400 граммов хлеба, как все

конторские служащие. Ну не завидное ли житье?

Вот я и соблазнилась. Несколько дней, пока рядом была Гизель и работа как-то спорилась шутя, пролетели стрелой, и наконец я впервые села за стол одна.

То, что творилось в этот вечер, да и не только в этот, а и во все последующие, описать трудно! Разъяренная толпа бригадиров, а потом и просто голодных людей, сколько могло влезть в контору, бушевала, как расходившийся океан, за моей загородкой, которая трещала по всем швам и грозила рухнуть. В шуме и криках я ничего не могла разобрать, не могла найти нужных табелей, чтобы исправить в них ошибки. Они ворохом громоздились у меня на столе и разлетались по полу.

Я была в отчаянии… Но ведь людей надо же было кормить! На свой страх и риск я верила людям на слово, заменяла одни талоны другими, кому-то выдавала талоны вовсе без табеля, потому что действительно были люди, которых бригадиры просто забыли внести в табель.

Бригады были нестабильными, состав их постоянно менялся: кого-то переводили нарядчики из одной бригады в другую, кто-то заболевал, кто-то проштрафился и попадал в изолятор, и разобраться во всей этой каше, да еще быстро, под ругань и крики, не было никакой возможности…

Только это бушующее море едва отхлынуло к поверке и отбою, как я принялась за составление сводки о выданных хлебных талонах.

Тут ужасу моему не было предела! Сколько я не билась — ничего не получалось. То людей не хватало по списочному составу, то талонов, опять же согласно этому списочному составу. Я давно уже отдала собственную пайку кому-то из пропущенных, но ведь это была всего лишь одна жалкая пайка, а у меня не хватало целых 19 штук!

Я считала и пересчитывала, складывала на счетах. Все давно разошлись, лагерь погрузился в сон, а я все считала и считала…

К рассвету я вообще уже перестала понимать хоть что-нибудь и, упав головой на ворох табелей, заснула за столом тяжелым и кошмарным сном.

Немногим лучше было и в последующие дни. Гизель уехала и помочь было некому. Я бегала к начальнику — умоляла снять меня на любые общие работы. Но начальник трезво рассудил, что и у другого будет не лучше, а я все же «обученная» Гизелью.

— Ерунда, привыкнете! — философски изрек он.

И я продолжала «привыкать», и каждый вечер выдерживала яростный штурм, и каждую ночь считала до рассвета и до одурения и, поспав два-три часа, снова считала до вечера…

В конце концов я подгоняла цифры к списочному составу и с ужасом ждала ревизии финчасти. Когда обнаружится, что у меня нехватка — и не чего-нибудь, а хлебных талонов!.. И какая нехватка! Она вполне обеспечивала мне новый десятилетний срок!..

Я похудела — почти каждый день приходилось отдавать свою пайку, хотя я и понимала, что это капля в море и спасти меня уже не может; в покрасневших глазах появились страшная резь и зуд — начинался конъюнктивит, и я чувствовала, как на всех парусах несусь в пропасть.

И чем бы все это кончилось — не знаю, если бы опять не новый поворот судьбы — и не только моей…

II. Этап на восток

Наступило 22 июня 1941 года…

Еще до рассвета в бараке мы услышали какие-то отдаленные взрывы и слабые еще звуки пушечных выстрелов. Утром, хотя официально нам никто об этом не объявлял, уже весь лагерь знал, что началась война с Германией.

В первые же дни войны звуки орудийной канонады стали явственнее. Серые самолеты с черными крестами на крыльях почти каждый день появлялись неподалеку от зоны. Иногда они сбрасывали бомбы, которые с тонким свистом, нарастающим до визга, шлепались и взрывались в поле, где-то рядом с зоной. Мы вытаскивали из бараков наши пожитки и спали на земле, чтобы не быть погребенными под обломками, если бомба угодит в барак. И ночью, сквозь сон, был слышен этот вибрирующий свист падающих бомб…

В лагере все смешалось. «58-ю» сняли со всяких работ — в финчасти, в конторе и во всех других местах. На работы за пределы зоны после того, как одна из бригад вернулась с поля, потеряв своего конвоира, выводить тоже перестали. Над бригадой несколько раз пикировал самолет и в конце концов сбросил бомбу, которая разорвалась где-то неподалеку в лесочке. Конвой и заключенные разбежались кто куда, и бригада вернулась в лагерь раньше, чем туда добрались конвоиры.

Бытовиков и мелких уголовников освобождали в массовом порядке, давая им вместо документов какие-то справки.

Во всем этом хаосе я одна по-прежнему сидела в конторе и выдавала по старой памяти бригадирам хлебные талончики. Но теперь все упростилось до ерунды: все получали по 400 грамм — таков был приказ, и подсчитывать ничего уже было не надо, так как ни о каком «списочном составе» не могло быть и речи — он

менялся каждый час!

Господи… Сколько вспыхнуло надежд! Теперь, когда объявились истинные враги, теперь-то уж нетрудно будет доказать, что мы — свои, не враги, и в тысячу раз лучше быть убитыми на фронте, чем нелепо, ни за что прозябать в лагере!

Все мужчины бросились писать заявления с просьбами послать на фронт, на самые опасные участки. Но и мы, женщины, просились в медсестры, в санитарки, на какую угодно работу!

…На фронт никого не взяли, но через несколько дней нам было велено собираться на этап. Кроме нас в зоне оставались матерые уркаганы, с десятилетними сроками, сидевшие не первый раз за бандитизм и убийства. Они назывались УБЭ (уголовно-бандитский элемент). На лагерном жаргоне это звучало как «убие» — и невольно ассоциировалось с убийцами, которыми они и были на самом деле.

Всего на этап отправляли около тысячи человек. С собой было велено взять только мешок с минимальным количеством одежды и… ложку!

И вот числа 28-го или 29 июня наш тысячный отряд, наполовину из «58-й», наполовину из УБЭ, был выведен за зону и построен нескончаемой колонной по четыре человека в ряд. Мешки наши были сложены в две высокие пирамиды.

Так мы стояли на дороге, ведущей из лагеря в Повенец. Стояли час, стояли два, стояли три. Солнце, поднявшееся над лесом, стало нещадно припекать. Хотелось пить. Перед выходом из зоны мы получили обычный этапный паек — 400 граммов хлеба, кусок селедки и пару кусочков сахара. Селедка была уже давно съедена, да и хлеб мало у кого оставался. Пить было нечего. А жажда разбирала чем дальше, тем больше. Затекли ноги, и многие садились тут же на пыльную дорогу. Сначала конвой находил, что это непорядок, и раздавалась команда: «Встать!» Но потом конвоиры, видимо, сами умаялись вконец и перестали обращать внимание на сидящих в пыли — лишь бы не сходили с дороги.

Ничегонеделание — одно из самых тяжких занятий — так, по крайней мере, казалось мне. И когда в конце дня, вконец измученных, нас снова запустили в зону, первой заботой было захватить какой-нибудь из брошенных тюфяков, а затем с наслаждением растянуться на нем.

На следующий день все повторилось: тот же этапный паек, та же поверка по формулярам и обыск перед выходом за вахту и то же Великое стояние на дороге за воротами на солнцепеке, жажда и усталость до одурения. Только орудийное уханье стало слышаться явственней, да немецкие самолеты все чаще мелькали

над нами, иногда вдруг резко снижались, проходя бреющим полетом, чуть не задевая верхушки деревьев.

Третий день внес некоторое разнообразие: к полудню жара последних дней разразилась грозой и ливнем, обрушившимся на нас, разметавшим пирамиды наших мешков; дорога превратилась в бурную реку. Сразу стало холодно, и оставшуюся часть дня мы тщетно старались согреться, прыгая в своих лужах. Зато перестала мучить жажда — воды было сколько угодно!

Но и в этот день нам не суждено было уехать. Говорили, что не готов пароход. Но зачем нас заранее выводили из зоны, было непонятно. Говорили, что в этот день сбежали несколько уркаганов, правда, мы видели только стрелков с собаками, часто пробегающих туда— сюда.

Эта последняя ночь в лагере была самой тяжелой. Брошенные на дворе тюфяки насквозь промокли, пришлось устраиваться в бараке на голых нарах, укрыться было нечем, наша мокрая одежда, кое-как развешенная в бараке, конечно, не высохла и до утра. Все тело ныло, и сон, похожий на забытье, временами прерывал свист неподалеку падающей бомбы…

Я думаю, что, по сути, нет предела терпению и возможностям человеческим. И ведь никто не заболел, не простудился даже! Казалось, что плоти уже нет, одни волокна нервов, и во что бы то ни стало хотелось дожить, увидеть, узнать, не потерять связи с родными…

На следующий день природа над нами сжалилась. С утра ярко сияло солнце, и теперь его палящие лучи были целительными и встречались с радостью.

И тут наконец наша колонна двинулась, как обычно, в таком огромном этапе, то топчась почти на месте, то вдруг под окрики «Шире шаг!», «Подтянись!» пускалась бегом до нового затора. Из-под ног фонтаном летели брызги, но на это никто уже внимания не обращал.

Так часа за два мы преодолели пятикилометровое расстояние до Повенца и голова нашей колонны уперлась в небольшой причал у первого шлюза, а хвост только-только выполз из леса на повенчанские улицы.

Тут мы снова прочно остановились. Вероятно, мы даже успели бы совсем обсохнуть от вчерашнего ливня и сегодняшней дорожной грязи, если бы не внезапно вынырнувший «мессершмит». С быстротой молнии промчался он над нами, чуть не задевая нас своим крылом.

— Лягай!.. Лягай!.. — закричали стрелки, и сами бросились на землю, но тут же защелкали затворами и нацелили на нас винтовки. Рассуждать было некогда — сверху самолет, снизу

винтовки, — и мы дружно повалились в дорожные лужи, не просохшие со вчерашнего дня.

Не знаю, что там увидели и подумали на «мессершмите», только никаких бомб на нашу колонну не сбросили. Может быть, это была простая случайность. Позже рассказывали, что одну из барж, груженную заключенными, разбила и потопила немецкая бомба.

Наконец шаг за шагом мы стали подтягиваться к причалу, где стояли две открытые баржи вроде лихтеров, в которых перевозят лес. Люди, подгоняемые конвоем, поднимались по трапу и исчезали в трюме баржи.

Настала и наша очередь — моя и тех, что стояли рядом со мной.

Я сравнительно недолго пробыла в Пушсовхозе, и из-за моей фантасмагорической работы мало с кем успела познакомиться. Гизель уехала раньше, Екатерина Михайловна со своим лазаретом попала в какой-то другой участок колонны и, очевидно, на другую баржу. Кругом были люди незнакомые, кроме одной старушки — Елизаветы Ивановны, работавшей в финчасти, которую я немного знала.

Испуганная, неуверенно ступала она по трапу, хватаясь за веревку, протянутую вместо поручней. Я шла за ней, и эту первую часть этапа мы держались вместе. Но немного позже с ней произошло несчастье. Жутко вспоминать о нем и ее дальнейшей судьбе… Но об этом позже.

По ту сторону борта на баржу вела крутая, наскоро сколоченная деревянная лестница. По ней люди спускались вниз, на дно трюма. Там уже стояла плотная толпа, но люди продолжали беспрерывно спускаться с лестницы вниз и толпа все больше увеличивалась.

Движение остановилось, когда не только стоять, но и дышать стало трудно — так была сдавлена грудь, со всех сторон напирали. Какое счастье, что над нами не было потолка и кислорода было вдоволь…

Стояли мы или плыли, понять было трудно: кроме неба над нашими головами ничего не было видно. Только покачивающийся под ногами пол да глухое бульканье воды за бортами заставляли думать, что мы все же плывем.

Небо постепенно бледнело, потом покрылось позолотой и окрасилось нежным заревом заката, наконец посинело, потемнело, и замерцали первые звездочки…

Я помню ночи, проведенные на корточках, на коленях друг у друга или в каком-то полувисячем положении, когда голова лежала на чьем-то плече или на чьей-то спине…

Было решено разбиться на бригады по 25 человек. Естественно, что эти 25 человек были одной из ячеек толпы — как соты в улье! В каждой ячейке нашелся добровольный бригадир. Его обязанностью было утром получить паек — пять буханок хлеба и пять банок соевых консервов и затем раздать их своей бригаде — по буханке и по банке на каждые пять человек. Воду тоже приносил бригадир в котелке или ведерке, которым черпал ее за бортом, и мы пили по очереди, прямо из котелка.

За пайком бригадир отправлялся с мешком, сооруженным из рубахи с завязанными рукавами, шагая по коленям сидящих на корточках людей.

В короткие минуты посещения уборной, расположенной на корме баржи, было видно сначала Онежское озеро, а потом какие-то каналы или речки, по которым маленький катерок тащил нашу баржу. Впереди двигалась еще одна, точно такая же. По берегам речек, с одной и с другой стороны, здесь и там торчали лагерные вышки между рядов колючей проволоки. Казалось — в России нет уже ни сел, ни деревень — одни только лагеря и лагеря…

Так мы тащились пять дней и пять ночей до самого Рыбинска.

Впрочем, сначала у нашего конвоя было намерение устраивать «дневки» с отдыхом и горячей кашей, сваренной на костре. Только по глупости и неосторожности самих заключенных мы лишились такой возможности.

Было это так: на второй день баржа пристала к берегу, и мы услышали команду: «Выходи по одному»!

Первыми, расталкивая всех кругом, к лестнице ринулись — насколько можно было «ринуться» среди огромной людской массы— урки. Не прошло и получаса, как все мы очутились на пологом зеленом бережке, а еще через полчаса уже трещал огромный костер, на котором в большущем казане варилась пшенная каша.

Женщины уже возились у воды, что-то стирая и растягивая тут же на травке для просушки. Конвоиры пришли в благодушное настроение и, предвкушая сытный обед, подобрели и разрешили купаться, не заходя далеко в воду.

Все это напоминало веселый майский пикник, а не спешную эвакуацию опасных заключенных.

Немного впереди нас пристала другая баржа, и там тоже задымил костер, а на берегу мылись и чистились люди. И вдруг мы увидели издалека какое-то движение у той баржи. Люди бежали к берегу, размахивали руками, что-то крича. Мимо нас пронеслись стрелки с собаками, поднявшими отчаянный лай. Было ясно — что-то произошло…

Через несколько минут мы уже знали, что двое мужчин,

купаясь, каким-то образом утонули в реке, где и течения-то почти не было, и глубина была невелика. Мы тоже бросились к той барже, но утопленники были окружены плотной толпой, ничего не было видно. Говорили, что их откачивают. Но откачать не удалось…

Озлобленные конвоиры тут же отменили и купание, и «пикник», выстроили нас в колонну по четыре в ряд и начали пересчитывать. От волнения и растерянности у них ничего не получалось — то людей не хватало, то оказывались лишние.

Кончилось тем, что притащили формуляры и начали выкликать по фамилиям. Все было кончено. Приятный и сулящий сытный обед «пикник» превратился в нудную голодную и нелепую стоянку на солнцепеке. Печально шипели догоравшие костры, в которые сплывала никем уже не присматриваемая каша. Только запах подгоревшего пшена щекотал ноздри и пустые желудки. Сколько пшена было загублено зря!..

Это была первая и последняя попытка накормить этап горячей пищей, и закончилась она так плачевно. Больше ни разу до самого Соликамска, куда мы приплыли через месяц с небольшим, нам не пришлось попробовать горячей пищи. Соевые консервы тоже кончились и вместо них выдавали тощенькую, а главное, дико соленую тюльку, которую мы бережно раскладывали на пять кучек, считая и сравнивая каждую рыбку. Дней через 15 из буханок хлеба, когда их за неимением ножа разламывали руками, стал подниматься серебристо-зеленый столб сухой плесени, похожий на персидский порошок, которым когда-то посыпали диваны от клопов. И все же мы практически в полном составе доплыли до Соликамска.

Первые пять суток были самыми тяжелыми. В Рыбинске нас пересадили на крытые и более просторные баржи; здесь были даже какие-то нары, вроде барачных «вагонок». Их захватили УБЭ, которые беспардонно стаскивали успевших устроиться там «фашистов» — теперь уж иначе «58-ю» и не величали. Но и на полу, под нарами, и в проходах оставалось достаточно места, чтобы лежать, и это было счастьем! Каким блаженством казалась возможность вытянуть уже начавшие опухать и нестерпимо нывшие ноги. Сон заменял пищу, и мы спали чуть ли не все сутки напролет.

Следующая пересадка была уже на Волге, в Горьком.

Хотелось бы не вспоминать о ней… Но все стоит перед глазами, как сейчас: с баржи нас перегружали на пароход, который причалил почти вплотную к барже, и с ее борта на борт парохода перекинули довольно широкие мостки. И весь народ с баржи устремился к этим мосткам, чтобы первыми занять лучшие

места на пароходе.

Я хотела увлечь Елизавету Ивановну из этой жуткой толпы и вырваться сама — но это было уже невозможно. Только вперед и вперед влек нас людской поток, обретший собственную неумолимую силу и волю. Назад хода нет. И вот мы уже шаг за шагом приближаемся к мосткам, поднимаемся со ступеньки на ступеньку по приставленной лестничке, пока не оказываемся на мостках. И тут я с ужасом вижу, что Елизавета Ивановна, замешкавшись, растерянно останавливается на самой середине мостков, подносит руки к вискам, как-то странно шатается из стороны в сторону…

— Давайте руку, — кричу я, — руку!

Но меня уже оттесняют все дальше и дальше; кто-то пытается поддержать Елизавету Ивановну сзади, кто-то дико визжит, а она медленно оседает все ниже и ниже, как в замедленной киносъемке, пока вовсе не исчезает среди голов, туловищ и движущихся ног…

— Остановитесь!.. Остановитесь!.. — кричат все, но это невозможно, и люди все идут и идут, не в состоянии остановиться, не в силах обойти упавшую женщину.

…Позже говорили, что Елизавету Ивановну сняли с парохода с поломанными руками и ногами и отправили в какой-то госпиталь в Горьком. Осталась ли она в живых — не знаю, так как никогда больше ее не встретила.

…Как оказалось, не было никакого смысла устраивать «ходынку» и драться за места на пароходе. Нас погрузили в трюм, где были сплошные нары, и было совершенно все равно, лежать ли на нарах или под ними. Места хватало — не хватало воздуха. Круглые иллюминаторы были наглухо задраены, люки накрепко заперты. Дышать было совершенно нечем. Каждые минут 15 кому-нибудь становилось дурно и кто-нибудь терял сознание. Поднималась паника, все начинали кричать, выть, колотить кулаками и ногами в стены и люки, пока люки не открывались на несколько минут и свежий воздух наполнял трюм. Но хватало его ненадолго. Стоило закрыть люк, и все повторялось вновь.

Я ошиблась, сказав, что самыми трудными были первые пять суток. Там над нами было небо и достаточно кислорода. Путешествие в трюме, без воздуха, было еще хуже. И как много раз в жизни бывало со мной и, вероятно, и со всеми, когда я была уже совершенно на пределе, снова вмешалась судьба, чтобы спасти меня. Она явилась в лице Екатерины Михайловны Оболенской.

Наш лазарет с больными из лагеря и заболевшими в дороге ехал в 4-м классе парохода. С лазаретом ехала и его обслуга.

Ехала и Екатерина Михайловна.

По сравнению с трюмом это были царские палаты. У каждого имелось свое «плацкартное» место; в открытые иллюминаторы веяло речным ветерком, а на самой корме была дверка на крошечный балкончик, за которым бурлила вода, надолго оставляя пенный след на реке. Дверь на балкончик тоже не закрывалась.

Не помню, как удалось ей устроить меня в лазарет и как вообще она узнала, что я еду в трюме. Я была еще на ногах и ничем особенным не болела, если и дошла до предела, то только от духоты, но и другие были не в лучшем состоянии…

Но в лазарет меня устроила именно Екатерина Михайловна.

…Господи! Как дышалось на этом маленьком балкончике! Какие упоительные вечера и ночи с лунной дорожкой на реке провели мы там с ней! Сколько было говорено и рассказано! Там же зародилась огромная симпатия друг к другу и было заложено основание будущей дружбы, продолжавшейся до конца ее жизни… Но вскоре нам снова предстояло расстаться почти на два года.

А пока что пришли и новые искушения: так соблазнительно было перешагнуть низкий бортик балкона! Вода была почти рядом, чуть не рукой достать. Доплыть до берега ничего не стоило. Вряд ли бы заметили и конвоиры, а если бы и заметили, то не стали бы поднимать шумиху, останавливать пароход. Ведь списать больного из лазарета было проще простого, без хлопот и забот…

Мы уже отрезвели и начали понимать, что война для нас ничего не изменит, разве только поголодать придется заодно со всеми, но останемся мы такими же политическими «зека», как и были, «гидрой», которую надо в бараний рог свернуть, как когда-то разъяснили мне на Лубянке.

Убежать, когда кругом паника, эвакуация, кругом бегут люди без вещей, без документов, — чего же проще?! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать это. Всего лишь один ничтожно маленький шаг…

Что же удержало? Опять-таки полная неизвестность, что делать дальше. И… дети, мама, боязнь навредить им, растеряться с ними навеки, потерять связь с Федором Васильевичем. И ночь уходила за ночью, а «последний шаг» так и не был сделан.

Где-то уже на Каме (в Перми, может быть?) мы долго стояли, пока нас снова не перегрузили в баржи. Это были опять открытые баржи типа лихтеров — как та, первая, в которой отплывали из Повенца, но их было несколько, и в трюмах было совершенно свободно: хочешь — сиди, хочешь — лежи, хочешь — гуляй себе!..

Дни стояли ясные, ночи теплые, и жилось нам в этих баржах отлично, не считая пустых желудков конечно, но и к этому тоже в какой-то мере привыкаешь. Это был последний, заключительный аккорд нашего большого этапа, закончившийся в Соликамской пересылке.

Так не хотелось уходить с этой баржи — чувствовалось, что впереди нас не ждет ничего хорошего…

Когда мы наконец очутились в зоне и нас развели по баракам — отдельно мужчин и женщин, первое, что мы сделали, — разделись догола и устроили Великую Вошебойню…

III. Лесоповал

«Жупелом» лагерей обычно принято считать лесоповал. На самом деле это не так. Масса работ есть тяжелее и нуднее лесоповала. Та же корчевка пней, или земляные работы, да даже и полевые — утомительные своим однообразием.

На самом деле если бригада дружная, если пилы и топоры острые, если деревья толстые — из каждого больше кубометра древесины выходит — и если люди не истощены до крайности, лесоповал вовсе не самая страшная и тяжелая работа.

Лесоповал — работа, на которой вполне можно сделать норму и даже больше, а главное — это работа разнообразная и по-своему даже интересная. Во всяком случае, не чисто механическая — в ней участвует и голова.

Надо сообразить, с какой стороны выгодней подрубить сосну, сколько ее надо пропиливать, чтобы не соскочила с комля и не перебила бы людей, падая не на ту сторону, на какую надо. Решить, где упереться баграми, чтобы лучше расшатать и повалить подпиленное дерево. Кроме того, надо определить, на какую древесину пойдет ствол — на «баланы» или на деловую древесину, ведь десятник не всегда под рукой. Надо разметить и начать пилить так, чтобы не застряла и не сломалась пила. Надо также суметь раскопать вчерашний костер, занесенный снегом, и раздуть тлеющий уголек. Надо заставить гореть огромные сырые заснеженные ветви.

Все это я знаю, потому что испытала на собственном опыте. Но пришел этот «опыт» не сразу и не вдруг, а постепенно, после того, как несколько раз чуть не загнулась, как загнулись многие другие.

К сожалению, все «если», перечисленные мной, почти никогда не бывали в наличии — всегда чего нибудь не хватало: то острых пил, то толстых деревьев, то дружной бригады, а главное — крепких мускулов.

…На пересылке в Соликамске нас продержали дня два-три и разослали по разным лесоповальным «командировкам», как здесь называли лагпункты. В числе 40 человек, преимущественно мужчин, я попала на командировку, под названием «сорок вторая».

Это был небольшой лагпункт — человек на 400–500, километрах в 40 от Соликамска. Эти 40 километров мы тащились два дня, как ни подгонял нас конвой. Ноги еще плохо держались после полутора месяцев неподвижности и голодного этапного пайка; люди шатались и часто падали. Стояла жара, страшно хотелось пить. Во рту не то что пересохло — язык стал шершавым, как терка, и огромным, как пирог.

Раза два мы проходили через деревни, и колодцы с журавлями стояли у самой дороги, но ни разу конвоиры не разрешили остановиться и напиться. Бабы у колодцев жалостливо смотрели на нас, вздыхали и крестились.

Только к вечеру, когда почти совсем уже стемнело, нам все же удалось напиться. Мы снова проходили деревней, довольно большой. Избы длинными рядами стояли по обе стороны дороги.

Начальник конвоя объявил: в конце деревни есть мост и река. Если мы пройдем деревню быстро и тихо — в полном молчании, то нам будет разрешено напиться из реки.

Неужели ему могло прийти в голову, что 40 голодных и обессиленных людей, не имея никакого оружия, могут поднять бунт? Что крестьяне, живущие в области, где лагерей куда больше, чем деревень, могут броситься им на помощь?

Итак, мы, собрав последние силы, торопливо, молчаливо, как воры, шагали по деревне. К счастью, дорога к реке шла под уклон… Наконец, вот она — обещанная награда! Вот она — живая вода, наслаждение и эликсир жизни!

У моста нас свернули с дороги на берег. Было уже совсем темно, и скорей на ощупь, чем на глаз, было понятно, что мы шагаем по следам скота, который сюда гоняют на водопой. Глубокие вмятины от копыт засохли колдобинами, и мы беспрерывно спотыкаемся. Но вот под ногами становится мягче и мягче, наконец захлюпало жидкое месиво и — о счастье! — вода!.. вода!..

Мы не дали себе труда забрести в реку хотя бы по колено. Полными пригоршнями мы черпали воду, взбаламученную нашими ногами, окунали в ладони пылающие лица и пили, пили жадно, не отрываясь, как расгоряченные лошади.

Ночевали мы на какой-то лужайке при дороге. Было тепло, и костра не было нужды разводить. Варить нам тоже было нечего — паек, выданный на день (неизменная селедка!), был давно съеден.

Да от усталости есть и не очень хотелось.

На другой день мы дотащились до лагеря. А на третий всех мужчин отправили на лесоповал. Мудрено ли, что они не сделали никакой нормы и получили по 200 граммов хлеба? Так завязывался заколдованный «доходяжный круг».

Женских бараков здесь было всего два. В первом жили «работяги» — несколько лесоповальных бригад и «лагерные придурки» — служащие финчасти, бухгалтерии, обслуга кухни, прачечной, лазарета. Во втором бараке жили уркаганки, нигде не работавшие, но «обслуживавшие» мужское население лагеря.

Барак наш был небольшой, со сплошными нарами в два этажа. Помещалось человек 60, но плотненько. Если ночью соседка ворочалась, переворачиваться приходилось и тебе, и следующему, и так по всем нарам — цепная реакция!

Посредине барака была большая квадратная печка — под самый потолок. Когда лесоповальщики приходили домой, она превращалась в невиданное чудо-дерево: за натянутые вокруг печи от пола до самого потолка веревки затыкались носами валенки, которые торчали во все стороны, как толстые, обрубленные сучья. Сушилка не работала, и сушить валенки и бушлаты приходилось в бараке, верней — подсушивать, так как высушить до конца было невозможно. Поэтому в бараке постоянно стояла влажная и вонючая духота.

Маленькое окно зимой не открывалось, а форточки не было вообще. Духота, постоянно вспыхивающие то там, то здесь ссоры, мат, мало чем отличающийся от уркаганского жаргона, были отвратительней всякой работы, и только смертельная усталость валила людей на нары и убивала наповал тяжелым сном.

Освещался барак светильником, сделанным из картофелины, если для этого не было подходящей банки, куда можно налить какое-то горючее (мазут, например), и в нее клался фитиль из тряпки. Светильник нещадно коптил, и к духоте и вони от валенок добавлял еще свою специфическую вонь. В общем, в бараке было не слишком уютно.

Дневалила в бараке внучка известного писателя — географа Семенова-Тяньшаньского — дородная дама с седыми волосами и аристократическим профилем. Несмотря на преклонный возраст, ее никак нельзя было назвать старухой. Двигалась она быстро, держалась чрезвычайно прямо. Ее властный голос перекрывал любую перебранку. При случае она пускала первоклассным матюгом и умела быстро навести порядок в бараке. Потом извинялась и поясняла соседям: «Ничего не поделаешь, иначе они не понимают! Это ж… “опчество”»!

«Опчество» дневальную уважало и побаивалось. Без нее было

бы совсем худо.

Состояло общество из раскулаченных, сбежавших с мест поселения колхозников и рабочего люда. Интеллигенция в основном ходила в «придурках». «Придурки» и «работяги» ненавидели друг друга — отсюда и постоянные ссоры, возникавшие по всякому поводу и без повода, конфликты, которые разрешала Семенова-Тяньшаньская.

…Смутно помнится осень и начало первой зимы на «42-й командировке». Заниматься приходилось самыми разнообразными работами, начиная от мытья полов и «подковырки» лаптей (работа не трудная и даже занятная), до рытья каких-то канав и корчевки пней. Никаких сил не хватало вывернуть эти пни из земли, как ни подрубай кругом все корни.

Беда была в том, что ни на одной из этих работ невозможно было выработать норму и заработать больше чем 300 граммов хлеба (а то и 200 получалось!). Посылок никаких не было, люди худели и слабели. К зиме у большинства началась «куриная слепота».

Удивительная и странная болезнь эта «куриная слепота»: днем видишь нормально, а с наступлением сумерек снег и небо становятся приятного зеленовато-салатного цвета. Но чем дальше, тем все больше сужается поле зрения, и в конце концов оно становится размером в пятачок. Словно смотришь через маленькую трубочку. Когда начинаешь читать, то в поле зрения попадает не больше полуслова. Страницу надо водить перед глазами, как стеклышко под микроскопом. Да и то этот маленький пяточок должен быть ярко освещен.

Полутеней никаких не существует — кругом кромешная тьма. Найти уборную вечером — невозможно. В баню кто-то должен вести тебя за руку и там наливать воды в ушат, подавать мочалку и мыло. Во время еды ты пытаешься зачерпнуть баланду перевернутой ложкой!

С наступлением вечера по лагерной зоне, освещенной только мигающими плошками, вдоль колючей проволоки (ведь электричества здесь не было) бродили слепцы с поводырями или двигались одни, вытянув вперед руки, неуверенно шагая в поисках кухни, уборной или своего барака. Зрелище достаточно фантастическое, пока я его могла еще видеть!

К счастью, куриная слепота излечивается быстро и легко. Стоит съесть небольшой кусок, граммов 100, сырой печенки.

Мы ждали обещанной нам печенки месяца два. Наконец печенку все же привезли, и ее хватило на всех. С куриной слепотой на какое-то время было покончено.

…Вереницы лиц проходят передо мной. И хотя ни с кем на

этой «командировке» не связали меня узы настоящей дружбы, все же хочется рассказать о некоторых из тех, с кем довелось встретиться здесь.

Из Ленинграда был привезен профессор Б., к сожалению, не помню его имени. Блокадной зимой в голодающем Ленинграде сидел он на Шпалерке, получая вместо «пайки» маленькие кусочки шоколада. Без суда и следствия был привезен сюда к нам, на «край света»! Неисповедимы пути НКВД…

Он был совсем еще не стар. В Ленинграде у него остались жена, сын и дочь восьми и десяти лет, которых он обожал. Ни в какую эвакуацию он их не отпустил, философски полагая, что если суждено погибнуть, то уж пусть лучше всем вместе. Он научил ребят не бояться бомбежек, и они с женой и детьми никогда не прятались в бомбоубежище — спокойно спали под вой сирен. Старались двигаться как можно меньше, чтобы не расходовать жизненной энергии, которую надо было беречь до конца… (До какого?..)

Он не был политиком, но был твердо уверен в какой-то конечной победе Запада — не немцев, а именно цивилизованного Запада. Он верил в прогресс и цивилизацию. Ему не раз случалось бывать в заграничных командировках, и «Запад» он представлял себе конкретно как мир цивилизованный и прогрессивный.

Когда он появился на нашей «командировке», его распухшие ноги — две колоды — едва передвигались и едва держали его грузное, когда-то, очевидно, полное, а теперь раскисшее и как-то осевшее тело. На работу его не гоняли. Конечно, его надо было бы положить в лазарет, но там никогда не было мест, и он просто болтался в зоне, получая минимальный паек.

И тут вдруг обнаружились его необыкновенные и замечательные способности, благодаря которым он стал неплохо «подрабатывать» и вскоре пошел на поправку. Оказалось, что он обладает феноменальной памятью, вроде И. И. Соллертинского, о котором после войны так великолепно рассказывал Ираклий Андроников. Он также помнил номера страниц, абзацы, названия глав и переносы слов на страницах!

Недавно в блокадном Ленинграде он читал своим не по годам развитым ребятам Жюля Верна, Майна Рида, Александра Дюма.

Теперь он рассказывал это так, как если бы в руках держал книгу! Днем он рассказывал в бараке урок, по вечерам — у нас. Рассказывал или, вернее, «читал» невидимую книгу выразительно, с увлечением, и слушать его было огромным удовольствием. Ведь у нас вообще не было книг на нашей бедной, захудалой «командировке».

Работяги отламывали ему куски хлеба от своих 800-граммовых паек, наливали в котелок баланды.

Столовой как таковой у нас не было. Баланду и кашу, почти такую же жидкую, как и баланда, выдавали на кухне на бригады в больших кастрюлях. Их бригадиры тащили в барак и тут разливали баланду в миски своим бригадникам.

Первое время профессор ел страшно много, как и я на Пудожстрое. Он вновь и вновь подставлял свой котелок — ведь бригад было несколько и баланды всегда хватало; было жутко смотреть, как он их опустошает, без передышки, один за другим, но потом он «уелся» и больше двух-трех котелков не съедал. И как ни малопитательна была баланда, а каша ему доставалась редко, все же он начал поправляться и к весне был в состоянии выйти за зону с багром в руках и дотащиться до берега нашей речушки, по которой начинался молевой сплав леса.

Как сейчас вижу его большую тяжелую фигуру в какомто необъятных размеров драповом (или плюшевом?) балахоне, в котором он и приехал из Ленинграда, в лагерных «шанхаях», а на голове маленькая засаленная тюбетеечка, с которой он никогда не расставался. Живые черные глаза на круглом лице и окладистая, тоже черная, как смоль, борода, успевшая отрасти за время ленинградских и пересыльных тюрем.

…Приятная была эта работенка — лесосплав. В хорошую погоду провести весь день у реки было одно удовольствие, и хлеба давали 400 граммов! На берегу можно было сидеть, время от времени подталкивая багром уткнувшееся комлем в берег норовистое бревно. Ну а если случались заторы и бревна лезли и громоздились друг на друга, возводя огромные плотины, тут уж нужны были настоящие работяги — бригады лесосплавщиков. В них к весне переформировывались наши лесоповалыные бригады.

Тут-то, на берегу реки, профессор и рассказывал мне про своих Наташу с Андрюшей, блокадный Ленинград и про будущую конечную победу западной цивилизации.

Правда, был у нас и один человек, который был уверен в победе Германии. Это был старый лагерный художник.

Ни один лагпункт, даже самый «захудалый», не обходится без художника, который «оформляет» проценты выработки плана, борется с «саботажем» и т. п., рисуя соответственные плакаты и карикатуры, а заодно рисует коврики с лебедями для начальства, а то и портреты, если может.

Художнику на лагпункте живется лучше всех. У него почти всегда имеется отдельная кабинка, «придурковский» паек и масса свободного времени. Жил неплохо и этот, но был стар. Он подбадривал наших доходяг: «Потерпите еще немного! Последние

четверть часа всегда самые трудные!»

Но сам он не недотерпел этой последней «четверти часа» — внезапно захирел, ослаб и умер.

Эти последние «четверть часа» для всех нас затянулись на слишком долгие годы, и для тех, кто дожил до смерти Сталина, обернулись через 15 лет совершенно неожиданной реабилитацией, а не победой Германии или «цивилизованного Запада».

…На копку картошки с нами ходила Дина Исааковна — не помню ни ее фамилию, ни откуда она у нас появилась и что раньше делала здесь, на лагпункте. Помню ее только с той поры, когда нас стали гонять на картошку — она была уже совсем доходягой. Ноги у нее опухли, и ходила она с трудом. А пройти надо было километра четыре по грязной, расквашенной осенними дождями дороге.

Особенно тяжел ей был путь обратный. Если ее ставили во главе колонны, на нее шипели лагерники — каждый стремился скорей в зону, к своей порции баланды, к своей пайке и спасительным нарам, на которых можно вытянуться и погрузиться в сон. Сон, не освежающий тело, но туманящий мозги.

Она задерживала всю колонну, и ругательства пополам с проклятиями сыпались на нее со всех сторон.

Если ее ставили в конце колонны, она безнадежно отставала и тогда стрелки тыкали ее в спину прикладами, понукая прибавить шаг. Нет, не били — именно «тыкали», слегка подталкивая и ругая. Вблизи лагеря ее уже оставляли на дороге одну, и, пока всех пересчитывали, обычно не один раз, так как с одного раза «не сходилось», она успевала добрести до ворот.

Наконец она упала, не дойдя шагов 200 до ворот, и тогда только ее забрали в лазарет.

Умерла она недели через две.

Так вот какие странные, по тому времени, речи услыхала я от нее там, на борозде картофельного поля, в те короткие минуты, когда нам давали передохнуть и посидеть.

Это был тихий лепет, как шелест листвы в ветвях: «Это все ОН! Сталин… От него все исходит… У него мания преследования и чудовищная гигантомания… Перед НИМ трепещет все живое… Для него нет ни семьи, ни друга, ничего — только власть и власть… Он уничтожает всех соперников — настоящих и выдуманных… Головы летят направо и налево. И еще тише, одними губами: «Это Он убил Кирова…» А мы что?.. Мы — щепки… А сколько исполинов, светлых умов полегло… Но все откроется! В истории так не бывает. Истину скрыть невозможно.

Теперь уже недолго… Больше четверти века его режим не продержится… Конец скоро… Я не доживу, но мой сын, ему только 14, — он узнает!.. Обязательно узнает…»

Тогда ее слова мне казались бредом уже стоящего одной ногой в могиле человека. Я знала, что она была членом партии, возможно, вращалась в каких-то «высоких кругах», но все равно речи ее воспринимались как странный бред.

ОН — которому адресовано столько заявлений и жалоб в надежде, что хоть какие-нибудь пробьются и откроют ЕМУ глаза… ОН — наша последняя надежда… ОН — от которого все ждали слов справедливости, крутого поворота истории…

Бред, бред…

А было это не бредом, а истиной — пророчеством на картофельном поле, политом женским потом и слезами… Даже срок предсказала Дина Исааковна почти точно.

В этом глухом таежном лагпункте не было ни радио, ни газет, ни кино. Все новости шли в основном от лагерного начальства, с опозданием, но все же получавшего газеты, а потом узнавались друг от друга с добавочным сдвигом во времени и с искажениями, вносимыми передающими, в зависимости от их интерпретации, причем зачастую желаемое выдавалось за действительное. Поэтому казалось, что мы живем в каком-то сюрреалистическом, затерянном во времени мире, оторванные от реальной жизни. Мы почти не знали, что происходит сейчас в стране, на фронтах, где сейчас немцы, где наши.

Когда зимой 41-го немцы подступали к Москве, какие только слухи не ходили по лагерю! И что Москва уже сдана, и что Гитлер предъявил Сталину ультиматум — отпустить всех политзаключенных, и что советской власти скоро конец и т. д.

Но когда стало известно, что немцев остановили и отогнали от Москвы, в лагере было всеобщее ликование.

…Лето всегда приносит утешение и радости, даже в таком несчастном лагпункте, каким был наш «42-й».

Весна принесла лесосплав с веселыми молевыми бревнышками, танцующими в воде. Лето — сенокос, не знаю для какого скота; не помню, чтобы в лагере водились коровы, но лошади в ВОХРе были, наверное, а может быть, у начальства были и коровы, во всяком случае, был сенокос. Умельцы косили, а мы ворошили сено и сгребали в стога — совсем как в деревне!

Вскоре стала поспевать малина, а там и черника с голубикой, и нас вместе с доходягами, которые только мешали на лесоповале, стали посылать по ягоды. Что и говорить — легкая и веселая работенка! Правда, и тут сейчас же ввели «нормы» в виде банок и корзинок. Пусть себе, думали мы, ведь тут уж было не

страшно недобрать до нормы — все равно в лагерь возвращались, плотно набив животы ягодами!

Но везде есть свои «шипы». Этими шипами были комары и гнус, буквально заедавшие нас. Иной раз глаза превращались в такие щелочки, сквозь которые едва был виден свет божий! Лесоповальщики тоже приходили с опухшими лицами и руками. Ноги и тела спасали шаровары и телогрейки.

Все же лето с его теплом, солнышком, открытыми дверьми в барак, с ночевками на свежем воздухе на дворе возле барака было благословенным временем.

К тому же понемногу начали налаживаться и связи с родными. Я получила письмо от мамы, эвакуированной с детьми в деревню под Бузулуком.

Я узнала, что все мои живы — пока живы. Муж был на фронте в саперных войсках, очевидно потому, что был архитектором.

Мой двоюродный брат, «не донесший на меня» и к войне давно уже кончивший свой трехлетний срок за это, в армию взят не был, а попал в какую-то «трудармию», и это кончилось для него не менее трагично, чем мог бы кончиться фронт.

Вышло все это совершенно случайно — вот и не верь в судьбу! Охраняя какой-то лес, он жил в сторожке вдвоем с одним стариком. Дед был славный, рад был товарищу и заботился о Юрке, как о сыне. Беда была в том, что дед болел туберкулезом. Юра заразился и, промучившись несколько лет, умер, не дожив до 40 лет и до реабилитации, не услыхав, как маленькая, обожаемая им дочурка впервые скажет «папа»…

Но все это было позже, а пока и он был жив.

Самым горьким было маленькое письмецо-треугольничек от Федора Васильевича, пересланное мне моей мамой. Оно было скорбной, безнадежной и последней искрой пропащей, неизвестно зачем загубленной человеческой жизни.

…И снова пришла зима, и, когда в лагере на «подсобных» работах делать стало нечего, меня сунули в какую-то лесоповальную бригаду.

Женские лесоповальные бригады, не в пример мужским, почти всегда вырабатывали норму. И ни одна из бригад не хотела брать «интеллигенцию» — ее навязывали силой нарядчики, если некуда было девать людей. Так было и со мной. Меня нехотя взяли в бригаду.

Это был мой первый и последний «взлет» на общих работах, когда я достигла невиданных «вершин» производительности и заработка в 800 грамм чудесного, сытного ржаного хлеба! Конечно, не сразу. В лесоповальную бригаду входило шесть «основных» человек и два «подсобника». Основные — это

лесоповальщики, обрубщики ветвей и раскряжевщики — раздельщики древесины — тоже каждых по двое.

В обязанности подсобников входило собрать обрубленные ветви и сучья и сжечь их. Эта работа считалась «легкой», и на нее посылали людей с 3-й категорией трудоспособности. «Основные» официально должны были иметь 2-ю категорию — лесоповал считался работой тяжелой. Кто получал 1-ю категорию, давалась ли она по физическому состоянию или по каким-то другим признакам, — не знаю, но мне не довелось встретить в лагерях человека с 1-й категорией.

Стопроцентная выработка оплачивалась 600 граммами хлеба — для этого бригада должна была выработать 30 кубометров древесины — по пять кубометров на человека. Подсобники не учитывались. Чтобы получить 800 грамм, норму надо было перекрыть на 20 %.

Итак, я попала на «легкую» подсобную работу — сбор обрубленных ветвей. И еще их нужно было сжечь.

У нас на лагпункте давно не водилось спичек. «Неугасимый огонь» поддерживался в кухне, бане, прачечной. В крайнем случае можно было попросить у стрелков или зажечь от сторожевой плошки. Но это все в зоне. На лесоповальную делянку надо было нести с собой угольки в чугунке, чтобы из них раздуть костер. А ведь делянки были за пять, восемь и даже больше километров от зоны!

Увы! Сколько раз мне не удавалось спасти тлеющую искорку, сколько раз в котелке оказывались затухшие холодные угли!

Вот и отправляйся за новыми углями — бреди по протоптанной в тайге тропе, по бокам которой снег чуть не по плечи тебе. Но это все ничего, эти хождения по таежным тропам, особенно утром, пока еще есть силы в ногах и если погода тихая.

…На всю жизнь запомнились мне прекрасные картины со спящими под снегом великанами-соснами, со звездами в начинающем светлеть небе, с первыми нежно-розовыми облачками, которые чуть тронуло восходящее солнце, с ручьями, пробивающимися из-под снега и снова исчезающими в сугробах… и вокруг великолепная тишина, разве только дятел раскатит свою трель…

Но ведь лесоповальщики не ждут — им надо сделать свою норму. Пока ты ходишь за огнем, уже повалено несколько огромных корабельных сосен. Очищено от ветвей, раскряжевано. Падая, сосны пышными своими кронами зарылись глубоко в метровый снег. Искусно обрубленные снизу из-под стволов, ветви теперь едва торчат на месте «побоища». Раскряжеванные стволы откачены в сторону. Попробуй вытащи такую «веточку в три твоих

руки толщиной, вмятую в глубокий снег да еще притоптанный валенками работяг. Но надо вытащить, надо приволочь к костру, надо, чтобы они еще горели — эти громадные сырые разлапистые ветви.

Если делянка не убрана, десятник не примет древесины. Обливаясь потом, а то и слезами, мы с моей напарницей таскаем неимоверно тяжелые ветви, проваливаясь по пояс в снег, а затем, стоя на коленях, дуем до одурения в чадящий, дымящий, но никак не желающий гореть костер.

А бригадир покрикивает, торопит — скоро начнет темнеть; короток зимний день в прикамской тайге, никому неохота сидеть на штрафном пайке.

Кончается тем, что вся бригада, чертыхаясь и обкладывая нас трехэтажным матом, начинает помогать нам — все таскают ветви, и кострам наконец надоедает дымить, и дымовую завесу прорезает яркое лезвие огня. Костер весело трещит, рассыпая фонтаны искр, ветви корежатся и шипят — но теперь уже напрасно — огонь победил!

Приходит десятник, отшлепывает своим молотком клеймо на срезе бревна, измеряет, записывает в свою книжечку.

Не обходится и без мелкой туфты. Слишком соблазнительно, если вчерашний лес лежит неподалеку, не воспользоваться случаем — отпилить тончайший кругляшок с клеймом, в каждой бригаде есть такие «спецы», и сдать бревна еще разок… Да и не грешно, право. За свои 800 граммов бригада довольно пролила пота. Государство и так не в убытке — ведь работаем только за паек, а так — нам лишние 200 граммов!

Последняя работа — умело закопать костер. Так закопать, чтобы завтра, если отправят на эту же делянку, можно было, раскопав его, под снегом найти еще тлеющие угольки, сохранившие жизнь до следующего утра. Неопытный человек вряд ли сумеет так закопать, но опытные лесоповальщики могут.

Домой отправляемся в сумерки, вереницей друг за другом по тропам, которые похожи на траншеи. Но тут я чувствую, как ноги наливаются свинцом, спину между лопаток отчаянно ломит, и я пропускаю, свернув в снег, одного путника за другим, пока не остаюсь совсем последней и, едва волоча ноги, тащусь вслед за всеми.

Так долог, так бесконечно долог этот обратный путь, и какое счастье разглядеть среди темных силуэтов деревьев мигающий огонек сторожевой плошки! Перед воротами лагеря постепенно собирается толпа, люди начинают мерзнуть, прыгать с ноги на ногу, сырые бушлаты застывают колом. Но пускают в зону только тогда, когда всех пересчитают и все сойдется.

Утром развод происходит быстрей — бригаду за бригадой выпускают за ворота, отмечая, сколько вышло человек.

Подъем на «командировке» возвещает старая рельса, подвешенная к чему-то посредине лагеря. Это бывает в пять часов, когда небо еще полно звезд. Но пока люди получат свою утреннюю кашу, пока в инструменталке добудут пилы и топоры — они берутся с боя, и лучшие достаются первым и сильнейшим, — пока люди добредут до своих делянок, как раз и забрезжит рассвет.

Если денек погожий, по небу поплывут розовые облака, снег на полянах и откосах оврагов нежно порозовеет. Грудь начнет жадно вдыхать ароматный хвойный воздух, и ты почувствуешь, что еще способна радоваться жизни. Пока еще живешь!

…К зиме 44-го в лагпункт стали прибывать «западники» — болгары, чехи поляки, в основном бывшие служащие, мелкие лавочники, немного из интеллигенции — учителя, юристы — в общем, люди, никогда топора в руках не державшие. Они, попав на лесоповал, целыми бригадами замерзали в лесу, не умея и не имея сил даже развести костер, чтобы хоть не замерзнуть. Это называлось «саботажем» на языке лагерного начальства.

В лес ходили без конвоя — бежать было некуда: кругом на сотни верст тайга, а дорога на Соликамск бдительно охранялась. К вечеру стрелки выезжали на дровнях за «западниками», утром ушедшими на работу, и привозили в лагерь трупы «саботажников». На поверке начальник лагеря всенародно предавал их анафеме — «фашистов», готовых лучше сдохнуть, чем честной работой искупить свои преступления.

Это было уже после моего отбытия с «42-й командировки», и узнала я об этом от знакомых лагерников, которых я встретила в Соликамске примерно через год после моего освобождения.

А пока я старалась как-то приспособиться к лесоповальным работам, чтобы хотя бы выжить.

Скоро я убедилась, что на самом деле работа «подсобников» на лесоповале — самая тяжелая и неблагодарная. Ни одна пара подсобников без помощи бригады не управлялась, даже если они не присаживались к костру ни разу за весь день. И все бригады ругали своих подсобников.

В конце концов я перепробовала все лесоповальные «специальности». Обрубать ветви было не слишком тяжело, если они были не очень толстые и если топоры были острые. Но это бывало далеко не всегда, и я опять не успевала за бригадой, и опять меня ругали на все лады. Потом я попробовала раскряжевывать — то есть распиливать стволы на нужные отрезки. Сначала как будто все пошло на лад, но на второй же

день я сломала лучковую пилу, едва выпросила у десятника заменить ее мне другой и к концу дня сломала и ту.

Если дерево ложилось, провисая между двух бугров, — пила неизменно зажималась и очень легко ломалась. Правда, потом мне показали, как надо подставлять колья под ствол, чтобы не ломать пилы. Но пока приходила сноровка, дела шли плохо, и постоянно кому-нибудь из настоящих работяг приходилось мне помогать — ну а кому это понравится, судите сами! Ведь и так они вкалывали вовсю, чтобы выработать свои несчастные 30–40 кубометров. Счастье еще, что сосна шла «корабельная» — высоченные, прямые стволы — кубометра полтора, а то и все два древесины!

Какие пышные зеленые кроны были у них! Сердце сжималось, когда раскачиваемое упертыми в ствол баграми дерево начинало трещать все громче и громче, как бы моля о пощаде, и наконец с последним скрежетом и глухим уханьем медленно валилось в снег, вздымая белый вихрь.

…Маленькая, я всегда была уверена, что дереву тоже больно, плакала над елкой, принесенной в квартиру. Теперь мне тоже казалось, что им больно. А может быть, это так и на самом деле?.. Кто может знать…

Когда я присмотрелась к лесоповальным операциям, я увидела, что больше всех отдыхают сами «повальщики» — те, которые спиливают деревья, кого особо почитали как «ведущих» в лесоповальном деле.

Они, вдвоем, неспеша подрубят дерева два-три, потом начинают их подпиливать плоской пилой за две ручки. Подпилив достаточно, зовут других, чтобы баграми расшатать и повалить дерево. Пока поваленные деревья разделывают — обрубают сучья, раскряжевывают — повальщики переходят на другой конец делянки и там снова подрубают и подпиливают дерева два-три. И еще пройдутся к костру, посидят и покурят, пока раздельщики все еще возятся с первыми деревьями. И так весь день — с прохладцей, не спеша.

Я едва вымолила себе разрешение попробовать валить — на мое счастье захворала одна из напарниц-повальщиц.

И я не ошиблась. Действительно, это самая уважаемая, «престижная» работа лесоповальщика оказалась наименее трудоемкой, наиболее подходящей для слабых моих сил. Правда, в начале, когда подпиливаемое дерево начинало постанывать и покряхтывать, у меня душа уходила в пятки, и я умоляла напарницу: «Довольно, довольно!..» Но более опытная моя напарница понимала, что еще мало и так дерева не свалить.

Я видела однажды, как неопытные повальщики спилили

ствол чуть не до самого заруба и дерево вдруг стоймя соскочило со своего пня и комлем расплющило стопу одного из повальщиков. Он побелел как мел и даже не закричал — так сильна была боль. А дерево, покачавшись, как маятник, под страшные крики «Берегись!.. Берегись!» легло поперек делянки.

Но у нас пока — тьфу, тьфу, не сглазить бы — все шло благополучно, и бригада была поражена: никчемная, ничего не умеющая делать интеллигенция оказалась «на высоте» и валила столько же, сколько и они — опытные настоящие работяги!

Так я и проработала «повальщицей» почти до конца зимы 43-го года, когда, казалось бы, пустяковый случай определил новый поворот в моей лагерной судьбе.

Но прежде чем продолжать рассказ о моих новых приключениях, хочу поделиться воспоминаниями еще об одной обитательнице этого лагеря, с которой у меня сложились хорошие, теплые отношения.

Речь идет о моей соседке по нарам, молоденькой монашке Марусе. Вспоминаю, как трогательно она ухаживала за мной во время «куриной слепоты», приносила мне мою миску с баландой и пайку хлеба, водила в баню, стирала белье. Более кроткого и незлобивого существа я не встречала — маленькая, как серенькая мышка, всегда тихая, всегда приветливая, говорившая вполголоса. Когда в бараке вспыхивали ссоры, она готова была заплакать, затыкала уши ладонями, чтобы, не дай бог, не услышать слова «черт», которого она боялась больше всего на свете. Она считала, что достаточно помянуть ЕГО, как он уже тащит твою душу прямо в пекло, на вечные муки.

Кроме нее в бараке было еще несколько монахинь-богомолок, которые на следствии не называли своих фамилий и по формулярам числились просто под номерами.

Лагеря они считали земными отделениями преисподней, созданием сатаны и потому полагали за грех работать здесь, на сатану. В изолятор их не сажали, но жили они всегда на штрафном пайке — на 200 граммах хлеба. И все же они особенно не голодали.

Они охотно брались за всякую работу для людей — только бы не для сатаны. Дневальной они мыли полы и приносили воду, работягам и «придуркам» стирали и гладили; мужчинам чинили брюки и бушлаты. Они никогда не спрашивали платы за свои услуги, но если им давали кусок хлеба или миску баланды, никогда не отказывались, смиренно благодарили и, перекрестясь, принимали подаяние.

Статья у них у всех была «пустяковая» — 58–10, но сроки почему-то у всех были — десять.

Я вспомнила о Марусе, потому что она была единственным человеком на «42-й командировке», которому действительно было жаль расставаться со мной. Впрочем, и мне тоже.

…Конец моему пребыванию на «42-й» пришел, как я уже сказала, неожиданно и случайно. Чем-то я наколола большой палец правой руки, даже не заметила чем и как, но палец разболелся, раздуло всю руку. Боль была отчаянная. Хирурга у нас на лагпункте не было; наш лекпом попробовал покопаться в пальце скальпелем — стало еще хуже, температура поднялась до 40… Лекпом испугался сепсиса и, во избежание ответственности, выписал направление в центральную больницу Усольлага, до которой было километров 25. Транспорта, конечно, никакого не было. Кроме того, для моей отправки в больницу требовались еще два условия: наряд из управления и конвоир.

Сначала не было ни того, ни другого. Потом пришел наряд, но не было конвоира. А время шло да шло…

Я не умерла от сепсиса — опухоль стала спадать, и боль немного отпустила. Температура тоже спала.

В общем, панариций стал понемножку проходить (окончательно палец зажил только через год и остался на всю жизнь исковерканным), уже было ясно, что можно отлично обойтись и без центральной больницы.

Но дело было сделано — наряд лежал в конторе, а недели через три появился и стрелок, чтобы везти меня в Мошево, где находилась больница.

Кроме меня туда же, в центральную больницу, должен был быть отправлен, тоже по наряду, врач К. — опытный терапевт, обрусевший поляк, которого почему-то с пересылки из Соликамска тоже заслали к нам, на «42-ю». И хотя и наш лекпом, и врач К., и я сама — все мы сомневались, нужно ли мне идти в больницу, примут ли меня там с почти зажившим панарицием, сомнения наши оказались ни к чему. Имелся наряд, налицо был конвой — значит, рассуждать нечего. Мне было велено отправляться.

Мы с доктором К. сложили свои нехитрые пожитки, а у меня уже завелся какой-то деревянный чемоданчик к тому времени, и отправились в путь-дорогу. Стрелок — совсем еще мальчишка — оказался сообразительным и добросердечным. Он раздобыл где-то саночки, положил на них наши чемоданы, и сам тащил их всю дорогу по мокрому, весеннему снегу — у меня рука была все-таки еще на перевязи, а доктор годился стрелку, скорее всего, в дедушки, и, очевидно, стрелок это тоже учел.

День был ясный, мороза уже не было, снег хлюпал под мокрыми валенками.

Мы позавтракали по дороге дружно, угостив парнишку нашей соленой камбалой, выданной нам на дорогу, а он нас — бобами из консервной банки — своего дорожного пайка. Ведь на много километров кругом никого не было. Никто не мог увидеть!

…Расставаться с «42-й» было не жаль. Особенно близких друзей там не оставалось, только мои милые соседки по нарам — Маруся-монашенка и Нина с глазами китайчонка. Маруся горько плакала, когда я уходила из барака.

С внучкой Семенова-Тяньшаньского мы крепко расцеловались, и она пожелала нам на дорогу ни пуха ни пера.

— К черту, к черту!

Я не могла знать, вернут ли меня на «42-ю», но знала, что в Мошеве, кроме больницы, был и обычный лагерь, куда, вероятнее всего, меня и водворят. Поэтому я прощалась со всеми так, как прощаются, уезжая навсегда…

Прощай, «42-я», прощай, еще одна страница моей лагерной жизни!..

Глава 6
Мошево

I. Посвящение в медсестры

Когда мы к вечеру добрели до Центральной больницы, преодолев 25 километров таежной проселочной дороги, рабочий день уже давно кончился. В темной конторе больницы сидел один дежурный за столиком, освещенным коптилкой, сделанной из картофелины с фитилем.

Посмотрев наши бумаги и выслушав мой рассказ о почти уже заживающем пальце, симпатичный дежурный — тоже «зэк» и славный человек — пофыркал, похмыкал носом, поерошил торчащие ежиком волосы и, наконец, принял решение:

— В общем-то, конечно, я должен был бы отправить вас в зону, — сказал он (в отличие от больничной зоны лагерная, «рабочая», называлась просто зоной). — Но знаете, я все-таки положу вас в малую хирургию. Отдохнете малость. Сразу же на осмотр не возьмут, все равно назначат анализы — кровь, моча, то, другое — смотришь, и прокантуетесь денька три-четыре… А в зону всегда успеется…

Это был дежурный фельдшер. Я не помню его фамилию, но позже расскажу о нем немного. Все получилось так, как он и предсказал.

При обходе на следующий день мне были назначены анализы, а в перевязочную меня вызвали только через три дня.

Но гораздо раньше, в первый же мой мошевский день, ко мне прибежала Екатерина Михайловна Оболенская. Не помню, как она узнала, что я здесь — может быть, ей сказала Любочка Н. — очень доброе и хлопотливое существо, любившая всем помогать и «устраивать судьбу» совершенно бескорыстно. В то время она работала сестрой в мошевской больнице в отделении гнойной хирургии.

Так или иначе, обе они с места в карьер начали меня «обрабатывать»: «В больнице острая нехватка медсестер! Каждый мало-мальски грамотный человек может быть медсестрой. Ты останешься здесь и станешь медсестрой!»

— Я — медсестрой??. Чепуха! Абсурд. В медицине я ничего не понимаю. Никаких банок и даже горчичников ставить не умею. Моим ребятам все это делает моя мама!.. В жизни я не держала шприца в руках… Не выношу вида человека, которого рвет!.. И вообще, терпеть не могу медицину и никогда ею заниматься не

собиралась!

Екатерина Михайловна убеждала, Любочка Н. вышла из себя и назвала меня «просто дурой».

— Ах, на лесоповале тебе лучше?! Ах, жить надоело!.. А дети?.. Мать?.. Да ты просто обязана дожить!.. Просто дура, если упустишь реальный шанс!

В конце концов я сдалась. Мне притащили два толстых-претолстых тома в черных обложках — учебник для медсестер Ихтеймана — том первый и том второй. С отвращением и ужасом я начала их листать…

Читать было велено быстро, ибо мои друзья, как и я, тоже думали, что после первой перевязки меня выпишут в зону, а достать меня оттуда будет значительно труднее. Они успели побывать у главного врача больницы, а главное — у его жены.

Это была дама-патронесса, нечто вроде отделения общества Красного Креста при нашей больнице. Она благоволила к заключенным, охотно выслушивала различные просьбы и действительно старалась помочь. К ней обращались с разными разностями: с просьбами о переходе в другое отделение, о разрешении свидания. Наконец, даже с просьбой принести почитать что-нибудь. Официально никакой должности она не занимала, но все знали, что «вес» в больнице — имела.

Так вот, друзья побывали у Маргариты Львовны — так, кажется, ее звали — и наговорили ей, что прибыла такая-то, детская писательница! Культурнейший человек! Практически знакома с медициной?!! Одним словом, ради Бога, только чтобы ее не отправили в «зону»!

Кончилось тем, что через неделю я была вызвана в кабинет главврача, куда и отправилась через всю больничную зону в больничном халате без пояса, в тапочках, которые слетали с ноги при каждом шаге.

В кабинете было двое: за большим столом сидел низенький толстый и смешной человечек (начальник больницы Неймарк — догадалась я). Смешной он был только по виду — как потом я узнала, он здорово, когда надо, на всех орал, стучал кулаком по столу и совершенно единолично мог «списать в зону» любого врача и любую медсестру. В общем, его боялись, хотя был он справедлив и спрашивал «по делу». А добросердечной женой его здесь пользовались как громоотводом.

В кресле у стола сидел сухопарый и очень высокий старик, который говорил так невнятно, словно со ртом, набитым кашей, так что я ничего не понимала, о чем он вообще говорит… Как потом оказалось, это был старый хирург Андриевский — талантливый и опытный хирург — ленинградец, спасший немало

жизней и заключенным, и вольным, приезжавшим к нему на операции даже из Москвы и Ленинграда. Он уже досиживал свой срок, но, как потом я слышала, умер, так и не успев досидеть.

Неймарк и Андриевский меня о чем-то спрашивали, но от волнения я ничего не понимала и вряд ли отвечала хоть что-нибудь мало-мальски вразумительное. Одно лишь помню, Андриевский спросил меня: «А если вы не поймете, что вам сказал врач, что вы сделаете?» Я поняла вопрос, очевидно потому, что это не был медицинский вопрос. И потому ответила вполне разумно: «Я спрошу у врача еще раз».

У Андриевского по губам пробежало что-то вроде улыбки, а Неймарк откровенно крякнул. Этот мой ответ, очевидно, и решил дело. А может быть, и просто острая нехватка медсестер… Экзамен, к счастью, длился недолго, меня отпустили, и я, вся красная и негодующая, набросилась на Екатерину Михайловну и Любочку, подвергшим меня такому позорищу!

Однако в зону меня все-таки не выписали, а только перевели в терапевтическое отделение, где я еще продолжала числиться «больной», но уже поддежуривала по ночам и училась кой-чему у палатных сестер. К счастью, одна из них была Екатерина Михайловна — Катеринка, как вскоре стала она для меня… Так я прижилась в Мошеве.

II. Туберкулезное отделение

Пимперле, сделаем лицо!

Доктор Грудзинский

Мои первые самостоятельные дежурства начались не в терапии, а в туберкулезном отделении, куда меня назначили. И то сначала это были только ночные дежурства. Днем ведь надо было делать обход с врачом, записывать назначения, выполнять процедуры — всевозможные внутривенные вливания, которых я, конечно, делать вовсе не умела. Надо было выписывать лекарства из аптеки и делать еще множество дел, к которым я была совсем не готова.

Всему этому я постепенно научилась, но до обходов с доктором Грудзинским было еще очень далеко.

Так мы и работали с Аглаей Михайловной, давнишней сестрой туботделения, она — днем, а я — ночью, пока ей не надоело такое положение вещей. Тогда мне волей-неволей пришлось взяться за круглосуточную смену, хотя и было страшно.

Постепенно я стала привыкать, и покатилась моя мошевская

больничная жизнь — сутки через сутки, месяц за месяцем…

Но вот своей первой ночи в туберкулезном, когда я осталась одна со своими 70 туберкулезниками, мне не забыть никогда. Помню, как гулко, на весь корпус, колотилось мое сердце, когда я стояла посреди темного коридора с закрытыми дверьми, за которыми — за каждой! — кто-то кашлял, хрипел, стонал, звал сестру…

Я не знала, в какую палату идти, звали из каждой. Коптилка чадила и прыгала в моей дрожащей руке, язычок пламени колебался, какие-то фантастические тени двигались в дальних углах коридора… Как только я со своей коптилкой зашла в палату, со всех коек поднялись черные головы — как змеи. Боже, помоги! И отовсюду зашелестели хриплые голоса:

— Сестрица… Сестрица…

В палате никто не спал. Все просили кодеина или укол. Но ни морфия, ни пантопона у меня не было, а кодеин было велено давать только по назначению. И он был уже роздан вечером. Я быстро раздала весь остальной, за что мне потом крепко досталось, но они все равно кашляли и кашляли, до рвоты, до изнеможения… И некуда было укрыться от этого душераздирающего кашля, и в дежурке он был слышен, хоть и немного глуше…

В довершение всего из четвертой палаты прибежал санитар с известием, что один кончается… Я пошла. На койке лежал большой, мне показалось — огромный, человек, заросший черной щетиной, с провалившимися щеками, с темной дыркой вместо рта. Глаза были открыты, но заведены вверх, и белки зияли, как у слепого. Он не дышал. Я думала — уже умер.

Но вот все тело его вдруг содрогнулось, грудь даже привскочила и с шумом набрала в себя воздух, а потом с хрипом выпустила его, и человек опять затих… Потом я узнала, что это называется «чейнстоксовское дыхание» и что это — агония. Я взялась за пульс, но пульса не нащупала.

Аглая Михайловна, передавая мне дежурство, меня напутствовала: «Кузьмин, вероятно, экзитирует сегодня (это элегантное иностранное слово означало просто — «умрет»). — На всякий случай введите ему камфару, может, до утра и дотянет…»

Я не понимала, да и сейчас не понимаю, почему надо было вводить камфару, чтобы Кузьмин дотянул до утра? Для кого это было «надо»? Для Кузьмина, который мучался в агонии? Или для кого?

Но таков незыблемый врачебный закон: до последней минуты бороться за жизнь — не давать умереть… Это было 50 лет назад, но и до сих пор вопрос о «разрешении умереть» все еще стоит на

повестке дня современной медицины.

Не морфий или пантопон — но камфара и кофеин. Даже если у человека от обоих легких не осталось ничего. Даже если раком задушены все внутренности…

В панике я бросилась в дежурку, санитара послала наверх за Екатериной Михайловной. Слава Богу, она дежурила тут же, в терапии, два марша вверх по лестнице. Я сама старалась набрать в шприц камфару, но она почему-то не набиралась…

Катерина прибежала сразу. Она очень ловко набрала в шприц камфару и сделала умирающему укол. С соседних коек — со всех сторон — смотрели странные расширенные глаза, в которых отражались язычки пламени моей коптилки.

У этих несчастных уже не было сил даже кашлять. Они лежали молча и неподвижно, только непрерывное клокотание в груди показывало, что они еще живы, что они еще не «экзитируют»…

Через несколько минут Кузьмин умер. Его накрыли с головой одеялом, и два санитара положили на носилки и вынесли из палаты. Мы вышли тоже. На прощанье Катерина сказала больным: «Ну что поделаешь?.. Спите спокойно». И показалось, больные вздохнули спокойней…

— Катеринка, — спросила я в дежурке, — а ведь, наверное, надо было послать за Грудзинским?

— Зачем? — грустно ответила она. — Ведь он и так знал, что Кузьмин умрет сегодня ночью или завтра… И что же он может сделать, доктор Грудзинский?.. — Она смотрела на меня с такой жалостью, как будто это я сама должна была умереть сегодня или завтра…

В больнице, хоть и «центральной», не было фтизиатра. Как-то так случилось — были и терапевты, и хирурги, и инфекционисты, даже гинекологи, ибо к нам же привозили трудных рожениц, иногда в состоянии комы… Был великолепный офтальмолог и глазной хирург — перс, теперь сказали бы иранец, Алибей Асадулаевич Мурадханов, к которому приезжали делать операции высокопоставленные энкавэдэшники с Лубянки.

А вот фтизиатра не было. И туберкулезным отделением заведовал старый поляк — терапевт, доктор Грудзинский. Ему было, вероятно, не больше 60, но выглядел он глубоким стариком. Он был красив. С белоснежными густыми волосами, с бородкой клинышком, с удлиненным лицом, почти лишенным морщин, всегда грустным, но слегка надменным, он, казалось, сошел с портрета какого-то средневекового испанского гранда. Только белого воротника с плюмажем не хватало! Его белоснежный, всегда подкрахмаленный халат был свеж и

безукоризнен.

Первое время я ужасно боялась рот раскрыть, уверенная, что ляпну какую-нибудь глупость или задам дурацкий вопрос. Но оказалось, что «испанского гранда» бояться совершенно нечего. «Высокомерность» его была не более чем привычной игрой, и «испанский гранд», как и все остальные, также тосковал по своим взрослым дочерям и маленьким внукам, тем более что, боясь им «навредить», просил их писать редко и коротко, как и сам делал, — и пожалуйста, никаких посылок!

Он был из русских поляков, сидел давно, с начала 30-х, и его семья жила где-то в средней России.

Ко мне он относился снисходительно и чуть насмешливо, как мне казалось, потому что он знал, что никакая я не медсестра и в медицине ничего не понимаю. Но в нашем ТБЦ-отделении не было профессионалов, да и сам он не был фтизиатром, тем не менее мы оба старались делать свое дело как могли хорошо…

Увы, нашим туберкулезникам мы практически ничем помочь не могли. У нас ничего не было. Ни медикаментов, ни аппаратуры, ничего, кроме шприцов с затупившимися иглами. Был, правда, аппарат для пневматорокса, но вряд ли и опытному фтизиатру пришлось бы пользоваться им.

Дело в том, что туберкулезники попадали в Мошево, когда уже оба легких были изъедены кавернами — куда же «поддувать»?!

У нас почти не было ни героина, ни кодеина, чтоб хоть на время избавить несчастных от непрерывного кашля, раздирающего остатки легких. Только «солюция» ипекакуаны да раствор хлористого кальция — все, что имелось в нашей аптечке. Морфий и пантопон были привилегией только одного хирургического отделения. Пенициллин и стрептомицин уже начали входить в медицину, но…конечно, не для лагерных больниц. И хорошо, что больные о них еще и не знали.

Не было у нас и самого главного — калорийного питания, которое могло бы поддержать силы организма для борьбы с болезнью. Туберкулезники получали тот же «общий» больничный стол, что и все, кроме больных в первые послеоперационные дни в хирургии. Больничное питание было до того скудно, порции такие микроскопические, что о калорийности смешно было даже говорить. Тем не менее ее аккуратно, ежедневно подсчитывал — диетолог по совместительству — наш знаменитый офтальмолог доктор Мурадханов, и таблицы с подсчитанными калориями ежедневно клались на стол главного врача — директора центральной больницы Неймарка — единственного вольнонаемного врача и хозяина всей больницы.

Может быть, он и читал их — но что он мог сделать?

Питание?.. Откуда же его было взять?.. Ведь это был концлагерь — да еще в военные годы…

На грани голода жили все — и больные, и персонал. Единственное, что поддерживало жизнь наших туберкулезников — это 400-граммовая больничная пайка. Пайка черного кислого хлеба. Сестра-хозяйка, раздававшая пищу, разрезала эту пайку на три куска, чтобы больные не съедали ее сразу с утра. Если случались — не часто — какие-то добавочные порции, их отдавали в хирургию и терапию, где врачи ссорились между собой за «своих больных» и назначали их более «перспективным», которые могли еще выздороветь.

На долю туберкулезников не доставалось ничего.

Но все, кроме самих больных, умолявших о добавке, понимали, что это — справедливо, ибо для туберкулезников добавка ничего не изменит — ведь все они все равно были обречены…

Конечно, попавшие в Мошево все же были счастливцами — они лежали (и умирали) на железных койках, на чистых простынях; они лежали в палатах со свежим воздухом, так как форточки никогда не закрывались.

Пока они были ходячими, они пользовались уборной, а на «последние дни» их переводили в небольшую, на три — четыре человека, палату — палату номер четыре, где было «спокойнее и условия гораздо лучше», как мы их уверяли: «Сами убедитесь!» Вряд ли больные нам верили, но что же было делать?..

Но доктор Грудзинский и в этих условиях пытался что-то «делать». Делал все, что было в его силах, и больные чувствовали это и обожали его.

…Вспоминаю. Мы отправляемся на обход. Ежедневный утренний обход всех палат. Двери в палаты закрыты. Из-за них доносится то затихающий, то нарастающий, почти непрерывный кашель… Длинный коридор…

— Ну-с, Пимперле! — Почему-то он окрестил меня этим прозвищем. Что оно означало, вероятно, он и сам не знал, но, очевидно, что-то связанное с молодостью и неопытностью, ибо, хотя мне уже минуло 35, я была самой молодой из мошевских медсестер.

— Ну-с, Пимперле, — говорил доктор Грудзинский, останавливаясь перед дверью палаты, в которую нам следовало войти, — «сделаем лицо»!

И лицо его принимало бодрое, энергичное выражение. Даже глаза начинали блестеть. Словно волной смывало усталость, старость, тоску…

— Пошли!

Он широким жестом распахивал дверь, галантно пропуская меня вперед: «Сестра, прошу!..»

— Доброе утро, как дела? — весело приветствует своих больных доктор Грудзинский.

— Доброе утро, доктор! — несется со всех сторон. Начинается обход.

— Да… Кашель, конечно, мучительно… Конечно. Но вы же ведь образованный человек?.. Вы же понимаете, что это — отделение мокроты, это необходимо и это — единственное, что может спасти… Потерпите, дружок!

— Ну, как дела, работяга?.. Вид-то у вас сегодня получше!.. Температура?.. Хм… (температурный лист висит в ногах, на спинке кровати)… Да, конечно, температурка держится!.. Но, поверьте, это вовсе не плохо. Значит, организм борется — борется, и это — главное!

Вот так и дальше. Каждому доброе, ободряющее слово, может быть, и не совсем правдивое, но ведь только это может дать своим больным в данной ситуации доктор Грудзинский.

И тут, в палате безнадежно больных, обреченных людей наступали удивительные минуты… Безобразные железные койки, серые застиранные одежда, изможденные лица — все уходит куда-то, исчезает из действительности, улетучивается, как печаль и тоска с лица доктора Грудзинского. Все забывается; верится во все, пусть самое невероятное, самое несбыточное… Редкие, удивительные минуты. Даже кашель внезапно утихает. Ему верят. На него надеются.

Такие минуты надежды, думаю, испытали многие из лагерников и помнят о них до конца своей жизни, даже если и прожили долго, если удалось выжить и выйти из лагеря…

Между приступами кашля кто-то умоляет о кодеине.

— Кодеин?.. Но ведь его нет в нашей аптеке. Надо подождать новую партию медикаментов… Нет, нет, я постараюсь достать, конечно, пропишу вам… На ночь получите укол, поспите, и кашель полегчает…

В дежурке доктор диктует мне «требование в аптеку» — все ту же ипекакуану, тот же хлористый кальций — все больные знают, что из него образуются «капсулы» для туберкулезных «палочек», и свято верят в это; камфару и кофеин; хлорамин… и, подумав, доктор говорит: «Все».

— Как все?! — взрываюсь я. — А пантопон? Вы же обещали Куликову!

— Пимперле, — говорит доктор Грудзинский грустно, но твердо, — сделаете ему кубик aqua distillate (дистиллированная

вода) — поверьте, действие будет то же самое…

Рот у меня открывается, и вид, должно быть, самый идиотский.

— Доктор, — бормочу я, — как же… я не понимаю…

— Не понимаете, потому что слишком юны… Ничего, потом поймете. Ну, пока. Если что понадобится — пошлите за мной.

…На ночь я делаю Куликову инъекцию — кубик aqua distilate.

Я шепчу ему прерывающимся голосом: «Ну вот, Володя… Теперь вы хорошо поспите…» И Володя Куликов счастливо улыбается: «Спасибо, сестра!» Он спокойно засыпает и спит два-три часа. А то и больше. И без всякого пантопона!..

…Все это было много позже моего первого самостоятельного дежурства, когда я ко многому уже привыкла. К сожалению (или, наоборот, к счастью?), человек ко всему привыкает… Привыкла и я. Привыкла без ужаса прислушиваться к ночному кашлю. Поняла, что ни в одну палату без реальной необходимости заходить не надо, потому что так будет лучше, тише, спокойнее в палате, и кашля меньше. В четвертой палате всегда сидит санитар, и он позовет меня, когда надо.

Привыкла я делать камфару и кофеин умирающим и пользоваться кубиком aqua distilata, если не было ни морфия, ни пантопона… Привыкла писать густым раствором марганца на голени умершего номер его личного дела, перед тем как отправить его в морг. Научилась вводить глюкозу и магнезию и в вены попадала даже лучше других. В общем, постепенно я становилась профессиональной медицинской сестрой, и доктор Грудзинский был весьма доволен и расхваливал меня «на свою голову», как он выразился, когда вдруг пришел приказ перевести меня в хирургию, куда переходить я ни за что не хотела.

Я бегала к Маргарите Львовне, умоляла, чтобы меня оставили в милом, обжитом моем туберкулезном!

Все тут было мило: в терапии под боком дежурила Екатерина Михайловна, которую всегда можно было позвать на помощь, а в спокойные ночи, когда никто не умирал, она забегала ко мне просто поболтать, посидеть перед печуркой, которая топилась у меня в дежурке.

А иногда заходил в гости кто-нибудь из врачей — ведь они жили тут же, под боком, и в «свободное время» вовсе не были похожи на недосягаемые медицинские «божества», при которых медсестры и рот боялись раскрыть… С Аглаей Михайловной мы тоже поладили отлично. В общем, мне нравилось здесь и совсем не хотелось уходить в новую неизвестность.

…Как я умоляла Маргариту Львовну, чтобы меня оставили в туберкулезном! Но почему-то на этот раз не сработало, и настал

день, когда я должна была принять дежурство в хирургическом.

III. Хирургический корпус

…Тоска мне выжгла очи…

Из старого цыганского романса

…«Мошево». Шесть двухэтажных бараков, крепких, рубленых, с большими окнами, с красными железными крышами. Большая зеленая лужайка позади бараков. На лужайке почему-то не было ни деревьев, ни кустов, но трава была хорошая и густая. Дальний угол лужайки был отделен от остальной части высоченными лопухами.

Лужайкой единолично владел баран Васька. Это был наш лабораторный баран. Для чего он был нужен в лаборатории, я не знаю, но целыми днями он слонялся по больничной зеленой лужайке, держа в страхе и смятении души свободных от дежурства сестер, врачей и ходячих больных, осмелившихся вторгнуться в его владение.

То ли от природы он был так бессовестно драчлив, то ли ненавидел всех двуногих существ, но только, чуть завидев на лужайке движущуюся фигуру, Васька, свирепо изогнув шею и выставив вперед свои винтообразные рога, как выпущенная торпеда устремлялся к ней, несясь через всю лужайку.

Спасенье было одно — удирать во все лопатки, пока Васька не наподдал сзади своим мощным боевым оружием. Не бараном бы ему быть, а бизоном в каких-нибудь пампасах!

…Мошево. Наши больничные бараки, или, как их громко величали, «корпуса», были обнесены высокой кирпичной стеной с широким кружевом колючей проволоки наверху, с вышками и прожекторами по углам. Это была «больничная зона», но с одной стороны она граничила с зоной лагерной.

Там был обычный лагерь с лесоповалом и еще какими-то «общими» работами, со столовой и клубом и культурно-воспитательной частью — КВЧ — как по идее и полагается быть в каждом лагпункте, хотя и не везде было.

…Я уже пару месяцев работаю дежурной сестрой в хирургическом отделении Мошевской больницы. Дежурю сутки через сутки.

По вечерам в свободные дни, пока не захолодало, мы с Катериной старались незамеченными пробраться у самой стены в дальний угол лужайки, где за высоченными лопухами можно

было укрыться от бешеного Васьки. Если это удавалось, нас ждал целый вечер блаженных часов, до самого отбоя.

Расстелив на траве одеяло, можно было валяться, читать, болтать о чем угодно, смотреть в розовое закатное небо… Если только природа и Васька были милостивы.

В эти дни мы отсыпались до вечера после круглосуточного дежурства, а когда вечер проходил, снова спали до утра перед следующим дежурством. На «жизнь» только и оставались выпадающие через день эти несколько вечерних часов на закате, окрашенных тихой задушевной беседой.

Впрочем, иногда у нас на полянке бывали и «гости», и тогда бывало достаточно и шуток, и смеха.

Однажды, еще летом, мы с Катериной как-то пробрались на чердак ее терапевтического корпуса, прекрасный, светлый чердак, посыпанный желтым песочком. Он нас просто очаровал! Не долго думая, мы перетащили сюда свои матрасы из комнатушки, где жили медсестры и единственная в нашей больнице докторша — очаровательная и добрая Ариадна Николаевна. Комнатушка медсестер помещалась там же, в терапии, с дверью в коридор, но жили тесно, на «вагонках» — двухэтажных нарах, было жарко, а главное — шумно. Сестер было человек 30. Ссоры и скандалы бывали неизбежно, как и во всяком общежитии. Хотя мы и привыкли спать «мертвым сном» после дежурства, но все же…

Какая тишина тут, на чердаке!.. Как много воздуха!.. Мы облюбовали местечко у полукруглого слухового окна без стекол; разложили свои матрасы, а простынями на веревочках отгородились от всего остального чердака и от всего мира…

Получилась прелестная маленькая кабинка!

…Как хорошо было утром проснуться под доносящиеся издалека звуки мощной радиолы, которую КВЧ никогда не забывала включить в лагерной зоне для поднятия бодрости духа и хорошего настроения у «зеков» перед разводом на общие работы. Пластинок, правда, было немного, всего несколько штук, а когда они все прокручивались, цикл начинался снова. Конечно, мы все их знали наизусть, но все равно…

Помедлить несколько минут — хотя бы две! Всем телом ощутить блаженный покой и прохладу простыни, ловя глазами первый лучик солнца, робко, косячком протиснувшийся в наше слуховое оконце… Чудные мгновения…

«…А мы сидим с тобой, сидим, как птенчики», — доносится из радиолы. «…А мы грызем с тобой, грызем леденчики». Звуки рассыпаются звоном колокольчиков под дугой, и — ух! — музыкальный ухаб так и подбрасывает всплеск какой-то необъяснимой радости — ведь ты все же живешь несмотря ни на

что!..

Этих «птенчиков», кажется из «Холопки», мы с Катериной особенно полюбили и никогда не пропускали. Впрочем, Катерина очень любила еще и другую пластинку — совсем грустную и более подходящую к нашему странному существованию. Это был старинный цыганский романс «Черная шаль». И в нем были слова: «В душе моей печаль, тоска мне выжгла очи…»

При всем относительном благополучии нашей нынешней лагерной жизни при больнице тоска острием впивалась в самое сердце.

— …Тоска мне выжгла очи… Да… тоска мне выжгла очи… — повторяла Катерина, закинув руки за голову, глядя в потолочные балки, где в лучах восходящего солнца золотились тоненькие паутинки…

Но вот набор пластинок заканчивался и начинался по новой. И снова «…звенят, звенят бубенчики…»

— Женька, вставать! — спохватывается Катерина и вскакивает с матраса. — Ну-ка, живо!

Надо бежать завтракать и принимать дежурство.

Утро, длившееся несколько прекрасных минут, кончено. Открывается дверь в следующий день.

Но как они были чудесны, эти несколько минут!

Увы, это продолжалось недолго! Вслед за нами потянулись на чердак и другие компании, и вскоре весь чердак запестрел занавесочками или ширмами из одеял, и наконец нагрянули охранники и вытурили всех, а на дверях чердака повесили огромный замок. Но мы особенно уже и не жалели. Когда чердак стал общежитием, он потерял свое очарование.

…Мы с Екатериной, как и большинство сестер в Мошевской больнице, не были «профессиональными» медицинскими сестрами, поэтому и в больных мы видели обыкновенных страждущих людей. Никогда мы не называли их «больной» или по фамилии, но всегда по имени. Со многими, долго лежавшими, успевали познакомиться и даже подружиться.

Были мы достаточно добросовестны — старались сделать все назначения предельно внимательно, дабы не перепутать чего-нибудь, и конечно, все-таки иногда путали, и это было ужасно — потом расскажу и об этом! Врачи это понимали и, несмотря на наши оплошности, ценили нас, как медсестер, но «дистанционный тон» на работе держали исправно, все как один.

Врач на работе — непререкаемый и для сестер, и для больных авторитет, и потому он держится с сестрами строго официально. Разве что ночью, в дежурке, совершив положенный обход, задержится дежурный врач, и зашуршит невзначай среди ночной

тиши чуть слышный шепот — это болтают дежурный врач и дежурная сестра — о том, о сем. Что слышно?.. Что пишут родные?.. И когда же, наконец, начнут отпускать пересидевших?!

Зато в дни «недежурств», в наши милые вечерние часы на Васькиной полянке, а зимой где-нибудь в лаборатории или вовсе в коридоре, у лестничной клетки, врачи превращались в просто добрых знакомых, перебрасывались пустяковыми шутками, необязательно слишком умными, рассказывали истории «из прошлой жизни» или взапуски играли в «литературные» игры, вроде тех, которыми интеллигентные «зеки» развлекаются на пересылках на долгих этапах.

Сначала мне трудно было привыкнуть к такому «двуличию» врачей, и их тон на работе меня коробил, или задевал, во всяком случае. Но потом я привыкла и поняла, что непререкаемый авторитет врача, его «божественность» имеет свой смысл. Чем больше больной верит во врача, тем у него больше шансов выздороветь. Чем больше сестра боится врача, тем добросовестней и аккуратней будет работать, если не хватает у нее собственной добросовестности!..

Однако единственной отраслью практической медицины, в которую я поверила и которая заслужила мое безоговорочное признание, стала хирургия. И работа в хирургическом отделении показалась мне даже интересной.

Но все это пришло не сразу, много не сразу!

…Мои первые неудачи и промахи в процессе овладения обязанностями палатной медсестры начались еще до хирургического корпуса. Я уже работала в туберкулезном, но иногда меня посылали поддежурить в какой-нибудь другой корпус.

Был у нас специальный корпус «доходяг». Таких же безнадежных, как и наши туберкулезники. Это был корпус дистрофиков — не помню, чтобы хоть кто-нибудь из них поправился и вышел из больницы. Я не работала в этом корпусе, но мне приходилось несколько раз заменять там сестру, и это было ужасно.

Болезнь, с которой лежали эти тощие, умирающие люди, носила звучное и даже красивое названье — пелагра. Ее признаками считалось полное истощение — дистрофия и темные твердые «кожаные» пятна на коленях, на локтях, на ягодицах.

Кроме звучного названия болезни все остальное было уродливо и отвратительно. Больных было слишком много даже для двух этажей отдельного корпуса, и это был единственный корпус, где в палатах была «вагонка» вместо кроватей, и те, кто был еще в силах залезть, размещались на верхних нарах.

В палатах, больше похожих на тюремные камеры, не хватало воздуха. Открывать форточки не давали сами больные, те, кто лежал у окна. Вместе с тем зловоние было нестерпимым. К дистрофии неизбежно присоединялись поносы, и в каждой палате стояло деревянное кресло с дырой в сиденье, под которой стояло ведро. Санитары не успевали выносить ведра и подкладывать судна тем, которые уже не в состоянии были добраться до кресла. Таков был дистрофический, или «пелагрозный», корпус.

К счастью, мне не пришлось в нем работать, но одно мое дежурство там ознаменовалась трагикомическим происшествием, запомнившимся мне на всю жизнь. Правда, сейчас, в свете прошедших десятилетий, оно вспоминается скорей в комических тонах.

Как я уже упомянула, в палатах этого корпуса была вагонка — сплошные двухэтажные нары. Я вхожу в палату измерять температуру. Хотя заранее известно, что больше 35 с десятыми ни у кого не бывает, но так уж положено: больные должны чувствовать себя больными и верить в магические таинства медицины, в том числе и в таинство измерения температуры.

Термометры, штук пять-шесть, помещаются в пол-литровой стеклянной баночке, где их хвостики обеззараживаются, купаясь в растворе хлорамина. Пока больные держат термометры, я ставлю баночку на краешек чьих-то нар, а сама болтаю с больными, рассказываю какие-то пустяки, как обычно стараюсь подбодрить и развеселить — все-таки новая незнакомая сестра для них тоже событие. Вся палата принимает участие в разговоре.

Один за другим забираю я градусники из подмышек больных и водворяю их в хлорамин. Вот и последний. Но тут больной на нарах делает какое-то случайное резкое движение и… баночка с хлорамином и термометрами летит с высоты верхних нар — на пол!.. Термометры разлетаются по всей палате. Вдребезги! Все до одного!..

Вся палата замирает от ужаса, уставившись на мелкие осколки и весело прыгающие по всем полу серебряные шарики ртути. Из опрокинутой баночки медленно течет хлораминовая лужица. Я чувствую, как немеют мои ноги…

Сейчас, конечно, смешно. Пять разбитых термометров — подумаешь, проблема! Но тогда это было больше чем проблема. Это было бедствие! Их негде было купить… Их где-то должен будет достать сам Неймарк! Да и можно ли вообще их будет достать??. А до Неймарка должна была узнать старшая сестра, потом дежурный врач, потом заведующий отделением, потом…

У каждого в жизни бывают мгновения, когда ему не фигурально, а совершенно реально «не хочется жить»! Лучше

исчезнуть мгновенно и навсегда. Ничего не видеть, ничего не знать… Это был один из таких моментов… Ох, этот ужас непоправимого!

В каждой работе, в каждой деятельности это может случиться. В медицине это особенно страшно. И все же мои непоправимо разбитые градусники — какими невинными «цветочками» они оказались! Позже мне пришлось отведать и «ягодок»!

…Совершенно не помню, как меня бранили, но что бранили, знаю наверное. Грозили списать в зону, что-то и как-то докладывали Неймарку… Все это, конечно, было, но следа в памяти не оставило. Вероятно, благодаря вмешательству Маргариты Львовны меня в зону все-таки не списали.

IV. «И на старуху бывает проруха»

Хирургический корпус был тоже двухэтажным, как и все остальные. Вверху помещалась «чистая хирургия», внизу — гнойная. Днем в каждом отделении дежурила своя сестра, а на ночь оставалась одна общая, которая, надев специальный «гнойный» халат, должна была время от времени спускаться вниз и смотреть, все ли в порядке у «гнойных».

Общая была и старшая сестра — Варвара Сергеевна — чрезвычайно важная величественная дама с прекрасными пышными бледно-золотистыми волосами, греческим профилем и двумя солидными подбородками. Ее побаивались санитары и больные, медсестры и даже врачи, хотя последние тщательно старались скрыть это. Она — одна единственная изо всех сестер — имела собственную кабинку тут же, в хирургическом корпусе, помещавшуюся рядом с нашим автоклавом.

Ах, как не любили мы его загружать под неусыпным и строгим взором Варвары Сергеевны!

Возраста она была неопределенного. Но при всей ее солидности с некоторой натяжкой его можно было отнести к «среднему». Престиж ее был непререкаем. Возможно, этому способствовала и ее фамилия — Ахматова. По ее словам, она была какой-то дальней родственницей «той самой» Ахматовой.

Варвара Сергеевна сразу же невзлюбила меня, и доставалось мне от нее за любой промах, а их, конечно, особенно в первое время, бывало у меня немало — что там разбитые градусники в пелагрозном отделении! Были и распаянные шприцы, и поломанные иголки, и потерянные мандрены и, даже страшно сказать, разбитый аппарат Боброва, за которым меня послали в другой корпус, да еще и перед самой операцией. Понятно, что я

торопилась и бежала… В общем, первое время жилось мне в хирургии несладко.

Конечно, хирургический корпус ни в какое сравнение с туберкулезным идти не мог. Это было настоящее хирургическое отделение с отличной операционной и рентгеновским аппаратом. В палатах стояли хорошие никелированные кровати. Целое, не застиранное белье, теплые одеяла. Имелись раскладные кресла-коляски, на которых возили больных.

Здесь было даже электричество, которого не было больше нигде — даже в терапии! И все сияло стерильной чистотой под бдительным оком Варвары Сергеевны!

Больные здесь не умирали — разве что в исключительных обстоятельствах, когда их доставляли слишком поздно или лапаротомия — пробная операция — показывала, что настоящая операция уже ни к чему. Больные поправлялись, после операции их подкармливали, насколько было возможно, и не спешили отправлять в зону. (Спасибо доктору Неймарку!)

Многих подкармливали и до операции; некоторых, не срочных, держали до операции по две — три недели и даже по месяцу.

В общем, хирургический был на особом положении, под особым вниманием энкавэдэшного начальства.

Сюда, в центральную больницу Усольлага, привозили больных изо всех лагерных пунктов, со всех близких и дальних концов. Привозили «срочных» — с «острым животом», с прободением язвы, с заворотом кишок; немало было и лесоповальных травм — раздробленные руки и ноги, перебитые позвоночники — наиболее частая «лесная травма», с которой спасти человека было почти невозможно. Привозили и «плановых» — с аппендицитами, грыжами, кистами.

Бывали у нас и «вольные» пациенты — какое-нибудь лагерное начальство, или кто-либо из его семей, или стрелки из вольнонаемной охраны.

Они помещались у нас в отдельных палатах, а после операции, как только становились на ноги, переводились в специальный корпус «вольнонаемных» — был у нас и такой, но в нем не было операционной — оперировали у нас.

Главным хирургом был старый доктор Андриевский, тот самый, который «принимал» меня в медсестры. В жизнь отделения он не вмешивался, по палатам не ходил, больных, если не было ничего «чрезвычайного» и его не вызывали, не смотрел. Но все сложные операции делал сам, и как говорили врачи, делал блестяще.

Во время операции он был всегда спокоен, нетороплив, но

одна из палатных сестер бывала специально приставлена к нему, чтобы все время мягкими тампонами вытирать капли пота, непрерывно струившиеся с его лба. Одно время эта обязанность лежала на мне, и я с ужасом ждала, что не успею подхватить ползущие капли, а они мгновенно покрывали весь лоб и ползли вниз все разом — и вот-вот попадут в глаза Андриевского или — еще хуже — прямо в разрезанный живот оперируемого!

Потом, слава Богу, с меня эту обязанность сняли и я стала кое в чем помогать при операциях. Это было позже, когда Варвара Сергеевна притерпелась ко мне и отношения у нас стали сносными.

А после одного, чуть было не кончившегося трагически, случая стали и совсем нормальными. Позже я расскажу об этом.

Формально заведовал отделением молодой хирург, доктор Фром, привезенный сюда из «советской зоны» Польши перед самой войной. Он так и не привык к случившемуся и не понимал своего подневольного положения. Он все ждал, что, как только прогонят немцев, все «недоразумения» рассеятся и он вернется в Варшаву, где его ждали незаконченные еще до ареста дела, а главное, почти готовая докторская диссертация.

Говорил он по-русски сносно, но с сильным польским акцентом. Сестер называл «се́стра», а Варвару Сергеевну величал «панни се́стра», и спорить с ней никогда не решался. Был он необыкновенно быстрым, подвижным и впечатлительным.

Обычно он ассистировал Андриевскому, но несложные операции, такие как грыжи, аппендициты, делал сам, и тогда ему ассистировал доктор Томингас, ведавший нашими психиатрическими больными. (И такие у нас были!)

Вскоре после моего появления в хирургии решительный доктор Фром чуть было не оттяпал мне половину пальца, из-за которого я попала в Мошево. Панариций мой давно прошел, но из ранки понемножку продолжала выделяться какая-то дрянь. Я носила резиновый напальчник, и работать он мне в общем не мешал, хотя это и была правая рука.

— Он вам только мешайт, се́стра! — убеждал меня доктор Фром. — Уберем вот так — будет чисто, кра́сиво и аккуратно!

Но мне не казалось, что будет особенно красиво и аккуратно, и я заупрямилась: «Резать я не дам. Хотите — списывайте в зону!»

Варвара Сергеевна при этом бросала на меня исподтишка ехидно-злорадные взгляды — авось да спишут!

Но в зону меня не списали, а палец мой, хоть и несколько поковерканный и похудевший от постоянного напальчника с тугой резинкой, все же остался при мне, что не только симпатичней култышки, но, думаю, и удобнее. Болел он еще с

год, а потом сам собою, наконец, зажил окончательно.

…Господи, сколько грехов осталось за мной в хирургическом отделении! И главное — ведь всегда все хотелось сделать как можно лучше, безукоризненно! Тем не менее почти ни одного дежурства не проходило без какого-нибудь прискорбного происшествия: то падал на пол мандрен (проволочка для прочистки иглы) и исчезал, как по волшебству; то оказывалось, что в аптеке недополучены какие-то медикаменты; то не собрана назначенная на анализ моча; то больному, назначенному на рентген желудка, дан завтрак. И по поводу всего этого утром неизменно следовала строгая отповедь Варвары Сергеевны. Этим частенько заканчивалось мое круглосуточное дежурство.

Когда в первый раз я спохватилась, что маленький стерилизатор со шприцом кипит слишком долго, и, открыв крышку, убедилась, что в нем нет ни капли воды, я в ужасе бросилась к умывальнику и подставила стерилизатор под струю воды!

Хуже придумать, конечно, было трудно! Шприц лопнул с громким треском… «Спасать» уже было нечего — на донышке стерилизатора отдельно валялись потемневший стеклянный цилиндрик и отдельно — металлические ободочки, и тускло поблескивала лужица олова (или чего-то другого!)… Ужасные минуты…

Больше я уже не подставляла под холодную струю раскаленный шприц. Но все это было еще не самое худшее…

Однажды во время операции, несложного аппендицита, мне велели качать грушу аппарата Боброва (прибор для внутривенного вливания). Больному почему-то надо было вводить физиологический раствор. Дело несложное, и мне не раз уже приходилось это делать. Игла была уже введена в предплечье больного, и мое дело было только качать грушу ну и следить, конечно, чтобы в стеклянном контрольном шарике аппарата не появился пузырек воздуха.

Я качала добросовестно, равномерно, как меня учили. Сначала не было нужды следить за контрольным шариком — это нужно было в конце, когда раствора оставалось мало, и я с интересом следила за операцией. Груда розовых трепещущих кишок, вынутых из разрезанного живота, всегда поражала меня — казалось просто невероятным, что их все можно будет вложить обратно на место, что они не перепутаются и лягут в нужном порядке, не порвутся, и вообще, что они снова поместятся в живот — такая их была масса! (Но, представьте, помещались!)

…Я смотрела, как доктор копался в кишках больного, и вовсе забыла, что смотреть мне надо было не на кишки — а на

контрольный шарик!.. А он уже давно был не то что с пузырьком воздуха, но вовсе пустой!.. Раствор кончился, а я знай себе качаю да качаю! Накачиваю больного не физраствором, а просто воздухом!

В первый момент мне стало дурно… Все могло кончиться очень плохо, но, к счастью, обошлось.

Ах, теперь это кажется смешно, но тогда!.. Больной весь хрустел под руками, как будто у него вместо кожи была полиэтиленовая пленка — хрустящая пленка! Хрустели руки, хрустела грудь, хрустела спина!..

Он не умер, не заболел и даже поправился очень скоро, но хрустел даже тогда, когда уже ходил по палате. Вся палата, включая самого больного, хохотала, но мне было не до смеха… Не знаю, насколько это было опасно и сказали ли об этом Андриевскому, доложили ли Неймарку? Думаю, что нет, иначе быть бы мне «списанной» в зону.

Другой случай, после которого резко изменилось ко мне отношение Варвары Сергеевны, был более серьезным.

В одной из отдельных палат лежал у нас вольнонаемный больной. Был он старик, хотя и не глубокий — отец кого-то из лагерной администрации. У него был рак желудка. Доставили его поздно и лапаротомия показала, что оперировать нет ни смысла, ни возможности. Он лежал после лапоратомии, и считали, что может еще протянуть месяц-другой. На днях его должны были перевести в «вольнонаемный» корпус.

Старик был славный, приветливый, и мы его жалели и старались ему помочь, чем могли.

На ночь старику назначили инъекции атропина. Атропин, как и все venenum (сильнодействующие), хранился в шкафчике под замком, ключ от которого был у старшей сестры.

С вечера Варвара Сергеевна выдавала строго по назначению ампулы с морфием, пантопоном, атропином и прочими сильнодействующими. Но иногда в аптеке этих препаратов в ампулах не было, и тогда наша аптека готовила их сама — стерилизовала пузырьки и отпускала в них в отделения по 10–20 граммов. Так было и в этот раз — раствор атропина был в пузырьке. Его мне оставила на ночь Варвара Сергеевна, строго велев не использовать больше одного кубика. Хотя я и сама к тому времени хорошо понимала, как осторожно надо обращаться с venenum.

Часов в 10 вечера я закипятила шприц, набрала кубик атропина и сделала нашему старичку укол: «Ну, а теперь спать! Спокойной ночи, дедушка».

Не прошло и получаса, как меня позвал санитар: «Идите,

сестра, скорее!»

Бегу в палату, и сердце у меня падает: бедный старик стоит на полу на четвереньках, бормочет что-то невнятное, потом ползет по кругу, и шея его как-то странно изгибается на сторону, как у пристяжной в тройке!

Мы с санитаром подхватываем его, втаскиваем на кровать. «Дедушка, что с вами?» Он ничего не отвечает, его начинает рвать…

…Тут я бегу в дежурку, хватаю пузырек с атропином… Боже мой! Что же я ввела ему??. На этикетке стоит «Атропин 0,1 %».

Так и есть! 0,1 %! Но это же глазной атропин! Тот, что вводится под кожу, — 0,01 % — в десять раз слабее. Это же получается, все равно как если бы я закатила ему десять кубиков атропина!..

Сломя голову я понеслась вниз по лестнице в кабинку Варвары Сергеевны — слава Богу, что она здесь неподалеку!

Мы обложили старика грелками, раз за разом вводили кофеин и камфару. Глаз с него не спускали ни на минуту.

…Старик пришел в сознание. Пульс постепенно вернулся в норму…

Звать дежурного врача или нет?.. Говорить или нет?.. Конечно, я тоже была виновата: сестра обязана смотреть во всех случаях — что она набирает в шприц. Но Варвара Сергеевна? Ведь это она вынула из шкафчика с venenum атропин и оставила для подкожной инъекции. Наша безупречная, всезнающая, безукоризненная хозяйка отделения — старшая сестра В. С. Ахматова…

Говорить дежурному врачу или нет? Первый раз я видела ее в смятении, с растерянно бегающими глазами, с красными пятнами на щеках, потерявшую всю важность, выправку и осанку.

Мы решили подождать еще немного. Если обойдется — не говорить. Ведь мы приняли все меры. Раз десять поднималась Варвара Сергеевна наверх, а я сидела у старика до утра. Дежурный врач на обходе зашел к старику. Тот спокойно спал… Мы никому не сказали…

V. Привычное чувство голода…

Конечно, все мы, и больные, и медперсонал, жили голодновато. Это не был настоящий голод — но было постоянное недоедание, постоянное «чувство голода». До «куриной слепоты», как это было на лесоповале, было далеко. Этому способствовала, прежде всего, 500-граммовая пайка хлеба.

Ах, эта пайка!.. В день дежурства мы брали ее с собой в

отделение и прятали в дежурке, давая себе зарок — до обеда к ней не прикасаться. Утренний завтрак — жидкую кашицу — мы съедали без хлеба. Но часов в 11–12 до того нестерпимо начинало хотеться есть, что при всяком удобном случае, когда в дежурке никого не было, от заветной пайки отщипывался кусочек — малюсенький. Удержаться не было силы — отламывался уголок, потом другой, затем корочка…

Кончалось всегда одним и тем же — к обеду от пайки не оставалось ничего или крошечный огрызок…

Обедали мы в столовой рядом с кухней. Разнообразием меню не отличалось: суп-баланда, тот же, что и у больных, и тот же черпак — ни ложкой больше. На второе у больных все-таки бывали какие-то запеканки, какие-то пирожки, хоть и микроскопические! У нас — кусочек соленой горбуши, который можно было проглотить одним махом, не жуя. За ужином такая же размазня, как и на завтрак. Не жирно, но все же 500 грамм хлеба и регулярный приварок — жить можно. Особенно при круглосуточных дежурствах.

В свободный, «недежурный» день — о, какой «мощный пищевой кулак», как выражалась Катерина, мы имели! Это устраивалось так: сдав дежурство, мы съедали свою утреннюю кашу, а пайку хлеба прятали под подушку и тут же заваливались спать. На дежурстве нам редко удавалось вздремнуть, только иногда — минут на 15 — слишком много было больных, слишком много назначений и в терапии и в хирургии слишком мало термометров. Температуру приходилось начинать измерять часов с пяти утра — только-только успеешь управиться к передаче дежурства. Поэтому днем, после дежурства, мы спали как убитые, несмотря на шум вокруг нас, и вставали только к ужину. Но зато к какому!

За ужином мы имели баланду и рыбу от обеда — нам оставляли. Каша от ужина и нетронутая 500-граммовая пайка! Поистине — «пищевой кулак»!..

Вот почему вечерние часы после ужина — особенно летом, на Васькиной полянке, если удавалось благополучно проскочить мимо этого бандита, были часами блаженства, полного отдыха и переваривания обильной пищи.

Иногда мы шли дальше: оставляли себе одну пайку на двоих, а другую выменивали на котелок картошки у кухонных работников. Они тоже не были сыты, но котелок картошки все же был в их возможностях. Был у меня такой солдатский котелок, в форме боба, с крышкой. За пайку мы получали полный котелок белой, душистой, горячей, рассыпчатой картошки! Мы потихонечку проносили это на свое заветное местечко за

лопухами и… О, блаженство!.. До чего же она была вкусна, ароматна, как таяла во рту!.. Хотя в ней и не было никакого масла или жира — все равно таяла.

Иногда мы фантазировали: «…А если бы еще соленый огурчик!.. Да полить подсолнечным маслом!.. Или кусочек жирненькой селедки!» Но в общем — и так было хорошо!

Когда картошка кончалась — увы, так быстро, — у нас с Катериной начинались неизбежные пререкания: каждый отодвигал от своей половины кусок картофелины и уверял, что это — не его. Последний кусочек много раз переходил из одной половины котелка в другую, пока, наконец, не бывало достигнуто какое-то соглашение.

В «чистой» хирургии было две палаты глазных больных доктора Мурадханова. В этих палатах лежали больные с глаукомой, после удаления катаракты или еще каких-нибудь операций на глазах. Были и совсем слепые, или почти слепые, но их почему-то не «актировали». То ли болезни считались излечимыми, то ли статьи не подходили…

Конечно, условия у них были много лучше, чем у туберкулезников, и питание было получше, и все же смотреть на эти головы с забинтованными глазами было просто невыносимо. Они почти всегда задавали один и тот же вопрос, когда слышали, что в палату входит сестра: «Сестрица, который час?..» Время для них остановилось, как у меня, когда я сидела на Лубянке… Лагерь и слепота — не слишком ли много, Господи?..

Своих больных доктор Мурадханов мог немного подкармливать — ведь по совместительству он был, как я уже говорила, диетврачом — бог и властитель кухни! Тот, на кого простиралось его благоволение, мог надеяться на какую-то, хоть маленькую, поддержку, и прежде всего ее получали его больные.

У доктора была лагерная «жена» — наша сестра-хозяйка из хирургии Сусанна — грузинка необычайной красоты. Связаны они были давно и прочно, и все об этом знали. Им покровительствовала Варвара Сергеевна, а начальство смотрело сквозь пальцы — офтальмолог Мурадханов, хирург-виртуоз, и в лагере продолжал оставаться «величиной».

Ну а вне своей хирургии, это был просто «добрый человек», а при ближайшем знакомстве оказался и душевным, и симпатичным.

Будучи человеком восточным, Алибей Асадулаевич не упускал случая приволокнуться за любой молоденькой сестрой или симпатичной больной, где-нибудь в темном уголке прижать, ущипнуть за мягкое место. Сцены ревности, которые ему устраивала Сусанна, его мало трогали — он просто не обращал

на них внимания. Ей он оставался «верен» всегда.

Когда я появилась в хирургии, внимание его немедленно обратилось на меня. Но потом как-то все обошлось, и мы просто подружились все втроем — я, Катерина и доктор Мурадханов.

Оказалось, что у него кроме мошевской есть еще далекая домашняя жизнь. Вернее — была. Дома у него остался маленький сынишка, лет трех, теперь уже восьми, — мальчик Сеавуш. На фотографиях он выглядел этаким орленком, с живыми черными глазами, крутым лобиком и гордо посаженной головой. Алибей Асадулаевич рассказывал, как он, неожиданно для самого себя, «увлекся» своим сыном и только о нем и тоскует все эти годы, и только его видит во сне…

Вскоре мы узнали, что этот красивый, но не слишком эрудированный и говорящий с сильным восточным акцентом человек может быть добрым и деликатным товарищем.

В глазном кабинете был прибор — офтальмоскоп, служащий для исследования глазного дна. По виду он был похож на микроскоп, но, когда его включали в электросеть, из его объектива выходил тонкий яркий лучик света — его-то и направляли в глаз, освещая глазное дно.

Глазной кабинет убирался только дежурной сестрой. Санитары туда не заходили, и ключ от него, кроме врачебного, конечно, был только у сестры. На уборку кабинета время урвать можно было обычно только ночью, после того, как переделаны все назначения, подклеены анализы в истории болезней, выписаны лекарства, успокоились послеоперационные больные, заснули те, кому операция предстоит завтра.

Тишина воцаряется в корпусе, выключаются лампочки в коридоре — самые приятные часы, если нет слишком тяжелых больных, у которых надо сидеть, чтобы не прозевать момента, когда надо послать за дежурным врачом.

Если таких больных нет, можно забраться в кресло-коляску, что стоит у окна, и подремать полчасика, если санитар надежный и на него можно положится, что не заснет, пока отдыхаешь ты. Потом и ему можно дать подремать чуток.

К сожалению, далеко не каждую ночь выпадал такой спокойный часок. Обычно плохо спят послеоперационные. То у них начинается рвота; то просто зовут — болит, не спится, хочется пить… То кто-нибудь рожает (у нас была и родильная палата!), то привезли больного — надо принимать, а то и срочно готовить к операции. Тогда начинается предоперационная суета, поднимается Варвара Сергеевна, вызывается операционная сестра, вызываются врачи, запускается автоклав и… пошло на весь остаток ночи…

Но в «тихий час» надо было не забыть убрать и глазной кабинет — убрать тщательно, чтобы все блестело, чтобы каждый пузыречек был протерт и поставлен на свое место, в свою «ячейку», чтобы пипетки, пинцеты, бужи — все было выкипячено, чтобы на докторском столе ни пылинки, ни соринки и каждая бумажка на своем месте, а на кушетке чтобы была застлана свежая, без единого пятнышка, простыня, а на вешалке висел бы свежий докторский халат — вот как вышколил сестер доктор Мурадханов!

Впрочем, впоследствии все это становится профессиональной привычкой и делается само собой.

…Я открываю ключом глазной кабинет и привычно протягиваю руку к выключателю… Но рука застывает в воздухе. В дальнем углу, там, на тумбочке, застланной белой салфеткой, стоит офтальмоскоп и я вижу… или это мне мерещится?!.. Офтальмоскоп наклонен вниз почти вертикально, и из объектива бьет пучок света, а под этим пучком — это я уже рассматриваю с замиранием сердца, все еще не веря, что это не мираж, не галлюцинация, — тарелка, а на ней две булочки и два куска картофельной запеканки!..

Я послала санитара с запиской в терапевтический корпус: «Катеринка, приходи немедленно — Бог есть!»

Впоследствии мои записки были значительно короче, всего из нескольких букв: «К! Б Е!»

…Пир бывал, конечно, не каждое дежурство — либо не было подходящего провианта, либо он должен был быть употреблен по другому назначению, но если офтальмоскоп «работал» — это было большим праздником для нас: под утро особенно хотелось есть, и Катерина отлично понимала содержание записки: «Катерина — Бог есть!»

Я тщательно запирала кабинет и с волнением ждала, пока освободится и прибежит Катерина… Как это было замечательно, как вовремя!

С доктором Мурадхановым ни разу не было сказано ни одного слова об этих дарах, о ночных пиршествах. Благодарили разве что взглядом. Но он все хорошо понимал, знал, что я всегда зову Екатерину, и провизии всегда было припасено на двоих. Это было безмолвное понимание, нечто вроде телепатии…

Был у нас в больнице единственный медбрат. Это был больной, стараниями Любочки Н. оставленный при больнице в качестве медбрата. В прежней жизни у него была неподходящая для лагерей профессия — то ли он был учителем, то ли адвокатом, не помню. В лагере ему не повезло, все время он оказывался на общих работах и постепенно превращался в

доходягу. Но наконец-то повезло — попал в центральную больницу, где и дошел бы, несомненно, в нашем пелагрозном корпусе, если бы Любочка Н. не устроила его медбратом.

В больнице, уже освоившись с новыми обязанностями, он все же начал поправляться, но — увы — с психикой у него было явно неладно. Он добросовестно делал все назначения для больных, но каждую свободную минуту записывал в записную книжечку (и где он только раздобыл ее?) рецепты разных блюд, выспрашивая их у больных, у сестер, у врачей и санитаров. Кулинарные рецепты!..

Говорить он мог только об одном: о необыкновенных кушаньях — о тушеной утке с яблоками; о пожарских котлетах под белым соусом, об антрекотах с анчоусами…

С термометрами в одной руке, с книжечкой в другой, высокий, худой, в туго подпоясанном сером больничном халате, с высоко поднятой головой, с горящими каким-то фанатическим блеском глазами, стремительно шагал он по больничным коридорам, похожий на Дон-Кихота. Казалось, он спешил к некоей таинственной цели, одержимый видениями и миражами… Вероятно, видениями редкостной и обильной еды, которую он обретет там, «на воле»…

Бедный Никишка! Так мы его звали за глаза. Дожил ли он до освобождения? Стушил ли хоть одну утку?.. Вряд ли…

Я так много говорю о еде, потому что она, вернее ее нехватка, составляла существенную часть нашего бытия, и не думать о ней было невозможно…

VI. Эта странная другая жизнь

Настроение лагерной интеллигенции во время жизни моей в Мошеве было совершенно не похоже на то, которое преобладало среди политических заключенных в начале моего лагерного пути — в Пиндушах и Медвежке.

Тогда люди, впервые прибывавшие в лагерь после Лубянки или Бутырок, были подавлены своей судьбой, своим несчастьем. Поэтому в лагерях все говорили исключительно о прошлом, о семье или еще чаще — о деле, аресте, допросах — все это довлело, было главным. Ведь это были 36–37-е годы, и большинство интеллигенции были еще «новенькими».

Именно в эти годы «благосклонное» внимание НКВД обратилось на рядовую интеллигенцию. До этого шли годы «раскулачивания»; до начала «вредительских» процессов интеллигенции в лагерях было сравнительно немного. Но с 35-го года интеллигенция пошла в лагеря сплошным потоком и быстро стала их постоянным и существенным контингентом.

Здесь, в Мошеве, хотя темы прошлого продолжали волновать и служить предметом задушевных разговоров, но они перестали быть главными, основными, животрепещущими.

В Мошеве в основном были люди, давно притерпевшиеся к своей судьбе. Прошлое постепенно стало для них как сон, как нереальность. У многих и семьи за это время распались — ведь столько лет прошло!..

А лагерь стал жизнью. Странной, не слишком нормальной, но все же… каждодневной жизнью.

Вот как у Солженицынского «Ивана Денисовича»: «Жизнь шла день за днем (страшно сказать — годы!), а он — Иван Денисович — бывал счастлив, если удавалось «закосить» лишнюю миску баланды, а в работе, о которой и не слышал никогда раньше — находил удовлетворение и занятие весьма полезное и, хотя и не понимал этого вполне четко, продолжал себя чувствовать человеком».

Вероятно, для лагерной интеллигенции это было сложней, но в общем — то же самое. Мошевские обитатели притерпелись и к лагерному быту, и в работе находили смысл и удовлетворение. Конечно, Мошево было исключением, далеко не «рядовым» лагерем. Нам крупно повезло. И все это понимали. Притерпелись к почти постоянному чувству голода. Ведь время было военное — все недоедали. У многих родные — «вольные беженцы» были в эвакуации, неизвестно где, неизвестно, как и чем питались…

Многие досиживали свои сроки или пересиживали, так как из лагерей в связи с войной не выпускали. Но чем дальше продвигалась война, чем ясней становилось приближение победы (многое теперь передавалось уже по радио в рабочей зоне, и мы, конечно, слушали тоже), тем крепче верилось всем, что с окончанием войны, с победой придет великая перемена, великая амнистия, которая освободит всех.

И то, что оставались без ответа наши бесчисленные заявления с просьбой послать на фронт, объяснялось тем, что тогда «наверху» было не до нас, некогда разбираться, думать, решать… Но уж после победы наступит же время, когда, наконец, вспомнят о нас, тысячах еще живых, ждущих и надеющихся…

Тогда мы не знали, что ошибаемся на целое десятилетие и что только смерть «великого кормчего» изменит наши судьбы… Не думали, что впереди еще Сибирь, Казахстан или Караганда, товарные эшелоны и пересыльные тюрьмы.

Вот почему жизнь в Мошеве была «настоящей», хоть и в кавычках. Наш больничный мирок был ограничен каменной стеной. Но это был мирок с его профессиональными интересами, с дружбой и ссорами, интригами и завистью, с любовью и

ревностью; с книгами, которые иногда удавалось доставать и которые долго ходили по рукам и зачитывались до дыр; с редкими посещениями (строем и под конвоем!) лагерного клуба в рабочей зоне, до которой было всего-то полсотни шагов, от проходной одной зоны до проходной другой, где устраивался самодеятельный концерт или крутилось кино.

…Я не скажу, чтобы моя медицинская работа в Мошеве меня особенно увлекла. Несмотря на то что появился какой-то «профессионально-спортивный» интерес, как мы называли это с Катериной, — ловко попасть в «трудную» вену или удачно вывести мочу катетером и т. п., — все же огорчений всегда бывало больше, чем радостей, и никогда я к медицине не «пристрастилась», хотя работать мне в этой области пришлось многие годы и после Мошева. Нет, не пристрастилась.

Но что повезло мне благодаря медицине — это безо всякого сомнения.

VII. Дорогая моя Катеринушка

Тепло и радость в Мошеве принесла мне наша дружба с Екатериной Михайловной Оболенской. И даже странно, ведь она была намного старше меня, лет на 15, если не больше. 35 и 50 — это большая разница.

Ее прошлая, долагерная жизнь была так далека от моей, что я могла ее воспринимать только как прочитанную книгу. Думаю, что и ей мой прошлый мир мог быть интересен только как что-то из незнакомой области, но почему-то мы очень крепко подружились, полюбили друг друга не метафорически, а действительно — на всю жизнь. И много лет спустя, после реабилитации и возвращения в Москву, я дежурила в последние дни у постели умирающей Екатерины Михайловны. У нее был инсульт…

Очевидно, дружба, как и любовь, не знает ответа. «За что?»… «Почему?».

…Я всегда чувствовала некоторое превосходство, скорее, старшинство Екатерины Михайловны, всегда восхищалась ею. Но превосходство людей умных и тонких, чутких и любящих никогда не давит, и в отношениях с ней ее старшинство никогда не было для меня ни обидным, ни досадным.

Была она, прежде всего, большая умница с ярким чувством юмора, с великолепной памятью. Не имея никакого специального образования, она знала и понимала больше, чем кто-либо, с кем мне когда-либо приходилось общаться. Она много читала, хорошо знала историю и литературу.

До ареста она работала редактором в тогда еще молодом «Детгизе». И наверное, была прекрасным, чутким и тонким редактором, которых не так много на свете.

И видела она на своем веку многое… В скольких театрах бывала, скольких великих артистов слышала. Но самое замечательное было то, что при всей этой насыщенной жизни оставался у нее жадный интерес ко всему на свете — к большому и малому: к каждой интересной книге, к каждому новому кинофильму, к каждому новому человеку.

Когда, бывало, приходило известие, что нас поведут в зону, в клуб на самодеятельный лагерный концерт, как она радовалась, торопилась, мчалась своей легкой походкой к проходной, чтобы не опоздать — ведь конвой ждать не станет!.. Ни мороз, ни дождь, ни грязь на дороге — ничто не могло ее остановить. Ни тем более добродушное подтрунивание над ее «театральными вкусами».

Да, когда-то она слушала Собинова и Неждановy, Шаляпина и Липковскую — ну и что?..

В любом лагерном концерте она умела уловить блестки подлинного искусства, ну а если уж не было и «блесток», то весело, но беззлобно посмеяться над «потугами с негодными средствами»…

Помню как сейчас ее легкую и стремительную походку! А ведь ей тогда было уже за 50… Длинный овал совсем молодого лица с правильными, но мягкими чертами, без морщин, гладкие, зачесанные на пробор волосы еще без сединки, чуть насмешливые серые глаза, милый грудной голос, любимые словечки, характерные жесты…

«Вот именно!» — часто говорила она и делала какой-то особенный, присущий только ей утвердительный жест ладонью.

Екатерина Михайловна не имела никакой «статьи». Просто член семьи изменника родины — «ЧСИР» и десять лет лагерей, которые она и отсидела «от доски до доски».

Сам «изменник» — академик и член правительства, Оболенский-Осинский, до 17-го года революционер-подпольщик, был расстрелян в 37-м. Заодно с ним и старший сын — первокурсник Военной академии.

Трое младших детей — два мальчика и девочка 11 лет — были помещены в детдом, откуда они раз в месяц аккуратно писали, вероятно под диктовку воспитателей: «…Мы живем хорошо. Учимся отлично. У нас много друзей и товарищей…»

И действительно, детдом, в котором было много детей с похожими биографиями, был отличным, показательным детдомом, где детей обучали даже музыке. А так как эта необыкновенно дружная троица — мальчики были немного

старше своей сестры — была и очень способна и действительно училась отлично, то они, несомненно по заслугам, считались «украшением» детдома. В нем они и прожили до окончания школы.

Оба мальчика были приняты в университет, а девочка еще кончала школу… Но тут началась война.

Студентов первых курсов мобилизовали. Младший — тайный любимец Екатерины Михайловны — был убит в первый же месяц войны. О втором ничего не было известно.

Как Екатерина могла еще жить после всего этого? Смеяться и спешить на лагерный концерт?..

Но ведь и она, как все, сначала надеялась, что нет, неправда, вот-вот РАЗБЕРУТСЯ… Потом — «притерпелась», как и все… И пошли год за годом. Столько лет!.. И она, как и все, жила двойной жизнью: «настоящей» — в лагере и прошлой — в сердце… «… Тоска мне выжгла очи…» Нет, она никогда ничего не забывала…

До ареста семья жила в Кремле, чуть ли не в одном коридоре со Сталиным. Имела правительственную дачу в Барвихе, библиотеку в несколько тысяч томов.

Два года всей семьей провели в Берлине, где советским посольством руководил будущий «изменник». Много путешествовали по Европе.

К материальным благам Екатерина была практически равнодушна, и их потеря ее не волновала.

…К тому времени, когда мы встретились и подружились с ней в Мошеве, младший мальчик был уже убит. О старшем ничего не было известно. Девочка, ставшая уже подростком, заканчивала школу.

Екатерина подолгу держала в руках маленькую, неважного качества фотографию. С детского лица, из-под низко подрезанной челки строго и упрямо смотрели серьезные, уже не детские глаза.

— Ах, эта девочка никогда не будет счастлива, — говорила, вздыхая Катерина. Она почти угадала.

VIII. К освобождению не пригодны

Раз в год в Мошево наезжала актировочная комиссия из солидных энкавэдэшных врачей в военных формах, со знаками отличия на погонах. Мы знали заранее, что это — пустая формальность. Актировать у нас следовало бы целиком два корпуса — туберкулезный и дистрофический. Никто из них не мог вернуться в стан «работяг». Но не актировали никого.

И те и другие для «освобождения» уже не годились. Они уже не в состоянии были добраться до дома самостоятельно, а

приехать за ними тоже было некому. Да и время же было — военное. Об актировке 58-й статьи вообще никто никогда не слышал.

Но все равно — слухи об актировочной комиссии всегда проникали в больницу раньше самой комиссии, и все — и больные, и медперсонал — начинали волноваться… Парадокс!

Но все же случай актировки — настоящего реального освобождения по болезни — однажды произошел в бытность мою в Мошеве. И еще фантастичней — с заключенным по 58-й статье, правда, с пустяковым 10-м пунктом и отсидевшим почти весь свой «законный» срок.

Этим заключенным оказался как раз тот самый симпатичный медфельдшер, который принимал меня в Мошеве и не отправил в рабочую зону! Он был больным доктора Мурадханова и страдал отслоением сетчатки в обоих глазах.

Болезнь развивалась быстро. В те времена это считалось неизлечимой болезнью, по крайней мере у нас в Союзе, и неизбежно приводило к полной слепоте. Ко времени приезда комиссии Сашенька — так его звали — практически был уже почти слеп и своих канцелярских обязанностей выполнять уже не мог.

С него взяли подписку, что за ним приедут, и сактировали.

Где-то в Казахстане у него была жена.

…Он бывал частым и желанным гостем у нас на Васькиной полянке. Милый, сердечный, с большим чувством юмора, он был отнюдь не стар, но и не юноша, конечно. Он был по профессии настоящим медфельдшером, а кроме того, и большим любителем книг, массу читавшим и обладавшим недюжинной памятью. Мы с большим удовольствием слушали на лужайке за лопухами, как он пересказывал по памяти рассказы Лескова или Чехова.

Отличался он всегда и в наших нехитрых «литературных играх». Одна из них была — просто набирать слова на какую-нибудь букву, быстро, по кругу, без заминки. «Споткнувшийся» выходил из игры. Сашенька нередко оказывался победителем.

И вот за ним приехала жена. Сашенька уехал в Среднюю Азию. С дороги он прислал нам общее письмо.

«Друзья! — писала жена под его диктовку. — Играйте на букву “С”!

Сколько Славных Слов на букву “С”: Свобода! Солнце! Скорый поезд! Средняя Азия! Счастье!»

Это писал человек, который понимал и ЗНАЛ, что видеть все это прекрасное — на букву «С» — остается ему максимум месяца два или три…

Невозможно было читать это письмо без слез…

Так вот и текла наша жизнь. Свыклась и я — и с «двуличием» врачей, и с экзитирующими больными, и делала неизбежные кофеин и камфару парализованным инсультом больным. И инъекции aqua distilata делала уже без трепета души.

Ко всему привыкает человек, везде и всюду обтачиваются острые грани и углы.

…Сдав дежурство и захлопнув за собой двери, можно было глубоко и свободно вздохнуть и стать другим человеком, другим существом на целые сутки, до следующего дежурства! Захлопнуть не только реальные деревянные двери дежурки, но и другие, невидимые, в мозгу…

Экзитирующие больные, инъекции, рвоты, клизмы — все оставалось там, за плотно захлопнутыми дверьми — до следующего дежурства.

IX. Чтобы не сойти с ума

В свободное время мы старались развлекаться… Как могли. Иначе, постоянно видя страдающих и умирающих людей, при отсутствии какой-либо отвлекающей деятельности трудно было не съехать в депрессию.

Однажды мы с Екатериной надумали выпускать «медико-художественный» и, конечно же, сатирический журнал. Для этой цели мы выпросили у Маргариты Львовны какой-то серой оберточной бумаги, на которой все-таки можно было писать.

Первый выпуск был посвящен глазным болезням, и обложка была украшена прелестной виньеткой вокруг двух зорко и вроде даже ехидно глядящих глаз. Посвящался выпуск доктору Мурадханову, и под заголовком «Глаза» был помещен эпиграф:

«…Шивандары, шивандары, фундуклей и дундуклей,
Чудный доктор, дивный доктор Мурадханов Алибей!»

(Почти по К. Чуковскому)

В выпуске было помещено все, что могли вспомнить мошевские больные, сестры, врачи из классической литературы, стихов, народных песен — все, где упоминались глаза.

Открывал выпуск старинный, но не устаревающий романс:

…Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные…

Заканчивала выпуск не менее старая и мудрая пословица:

Кто старое помянет — тому глаз вон!.

За «Глазами» последовал выпуск «Сердце», а за ним — «Желудок»:

…Боюсь, брусничная вода
Мне не наделала б вреда!..

Иллюстрировали журнал те, кто умел рисовать, — всегда такие находились.

Журнал всем доставлял большое удовольствие, и «выпуска» его ждали с нетерпением. Экземпляры ходили по всей больнице, замусоливались и зачитывались, но никогда не рвались и не выбрасывались.

Странно, наверное, что мы играли, как дети… Но ведь в жизни всегда так: уживается рядом страшное и смешное, чудовищное и трогательное… Даже на войне. И от этого никуда не уйдешь — жизнь есть жизнь!..

…Однажды я восстановила по памяти Чеховское «Предложение», и мы с двумя врачами поставили его, устроив сцену в широком больничном коридоре. Нашей публикой были медперсонал и ходячие больные.

Успех был потрясающий, и мы несколько раз в течение зимы повторяли свое «Предложение».

А иногда устраивали концерты, читали стихи, а доктор Томингас играл на скрипке.

Доктор Томингас был эстонцем и плохо говорил по-русски. Но больные в его маленьком психиатрическом отделении, которое он вел, его очень любили. «Зачем слова, которых они все равно не понимают? — говорил д-р Томингас. — Музыка их успокаивает лучше всяких слов». И это была правда.

Мы тоже очень любили слушать игру доктора Томингаса, хотя он и не был доволен скрипкой, которую раздобыла ему Маргарита Львовна. Он так много играл наизусть, и с таким чувством…

Доктор Околов пытался нас просвещать и организовывал какие-то «семинары», но, должно быть, это было не слишком интересно, так как память о них стерлась. Помню только, что нам на парус Екатериной было поручено сделать доклад о…холере! «Боже мой! — воскликнула Екатерина, — только холеры нам в Мошеве и не хватало!»

Но доктор Околов был дотошным человеком и полагал (вероятно, вполне основательно), что и средний медперсонал должен быть широко медицински просвещен.

Вообще, он был отличным врачом-микробиологом. Он заведовал нашей клинической лабораторией, для которой подобрал и обучил отличных лаборантов, и вообще лаборатория была такой, какой не часто могла похвастаться хорошая районная поликлиника. И директор больницы, доктор Неймарк, умудрялся доставать необходимое оборудование и все, что нужно для лаборатории. Он не без основания мог гордиться и хвалиться ею перед центральным начальством. И конечно, доктором Околовым тоже!

Мы все тоже отдавали ему должное, однако из-за его пунктуальности и дотошности не было человека, который, хотя и добродушно, не подтрунивал бы над доктором Околовым.

Как и все врачи, он бывал дежурным по больнице в свою очередь. Его дежурство — самое добросовестное изо всех — сулило досаду и раздражение не только нам, сестрам, но и больным. «Ах, опять дежурит этот доктор Околов!» — с досадой говорили они.

Во время дежурства доктор Околов никогда не спал, хотя в комнате дежурного врача стояла кровать, и, конечно, все другие врачи преспокойно спали после того, как был сделан ночной обход. Все были совершенно спокойны, что в случае надобности за ними тотчас пришлют.

Но Околов не спал. Он методически, и не раз за ночь, обходил все отделения, все палаты, непременно щупал пульс у каждого больного, хотя ходил на цыпочках, затаив дыхание, надеясь не потревожить сон больного. А если уж больной не спал, то непременно шепотом справлялся, как тот себя чувствует… Кончалось тем, что после его обхода ходячие больные начинали ворча слоняться по коридору, тяжелые — кашлять, звать сестру, беспокойно вертеться и просить снотворного. Как бы ни уверяли Феликса Станиславовича, что в этой палате все спокойно и все хорошо спят, он все равно должен был убедиться сам и перебудить всех больных!

Ах, этот доктор Околов! Был он далеко уже не первой молодости, и все как-то думали, что кроме медицины он ничем не интересуется. И вдруг оказалось — интересуется!

Это он сыграл отца в «Предложении». Он рассказал мне по секрету, что пишет какие-то фантастические рассказы, и даже прочел один мне, потому что знал, что я «причастна» к литературе. Рассказ был неудачный, и я его не запомнила. Но оказалось, что и чувство юмора не чуждо этому серьезному

доктору.

У нас в больнице не было клея. И бумажки с фамилиями больных на приготовленные для отправки в лабораторию банки с мочой и прочим мы приклеивали мылом, которого тоже было мало. Бумажки слетали, получались путаница и неприятности.

И вот однажды я нахожу на столике в дежурке настоящий пузыречек с клеем (не знаю уж, из чего изготовленным!). К пузыречку прикреплена изящная сигнатурка — такая, какие бывали когда-то в аптеках во времена моего детства. Вместо рецепта на сигнатурке каллиграфическим почерком было выведено:

Дежурной сестре:
…Мы не будем так, как было,
Этикетки клеить мылом.
Горьких слез, прошу, не лей,
Вот тебе отличный клей!

P. S. Смазывать экономно!

Вот вам и доктор Околов! Все хохотали и уверяли, что он ко мне неравнодушен.

…Милый, милый доктор Околов! Вряд ли когда-нибудь вы прочтете эти строки — это почти невероятно. Ведь мне уже за 70, а вам-то?.. Но если бы вдруг прочли… Разве вы не простите нас за наши глупые шутки и подтрунивание над вами?.. Ведь все это было так давно… Так далеко, что уже и не смешно… (как сказал поэт). Ведь вы чувствовали, что мы относились к вам всегда очень хорошо и всегда понимали, что вы — прекрасный врач, и все наши шутки были беззлобными и добродушными… Ведь невозможно же жить без улыбки… Даже в лагере. Даже в больнице.

Простите нас, доктор Околов, Феликс Станиславович!

X. Освобождение не всерьез

Прошел год 43-й, когда кончался мой официальный «срок»; прошло лето 44-го.

Война уже шла за пределами страны. С запада наступали высадившиеся в Нормандии союзники… Война, по-видимому, близилась к концу. У нас в больнице ходили слухи, что где-то уже начали выпускать тех, у кого уже давно закончились сроки.

И вот два человека из наших пересидевших были вызваны и увезены в Соликамск. На освобождение или на этап — никто не знал. Но все ждали — вот-вот начнут отпускать!

…Осенью, в сентябре, и мне было велено собираться «с вещами». Куда? Неизвестно.

Сборы и прощание с друзьями были недолгими: все же это был лагерь — один из островов гигантского ГУЛАГа — и на прощания здесь время не отводят…

Меня посадили в грузовик вместе с несколькими другими заключенными из рабочей зоны и повезли в Соликамск.

Было немного грустно, немного нервозно…

Прощай, прощай, Мошево!..

Прощай, Катеринушка!..

Прощайте, милые друзья!..

…И вот я снова в Соликамской пересылке — той самой, из которой осенью 41-го года уходил пешком наш немногочисленный этап на лесоповальный лагпункт под названием «командировка 42».

Сижу я в пересылке и день, и два, и три, и ничего не известно — зачем и почему? И куда меня денут дальше…

Лагерные «параши» бушуют в пересылке, как море в штормовую погоду: «Освобождают — не освобождают… Отправляют в ссылку… Готовят этап… (куда?)»

Но я уже говорила, что пути НКВД неисповедимы и разуму простых смертных недоступны. К этому надо добавить: фантазия их — беспредельна…

Наконец меня вызывают в контору — «с вещами!».

…Это оказалось ни этапом, ни ссылкой, ни освобождением — чем-то «вроде» и того, и другого, и третьего.

В конторе пересылки мне, вместо документа или хотя бы какой-то справки, как давали в начале войны освобождаемым уркаганам, вручили… бумажку с адресом места, куда я должна одна, самостоятельно отправиться! На бумажке стояло: Бондюжский район, Тимшер, больница трудармейцев.

До Бондюга надо было ехать по Каме на маленьком пароходике вроде речного трамвайчика.

Не помню точно, сколько, но в конторе мне выдали несколько рублей, которых должно было хватить на проезд до места назначения.

Когда за мной прибыл конвоир, а может быть, и просто служащий, так как он был без винтовки, чтобы выпроводить меня из тюрьмы, мне протянули еще одну, сложенную вчетверо и защепленную скрепкой бумажку. Я развернула ее и в первый момент не поняла, от кого была эта записка, но, взглянув на подпись, сразу вспомнила: ведь здесь, в Соликамске, живет Миша Красный, тот самый инженер, с которым я сидела на Медвежьегорской пересылке почти семь лет назад и за дружбу с

которым мы получили по трое суток изолятора.

Он каким-то образом узнал, что я в пересылке, и оставил для меня в конторе записку с адресом своей работы — а работал он здесь, в Управлении Усольлага — был уже вольнонаемным, «оставленным» работать в системе, каким-то инженером — специалистом по лесу. Он приписал, что если меня освободят, чтобы я обязательно разыскала его…

У меня было куда идти!..

…В первый раз за девять лет, если не считать прогулок по Медвежке, когда я была «крепостной актрисой» гулаговского театра, я вышла за ворота пересылки одна, без конвоя. Так странно — сзади нет стрелка с винтовкой…

Итак, я без единого документа в кармане, и все же на воле!.. НА ВОЛЕ!! Свободно иду куда хочу. Могу зайти в любой магазин… в столовую… Куда же?.. Ах, да! Конечно, к Мише!

…Помню, это был чудесный, теплый, солнечный, еще совсем летний день. Солнце, тепло и голубое небо — вот что запомнилось от этого первого вольного дня!..

…Помню, как мы обедали с Мишей в ИТРовской столовке для вольнонаемных, за отдельным столиком, ели какой-то суп, мясное рагу и компот на третье… Как я ночевала у него на раскладушке.

На следующий день (это было воскресенье) мы поехали с ним за город копать его картошку — тогда все получали маленькие участки и сажали картошку.

…Какое было синее небо над этим картофельным полем и как пели какие-то птицы! (Или это мое воображение? А может быть, это действительно дрозды уже готовились к осеннему отлету?)

Я лежала в траве на меже и смотрела в синее небо…

Хорошо быть свободной!..

Так окончилась моя девятилетняя эпопея жизни на островах ГУЛАГа — Главного управления лагерей НКВД (ныне МВД).

Но… свобода, как оказалось, была отпущена мне ненадолго… И если время позволит, я расскажу о дальнейших перипетиях моей судьбы в следующей и последней книге трилогии.

1954–1975 гг. Е. Федорова,

Москва — Бостон

notes

Примечания

1

Шангри-Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». — *Прим. ред.*

2

ВЛХИ — Высший литературно-художественный институт имени В.Я. Брюсова. — *Прим. ред.*

3

Огюстен Эжен Скриб (1791–1861) — французский драматург, специализировавшийся на комедиях и водевилях. В России известен, прежде всего, по пьесе «Стакан воды». — *Прим. ред.*

4

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948), русский и советский актер, театральный педагог. Заслуженный артист Императорских театров, народный артист республики, народный артист СССР (1939), лауреат Сталинской премии (1943). — *Прим. ред.*